



PORTUGUÊS.RU

Мариу де Са-Карнейру  
**Великая тень**

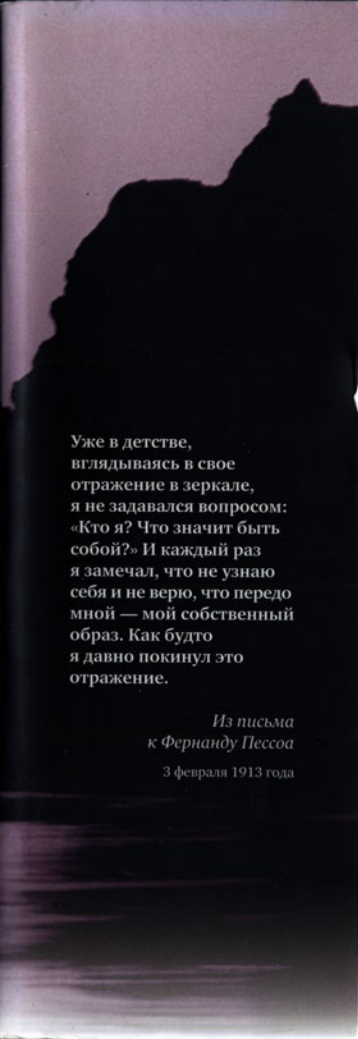
Мариу де Са-Карнейру  
**Великая тень**



ЦЕНТР КНИГ И  
РУДОМИНО



9 785000 871126



Уже в детстве,  
вглядываясь в свое  
отражение в зеркале,  
я не задавался вопросом:  
«Кто я? Что значит быть  
собой?» И каждый раз  
я замечал, что не узнаю  
себя и не верю, что передо  
мной — мой собственный  
образ. Как будто  
я давно покинул это  
отражение.

*Из письма  
к Фернанду Пессоа*

3 февраля 1913 года



PORTUGUÊS.RU

Centro de língua e cultura portuguesa

Он готовил к публикации  
свой завораживающий  
шедевр — «Небо в огне».  
Бессмертные страницы  
этой книги, исполненной  
смутного волнения  
и тоски, обнажали  
измученную душу автора,  
чуткую, напряженную  
и, как никогда,  
гениальную.

*Из повести «Инцест»*



Мариу де Са-Карнейру

# Великая тень











**Центр книги  
Рудомино**

---

**ЛУЗИТАНСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА**



**Мариу де Са-Карнейру**

# **Великая тень**

Центр книги Рудомино  
Москва, 2016



УДК 821.134.3-3

ББК 84(4)-44

C12



**PORTUGUÊS.RU**

Centro de língua e cultura portuguesa



EMBAIXADA DE PORTUGAL  
MOSCOW



INSTITUTO  
CAMÕES  
PORTUGAL



**LUSITÂNIA**

Редакционно-издательский отдел

Библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино

**Издано при финансовой поддержке Посольства Португалии  
в Москве, Института Камозенса, АНО «Португальский культурный  
центр» и Русско-португальского фонда «Лузитания».**

Автор проекта и составитель: А.В. Чернов

Ответственный редактор проекта: Ю.Г. Фридштейн

Вступительная статья и примечания: М.М. Мазняк

Дизайн: П.К. Бем

Переводчики благодарят Рафаэла Сантану  
за полезные советы при работе над текстом

**Са-Карнейру, Мариу де**

C12 Великая тень / Мариу де Са-Карнейру [перевод с португальского]. М.:  
Центр книги Рудомино, 2016. — 448 с. — («Лузитанская Библиотека»).

ISBN 978-5-00087-112-6

Эта книга — первое издание на русском языке прозаических произведений выдающегося португальского поэта и прозаика Мариу де Са-Карнейру (1890–1916). В наше время уже никто не сомневается, что место и значение этого писателя в истории европейской литературы XX века весьма значительно. Между тем в России до сих пор Карнейру был известен почти исключительно как поэт. Настоящее издание, в которое вошли повесть «Инцист» и сборник новелл «Небо в огне», впервые на русском языке значимо представляет Мариу де Са-Карнейру как прозаика.

УДК 821.134.3-3

ББК 84(4)-44

ISBN 978-5-00087-112-6

© М. Козарович, М. Мазняк, А. Хуснутдинова, А. Чернов, перевод, 2016

© А. Чернов, составление, 2016

© М. Мазняк, вступительная статья, примечания, 2016

© ВГБИЛ им. М.И.Рудомино

© ООО «Центр книги Рудомино», издание на русском  
языке, оформление, 2016

## Мариу де Са-Карнейру: Поэтическая проза или проза Поэта

5

*«Каждый раз, мой дорогой друг, я всё  
больше убеждаюсь, что,  
возможно, напишу только две книги:  
“НЕБО В ОГНЕ” и “ЗНАКИ ЗОЛОТА”...»*

**Из письма Мариу де Са-Карнейру**

Небольшая заметка в лиссабонской газете «Мунду» за 14 октября 1912 года гласила: «На поезде Южный экспресс, который отправился с вокзала Россиу в 11 часов 30 минут, вчера вечером уехал в Париж изучать юриспруденцию господин Мариу де Са-Карнейру, один из самых образованных юношей современного поколения, который уже стал формировать свое литературное имя. Совсем недавно Мариу де Са-Карнейру в своей интересной книге рассказов “Начало” проявил себя как писатель большого и славного будущего, наполненного прекрасными замыслами и ожиданием блистательной карьеры. Многие друзья Мариу де Са-Карнейру провожали его вчера на вокзале, среди них были литераторы Фернанду Пессоа и Понсе де Леау, актеры Энрике де Албукерке и Гарсия Переш, а также генерал Са Карнейру и капитан инженерных войск Карлуш Са Карнейру — дед и отец нашего друга».

Мог ли тогда кто-то ожидать, что «большое и славное будущее» продлится лишь три с небольшим года,

и что на четвертом году в газете «Алманаке ду Секулу» появится скорбный список тринадцати выдающихся ушедших португальских граждан, среди которых будет и имя «Мариу де Са-Карнейру\*», поэта и писателя, скончавшегося в Париже».

Что же послужило причиной столь резкой перемены? Неужели не сбылись надежды? Ответ двоякий: и нет, и да. Не сбылись надежды на долгую плодотворную жизнь. Мариу де Са-Карнейру сам отпустил себе очень краткий срок — до 26 апреля 1916 года.

Но и за такое короткое время горения — да! — сбылись надежды на значительное, блистательное творчество, подарившее нам целый ряд самобытных, мастерских, завораживающих, таинственных сочинений, а также уникальную фигуру их автора.

Творческое наследие Мариу де Са-Карнейру не так велико — ведь всего четыре года из такой короткой жизни, но и не так мало — для четырех лет упорной, плодотворной работы.

И правда, времени у Са-Карнейру было немного. Да и относился он к нему не всерьез, недостаточно его ценил. Зато противоположное отношение было у него к пространству. Именно там, в Запредельном, и разыгрываются все перипетии его произведений. Достаточно упомянуть здесь об уникальном, созданном Мариу де Са-Карнейру новом стилевом направлении в искусстве — «Арте флюида», сутью которого является абсолютная пространственная свобода, стремление к невесомости. Подробно этот стиль изложен в новелле

\* Мариу де Са-Карнейру соединил дефисом две фамилии. Эта орфография с тех пор сохранена в написании его имени.

«Крылья» и в двух, включенных автором в нее стихотворных фрагментах «Вне» и «Балет», с которыми читатель сможет познакомиться в настоящем издании.

Хотя сам стиль «Арте флюида» нов и самобытен, он лежит в общем русле идей и исканий эпохи. Это было время революций в искусстве и науке, громко заявлял о себе Модернизм. И одной из его характеристик стало явное предпочтение пространства времени. И фовизм (Матисс), и кубизм (Пикассо), и беспредметное искусство (Кандинский, Малевич) полны пространства, но не времени. Даже футуризм (Маринетти), сохраняющий наибольшую связь со временем, из трех его аспектов — прошлое, настоящее, будущее — рассматривает только наименее ощутимую его часть: будущее.



Мариу де Са-Карнейру родился 19 мая 1890 года. Его родители приходились друг другу кузенами, но получили разрешение на вступление в брак. Отец, Карлуш Аугушту де Са Карнейру и мать, Áгедá Мария де Соуза Переш Муринеллу, несмотря на свое родство, принадлежали к разным социальным слоям португальского общества. Мать происходила из семьи простых служащих. Предки со стороны отца имели высокие военные чины: прадед, отличившийся в либеральных войнах в Португалии в 20-х годах XIX века, еще успел увидеть новорожденного правнука и умер через год после его крещения. Дед Жозе Паулину де Са Карнейру был генералом и занимал должность главного инспектора таможенных войск Португалии.

Семья жила в самом центре португальской столицы, в Байше — фешенебельном районе старого города. Там, на тихой улице Консейсау среди окон второго этажа дома № 92 можно увидеть мемориальную доску, рассказывающую о том, что в этом доме родился и жил «португальский поэт и писатель Мариу де Са-Карнейру». К сожалению, отмечают этот факт лишь те немногие прохожие, которым уже известно его имя.

Всемирное открытие Мариу де Са-Карнейру как значительного писателя происходило постепенно и до сих пор еще не завершилось. В течение своей недолгой жизни он был известен в основном только в кругу португальских литераторов и художников, а после смерти его имя стало забываться даже в его родной стране. Оттесненный на периферию географией, ранней смертью и политикой, пребывавший в течение долгого времени в «поэтической тени» своего друга, великого мистификатора XX века Фернанду Пессоа, обладающий собственной изысканной поэтикой Мариу де Са-Карнейру долго оставался малоизвестным литератором эпохи первого португальского модернизма, но в последние десятилетия его популярность неуклонно возрастает.

Помимо дома в столице, семья Са Карнейру владела поместьем в окрестностях Лиссабона, которое станет тем счастливым местом, где проведет свое детство и сформируется будущий писатель. Однако первые годы жизни Са-Карнейру оказались омрачены серьезными испытаниями и трагедией: в 1892 году мать и сын заболевают тифозной лихорадкой. Ребенка удалось спасти, но мать умерла, когда Мариу не было и двух лет. С этого времени и до девяти лет мальчик подолгу жил в родовом поместье Кинта да Витория, окруженный

любящими дедушкой и бабушкой, заботливой няней, верными слугами. Отец по долгу военной службы часто бывал в отъезде, но его внимание и помощь сын постоянно ощущал. Позднее, в свои лицейские годы он будет не раз возвращаться туда, там же напишет и несколько своих произведений, например, новеллу «Человек из сновидений», посвященную деду.

Именно там, на просторах родового поместья, проявилась и развилась любовь Мариу к искусству: сперва к театру, а затем и к питающей его литературе. Мальчик регулярно устраивал домашние спектакли, разыгрывая небольшие пьесы собственного сочинения. Он давал представления на специально оборудованной и укрепленной крышке колодца. Не обладая хорошим аппетитом, Мариу доедал свои порции за денежное вознаграждение. Эти «сбережения» он тратил на театральные и литературные журналы, за которыми раз в неделю отпрашивался вместе с денщиком деда. Любовь отца и деда, проявлявшаяся, в основном, в исполнении всех желаний и капризов ребенка, во многом сослужила для Са-Карнейру недобрую службу, способствуя затянувшемуся инфантилизму в его характере и взглядах на жизнь, сохранению весьма абстрактных представлений о материальных благах и бытовых проблемах. Эта реальная, обыденная жизнь, обозначенная в творчестве Са-Карнейру как *Скука*, будет противопоставлена им воображаемому миру *Запредельного*, лазоревому пространству *Красоты*, *Души* и *Тайны*.

В августе 1904 года отец и сын предпринимаят «Гран Тур» по европейским городам. Первой остановкой их путешествия становится «великая столица» — Париж, где они останавливаются в Гранд Оте-

ле на бульваре Капуцинов. Из Парижа их путь лежит в Швейцарию, оттуда — в Рим, далее в Неаполь, потом в Венецию. Рим разочаровал юного эстета, он оказался «хуже, чем Лиссабон». Венеция, напротив, — очаровала. Через десять лет его впечатления и раздумья отлились в чарующем стихотворении в прозе, «спрятавшемся» в новелле «Великая тень»:

*Венеция!*

*О, священный город воображения, парчовая столица  
глубокого забвения в волшебной полутени — сумеречная  
радуга, предрассветный анемон...\**

Но Париж — космополитический и европейский — навсегда заморозил будущего писателя.

Если с литературным творчеством Са-Карнейру определился рано, то его будущая профессиональная деятельность оставалась под вопросом. Хотя он и происходил из семьи высокопоставленных офицеров, судьба военного для Мариу не предполагалась. Однако его чрезмерное увлечение литературой и театром тоже не поощрялось. В итоге был выбран «компромиссный вариант», и Мариу записался на юридический факультет университета в Коимбре, но вскоре забрал оттуда документы и передал их в университет Сорбонны, получив тем самым законное основание поселиться в Париже.

Париж стал для Са-Карнейру главным пространством: именно в Париже он проведет большую часть своей недолгой творческой жизни; именно в Париже происходит действие многих его новелл; именно в Па-

\* Перевод М. Мазняк.

риже разыграется трагедия самоубийства. Париж — «это еще одна иллюзия», — признавался Са-Карнейру в письме к Пессоа.

А высшего образования Мариу так и не получил, оставшись «вечным студентом». Таким он и предстает перед нами — элегантным молодым человеком в шляпе, внимательно смотрящим с фотографии студенческого билета.

\* \* \*

1912 год стал значимым периодом в жизни и в литературной эволюции Са-Карнейру.

В этом году вышла в свет его первая книга — сборник прозы «Начало». И хотя название это — нейтральное, никак не связанное с содержанием, искушенные читатели, как мы видели, разглядели в книге руку будущего мастера. В этих рассказах уже намечается та стилистическая и тематическая траектория, по которой будет развиваться его литературное творчество. Уже начата работа над новаторским романом «Признание Лусиу», а два года спустя вторым сборником малой прозы «Небо в огне» Мариу де Са-Карнейру подтвердит, закрепит и, как ему покажется, исчерпает свою уникальную тематику, подаваемую в неповторимой поэтической манере.

Подобно богине Минерве, родившейся из головы Юпитера взрослой и уже облаченной в доспехи, творчество Мариу де Са-Карнейру сразу оказывается зрелым в своем авторском эстетическом и стилистическом облачении. Источником вдохновения для Са-Карнейру служит собственный внутренний мир, его



страхи и фобии, его фантазии и воображение, его надежды и его отчаяние.

Одновременно его творчество не просто органично вписывается в эстетику модернизма, но само формирует усложненный профиль этого большого литературного стиля.

В этом же году произошла судьбоносная для последующего развития португальской литературы встреча двух писателей: Мариу де Са-Карнейру и Фернанду Пессоа, который стал не только другом, единомышленником и главным адресатом, но и своеобразным душеприказчиком Са-Карнейру. Их дружеское интенсивное общение, плодотворное обсуждение и взаимное влияние будут ощущаться все четыре года, вплоть до ухода Мариу из жизни.

Наконец, в 1912 году состоялась первая самостоятельная поездка молодого, но уже известного литератора в Париж. В европейской столице Са-Карнейру остановился сначала в отеле Ричмонд, однако позже переехал поближе к Сорбонне в Гранд Отель дю Глоб, расположенный на Рю дез Эколь, 50. Этот адрес — не просто обозначение реального места, где проживал поэт. Мариу помещает его в текст одного из своих самых новаторских стихотворений («Балет»), что производит неожиданное впечатление. Реальным пространством Са-Карнейру дополняет и расширяет завораживающий мир поэтической фантазии.

Парижская жизнь Са-Карнейру составляет из трех этапов общей продолжительностью около двадцати месяцев. Интересно, что эти этапы разнятся связанными между собой творческими достижениями автора и пространственным оформлением его жизни.

Первый этап длится с октября 1912 года по июнь 1913. Он проходит в высоком эстетическом и почти аристократическом пространстве: Гранд Опера, изысканные балетные постановки, в том числе остроумные «Русские сезоны» Дягилева, бульвары, балы, Фоли Бержер... К достижениям этого периода относятся первый поэтический сборник-цикл «Растворение», первый роман «Признание Лусиу», первые подступы к будущему стилю «Арте флюида».

Второй период — с мая по август 1914 года. Ему соответствует пространство богемы, полное творческих экспериментов: шумный Латинский квартал, казино Мулен Руж, «наркотический Монмартр»... Мариу заканчивает сборник прозы «Небо в огне». Из-за начавшейся Первой мировой войны писатель возвращается в Лиссабон.

На третьем этапе — с 11 июля 1915 года по апрель 1916 — внешнее пространство сжимается до мансардного номера дешевой гостиницы «Ницца» на Монмартре. А пространство внутреннее — художественное — нет, не столько расширяется, сколько углубляется. Последнее расширение своих возможностей он продемонстрировал накануне приезда в Париж выпусками журнала «Орфей» и поэмой «Маникюр». В свой третий приезд он доводит до полной готовности последний сборник стихов «Знаки золота», пишет небольшой — прощальный — цикл «Последние стихотворения», полные нарастающей растерянности последние письма к Пессоа, и, настигнутый реальной житейской прозой с ее финансовыми и иными непосильными ему проблемами, ставит точку в своем земном существовании.



На годы литературного старта Са-Карнейру — 1912–1913 гг. — приходится самый разгар общемировых исканий новых подходов в искусстве, науке, социальной жизни.

Несмотря на сравнительно небольшой объем литературного наследия и невероятную краткость творческого пути, диапазон стилевой принадлежности произведений Мариу де Са-Карнейру чрезвычайно широк: романтик, декадент, символист, футурист и кубист, экспрессионист, сюрреалист и экзистенциалист.

Однако честолюбивые замыслы португальских модернистов шли дальше простого освоения зарождавшихся в большом количестве модных современных стилей. Желая насытить литературу принципиально новым видением, Фернанду Пессоа, при участии Са-Карнейру, разрабатывает несколько взаимодополняющих стилей, расширяя тем самым и без того сложную палитру модернистских «измов».

Первый из них, названный «паулизмом»\*, требует от художника высвобождения самого образа, который мысленно отделяется от логико-рациональных пут и от более или менее точной расшивки. Изменяются формы слов, они причудливо сочетаются, нарушается синтак-

\* 29 марта 1913 года Пессоа пишет стихотворение «Тоска — нагое болото для моей души золотой...» (Перевод М. Квятковской), впоследствии получившее название «Впечатление от сумерек». Поэтические принципы, лежащие в основе этого стихотворения, получили среди друзей и единомышленников Пессоа название «паулизм», по первому слову первой строки («Pauis de roçarem ânsias pela minh' alma em ougo»). Более подробно см.: Хохлова И.А. Поэтические маски Фернандо Пессоа (СПб.: Издательство СПбГУ, 2003).

сис. Паулистское повествование развивается линейно, противоположные понятия по воле автора сближаются; идеи, мысли и образы связываются лишь по ассоциации. Произведения богаты выразительным словарем печали, пустынного пространства, пустоты души, щемящей тоски по Иному, Потустороннему, Запредельному. Паулистские тексты широко используют прописные буквы, раскрывающие смысловую глубину отдельных слов.

Речь идет о самом акте творческого действия, художественного познания мира, когда Мечта, Греза, Сон становятся первичным принципом, образцом, создающим новую реальность и одновременно объясняющим ее.

В этом смысле новелла Мариу де Са-Карнейру «Человек из сновидений», написанная в разгар эпистолярных обсуждений новой литературной эстетики, становится аллегорией литературного творчества. «Человек из сновидений» — это история *сверх-жизни, вне-земли*; она разворачивается в других мирах, в других ощущениях. Все рождается в снах и грезах. Однако сама греза может спровоцировать разлад между сновидцем и героем сновидения, может раскрыть потаенные уголки странного, неясного, усложненного, загадочного, стать той неразрешимой головоломкой, что останется в пространстве памяти даже под ярким светом реальности.

Восторженно принявший эстетическую идею паулизма, Са-Карнейру начинает активно работать над циклом «снов», небольших композиционных фрагментов поэтической прозы, сотканных из Невидимого, из Воздуха, из Тумана, из Тени. Все они устремляются ввысь, во Вне, во «ВНЕвесомость». Этот замысел, однако, не был полно-

стью осуществлен, были написаны только: «Человек из сновидений», «Тайна» и «Собираатель мгновений».

Помимо этих новелл, все же «привязанных» к реальности необходимыми в таких случаях «объяснениями», остались и два текста, выходящие за рамки паулизма — стихотворения в прозе, включенные в специально написанную к ним новеллу «Крылья»\*. Эта новелла — квинтэссенция рождения самого творчества, манифест нового стиля «Арте флюида». «Арте флюида» — это свободно-текучее, летучее, постоянно меняющееся, парящее, эфирное искусство. Это искусство, которое преодолевает земное притяжение; стремится к левитации, в отличие от гравитации. И термины, принятые в физике, оказываются здесь очень уместными. Да и сам автор использует их в своем тексте.

Хронологически это последнее прозаическое произведение Са-Карнейру. Его значение очень велико и имеет, как минимум, два аспекта. Оно создает и провозглашает новую эстетическую концепцию, демонстрируя творческую лабораторию поэта, работающего в новом стиле. И одновременно подводит итог, синтезирует все сделанное ранее.

Свою самостоятельную эстетическую концепцию Са-Карнейру вкладывает в уста вымышленного русского поэта Петра Ивановича Загорянского, а в качестве примера «Арте флюида» в конце новеллы «Крылья» приводятся два «чудом уцелевших» поэтических отрывка «Вне» и «Балет», также приписываемых Петру Загорянскому.

\* Замысел «Крыльев» родился еще в 1913 году, однако само произведение было закончено только в октябре 1914 года.

Еще до завершения новеллы «Крылья» поэтический отрывок «Вне» был опубликован отдельно с подзаголовком: «*“Вне” Петра Ивановича Загорянского, переложенное на португальский язык Марцу де Са-Карнейру*»\*. К публикации прилагалась сопроводительная заметка, где излагалась история «знакомства» автора с гениальным русским поэтом. Этот сюжет носит почти детективный характер в духе мистификаций Эдгара По, которого Са-Карнейру считал «величайшим поэтом в мире». Личность русского поэта загадочна, судьба его трагична. По сведениям Са-Карнейру, Загорянский был помещен в лечебницу для душевнобольных. Из всех его произведений осталось только несколько отрывков. Остальные «улетучились в космос и парят среди планет».

Развернутое и подробно описанное житейское общение автора с персонажем — этот ведущий мотив в создании гетеронимов — Мариу осуществил ровно за год до «официального рождения» первого из главных гетеронимов Фернанду Пессоа, задуманного им как «шутка над Са-Карнейру».

Экзистенциальная литературная игра — создание вымышленных, но абсолютно убедительных образов поэтов, увлекшая Пессоа, — была с радостью подхвачена Са-Карнейру. Он органично вселяет в свои тексты легко узнаваемых современниками персонажей. Так, в новелле «Крылья» упоминается Фернанду Пассуш, имеющий черты и Фернанду Пессоа, и его гетеронима-сверстника Алвару де Кампуша. Русский поэт Загорянский восхитился «прекрасными произведениями» Фернанду Пас-

\* Сам текст «Вне» датируется январем 1913 года.

суша и выразил желание познакомиться с их автором. Но ему показали только портрет. Этот эпизод — подыгрывание начинавшейся гетеронимной игре Пессоа. Однако Фернанду Пассуш появляется вновь в другой новелле — «Воскресение», а ее главным героем становится знакомый Загорянского Инасиу де Говейя из той же новеллы «Крылья». Более того, в новелле «Воскресение», венчающей сборник «Небо в огне», появляются выдуманные персонажи, драма которых разыгрывалась еще на страницах первого прозаического сборника «Начало», в частности, в повести «Инцест».

Наряду с вымышленными, но имеющими реальных прототипов персонажами, в прозаических произведениях Са-Карнейру, особенно в «Инцесте» и «Воскресении» встречаются и вполне реальные фигуры — поэты и писатели, актеры и импрессарио. Этот феномен имитации действительности, сознательно перемешивающий реальность и вымысел, позволяет соотносить не связанные линейной последовательностью части текста, рассматривая их как воплощение смыслового единства.

\* \* \*

Отчаянные поиски и смелые идеи молодых литераторов и художников настоятельно требовали своей манифестации, площадкой для которой стал выходивший с марта по июнь 1915 года журнал «Орфей». С выходом «Орфея» стало возможным говорить о рождении португальского модернизма. Первый номер журнала сразу же вызвал сильный резонанс в обществе и спровоцировал грандиозный скандал, главным образом, своей необыч-

ной для добропорядочной португальской жизни эксцентричностью, иронией, желанием эпатировать читателя. Эта реакция не ослабела с выходом в июне 1915 года второго номера. Особенно возмущали респектабельную португальскую критику литературные эксперименты его основателей — Пессоа и Са-Карнейру.

Сборник «Небо в огне» выходит в апреле 1915 года — как раз между двумя номерами «Орфея». Все новеллы сборника имеют персональные посвящения, главным образом, единомышленникам, а также немногочисленным друзьям-португальцам, волею судьбы оказавшимся в Париже. Тем самым Са-Карнейру как бы объединяет этих дорогих ему людей в многомерном пространстве Модернизма, то есть, по-своему, продлевает задушевный диалог, особенно необходимый ему, «одинокому ребенку».

Помимо посвящений, каждый текст Са-Карнейру, поэтический и прозаический, содержит непереносимое указание места и времени его создания. Между этими реальными и остальными, фикциональными, пространственно-временными координатами возникает дополнительное напряжение, а то и взаимопроникновение, что обогащает восприятие произведений.

В публикуемых новеллах присутствуют многие европейские столицы: Вена, Будапешт, Рим, конечно же, Париж, и... Санкт-Петербург. Доподлинно известно, что Са-Карнейру не был в Санкт-Петербурге, да и не придумывал свое пребывание в этом городе, как это сделал, например, его любимый автор Эдгар По. Однако именно в Санкт-Петербурге и завершается «путешествие вне себя» протагониста новеллы «Я сам — Дру-



гой». Закономерный вопрос: почему Санкт-Петербург? Этот вопрос задавал себе и сам Са-Карнейру в одном из писем к Пессоа: «Почему я так написал? Как это вдруг возникла у меня мысль о Севере, об одном городе на Севере, который потом, подумав, я вижу, что не может быть не чем иным, как С. Петербургом?..»

Санкт-Петербург у Са-Карнейру — это место развязки экзистенциальной интриги Другого, этого амбивалентного антагониста и *alter ego* автора. Здесь также происходит развязка внутренней душевной драмы и возникает зловещее предощущение смерти:

*Чую, смерть мне отмерена  
Полностью раствориться,  
Там, далеко на севере,  
В одной великой столице\*.  
(«Растворение»)*

Появляющаяся фигура Другого исключительно сложна. Корнями она уходит в такие науки, как философия и социология, психология и антропология. Эволюция Другого у Са-Карнейру проходит сложный путь: от дефиниции Он — через диалектическую борьбу и единение Я и Другого — к их временному слиянию — за которым следует подчинение Я Другому и попытки освободиться от Его власти. Путем создания Другого Мариу де Са-Карнейру пытается вернуться к себе. Но появление Другого — это знак смертельной раздвоенности и предвестник самой смерти.

\* Перевод М. Мазняк.

## \* \* \*

Бытовые проблемы, финансовые затруднения, размолвка с отцом наложились на издавна копившийся «душевный непокой» и в совокупности привели поэта к трагедии самоубийства, произошедшей в номере гостиницы «Ницца», на улице Виктора Массе в Париже. Такой развязке способствовало в целом позитивное отношение к суициду, характерное для богемы начала XX века, а для Са-Карнейру оно стало еще и осознанным поступком. Апология акта самоубийства встречается во многих текстах этого автора; вот и в повести «Инцест» можно прочесть: «... я нахожу, что самоубийца — человек исключительной смелости. ... Самоубийцы! О, с каким воодушевлением, с каким почтением я восхищаюсь ими! Они осуществили свое желание»\*.

Письмо к Пессоа, в котором Са-Карнейру назначает дату своей кончины на 3 апреля 1916 года («Я действительно подготовил все для своей “смерти”»), высылает свой студенческий билет с фотографией и просит навестить деда и старую няню, содержит одну малую, но красноречивую деталь. На конверте отсутствуют марки, а в письме содержится просьба к Пессоа оплатить доставку при получении. Еще три недели лихорадочных метаний оставшегося в одиночестве и без средств к существованию поэта лишь отодвинули немного дату смерти — до 26 апреля 1916 года.

Похороны состоялись 29 апреля на парижском кладбище Пантин. По воспоминаниям немногочис-

\* Перевод А. Чернова.

ленных друзей поэта, стоял солнечный весенний день. В последний путь Мариу де Са-Карнейру провожали четыре человека. На противоположном углу гостиницы, у дверей небольшого ресторанчика кто-то произнес:

— Это один португальский писатель, который покончил с собой из-за любви.

К гробу подбежала светловолосая девушка с большими голубыми глазами, полными слез, достала из закладки корсажа маленький букетик фиалок и положила на гроб.

— Поэт, который умер из-за любви, — сказала она своей подруге. — Как бы я его любила!\*

В его номере были найдены несколько писем: отцу, Фернанду Пессоа, друзьям и «той девушке», которая сопровождала Са-Карнейру в последние месяцы его жизни. Трудно идентифицировать эту девушку, так как сам Са-Карнейру почти не упоминает ее в письмах. Она, словно голограмма, изредка оживает только в переписке друзей, занимавшихся похоронами. В этом смысле она воплощает тип женщины из текстов Са-Карнейру — «бестелесная» Саломея, вольно или невольно приносящая гибель.

В своей заметке, опубликованной в «Дьяриу де Нотисиаш» от 10 ноября 1921 года, Карлуш Феррейра, парижский друг Са-Карнейру, ставший к тому времени консулом Португалии в Ницце, делится тревожными мыслями по поводу будущей судьбы останков поэта: «Чуть дальше — могила Мариу де Са-Карнейру, грязная

\* Из воспоминаний Шавьера де Карвалью, «Дьяриу де Нотисиаш», 3 июня 1916 года.

и неухоженная, без букетика цветов, холодная и скорбная... я положил на могилу фиалки — его любимые цветы. Скоро истечет срок пятилетней аренды и станет невозможно оставить здесь тело. Какая судьба уготована автору [...]? Январь 1922 года приближается... а за ним маячит и общая могила».

Поэта похоронили в могиле, арендованной его другом на пять лет. Срок аренды продлевался еще несколько раз отцом Мариу де Са-Карнейру, который в 1952 году скончался. Затем останки поэта были перезахоронены в общей могиле. Обстоятельства бурной истории XX века внесли путаницу в документы, часть из которых, вероятно, была просто утеряна, так что в Португалии Мариу де Са-Карнейру *de jure* считается живым\*.

\* \* \*

«Возможно, лет через 70 моя литература станет понятна», — то ли с горечью, то ли с гордостью, но, несомненно, пророчески написал Са-Карнейру в письме к Пессоа.

Фернанду Пессоа, которому Са-Карнейру перед смертью отправил рукописи некоторых своих сочинений, и стал его первым издателем. Однако после смерти Пессоа в 1935 году в обращении к творческому наследию Мариу де Са-Карнейру наступила длительная пауза. Первые полные и отчасти восстановленные

\* Centenário do Nascimento de Mário de Sá-Carneiro / Centenaire de la Naissance de Mário de Sá-Carneiro. (1890 — 1916). Porto, 1990. P. 69.

собрания его произведений вышли на португальском языке в самом конце XX века.

Отечественный читатель с творчеством Мариу де Са-Карнейру, к сожалению, почти не знаком. Впервые шесть его стихотворений появились в книге «Португальская поэзия XX века» (М., «Художественная литература», 1974), подготовленной Е. Голубевой (переводы Е. Витковского и Ю. Петрова\*). Затем последовал ряд публикаций поэтических переводов в исполнении А. Родосского, Г. Зельдовича, И. Фещенко-Скворцовой. В 2010 году вышла книга-билингва «Поэма “Маникюр” Мариу де Са-Карнейру в контексте интермедиальности» (СПб., «Алетейя»).\*\* Из прозы Мариу де Са-Карнейру на русском языке до настоящего издания напечатан лишь рассказ «Безумие» из сборника «Начало» (журнал «Иностранная литература», №7, 2015 г., перевод М. Курчатовой).

.....

Настоящее издание новеллистической прозы Мариу де Са-Карнейру впервые на русском языке знакомит читателя со зрелыми произведениями португальского литератора, с основными константами его поэтики. Издание включает в себя повесть «Инцест» из сборника прозы «Начало» (1912 г.) и весь сборник «Небо в огне» (1915 г.), состоящий из восьми новелл.

Объединение в одном издании этих произведений дает возможность познакомиться с разнообразием тем, стилей и приемов писателя, проследив одновременно

\* Ю. Петров — псевдоним Юлия Даниэля.

\*\* Перевод и составление М. Мазняк.

канву его повествовательной манеры. А, кроме того, сам автор своим повествованием словно подталкивает к такому решению, провидчески упоминая в финале повести «Инцест» будущую лучшую книгу — «Небо в огне».

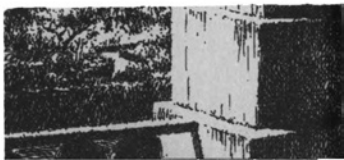
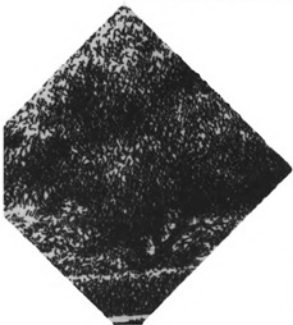
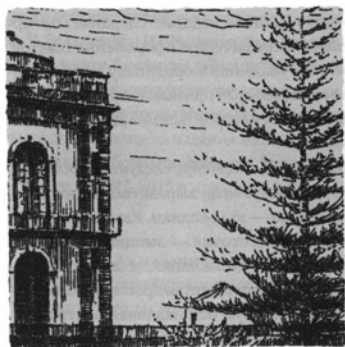
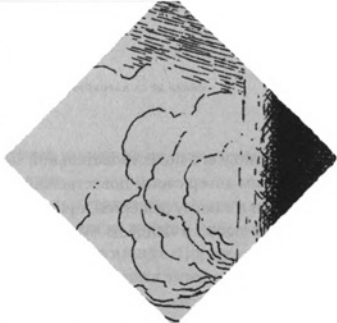
*P.S.*

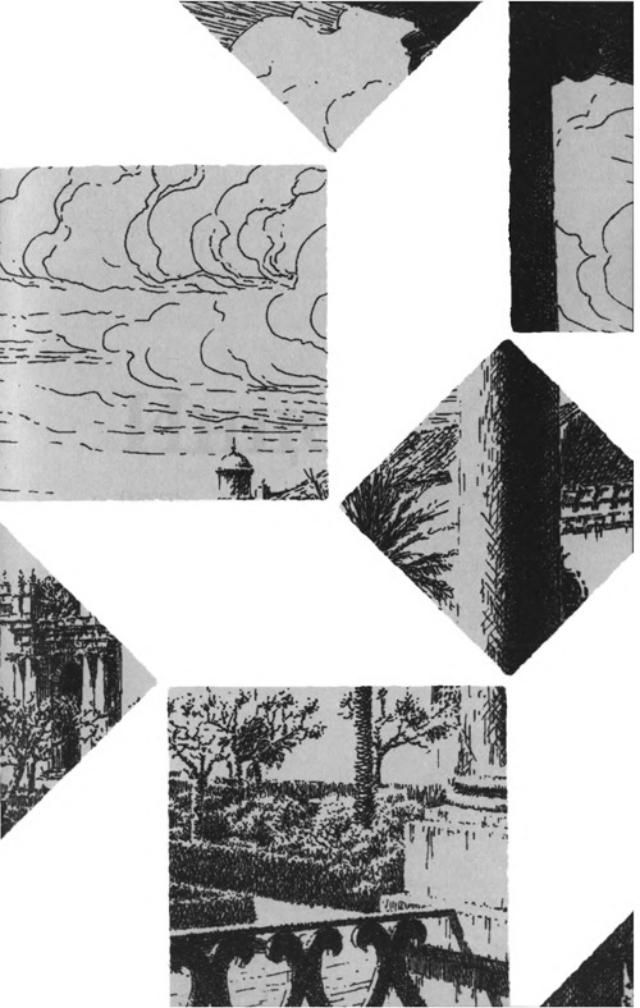
Несколько слов об особенностях (про)чтения текстов Са-Карнейру. Данное издание сохраняет авторскую пунктуацию и графическое оформление текстов. Это не только знак уважения к оригиналу, но и насущная необходимость, которая призвана сориентировать читателя и помочь ему настроиться на «авторскую волну».

Прозу Мариу де Са-Карнейру следует попробовать читать вслух, декламировать, выразительно произносить. Начальные тире — это реплики. Кавычки — внутренние монологи. Многоточия — эмоциональные передышки или полные недосказанности паузы. Многое приобретет читатель, если решится проговаривать эмоциональные реплики вслух, останавливаясь, чтобы перевести дыхание и осмыслить прочитанное. Тем самым он будет одновременно читателем и слушателем, интерпретатором и реципиентом, как задумывал сам автор.

Это — поэтическая проза, или, лучше, это — проза Поэта. Она должна звучать. Проза поэта Мариу де Са-Карнейру «озвончена».

Мария Мазняк









# Инцест

Повесть



Посвящается Жилберту Рола<sup>1</sup>

Когда роман его юности был неожиданно оборван странным ходом событий, Луиш де Монфорт остался один с маленькой дочерью. Леонор в то время было два года. Ее мать, прекрасная и ветреная, исчезла в губительном водовороте безумных и призрачных страстей. Душа Луиша, растерзанная и растоптанная утраченной любовью, была мертва, и только это маленькое светловолосое существо с полупрозрачной розоватой кожей было способно вдохнуть в нее новую жизнь. Леонор вернула его к жизни, и только ее присутствие давало Луишу силы продолжать бороться, не сдаваться и не уступать черному призраку бездны.

Прошло много лет, и вот теперь, в расцвете зрелости — в сорок лет — Луишу почему-то все чаще стали являться смутные воспоминания о радостях и страданиях его далекой юности. Эти образы были похожи на сновидения, не потому, что с тех пор, как они стали прошлым, минуло много лет, но скорее оттого, что все это теперь более напоминало фантастический сюжет,

а не монотонное обыденное течение повседневной жизни.

Его пьеса «Безумная» без каких-либо вопросов и затруднений была одобрительно принята агентством «Розаш & Бразау»,<sup>2</sup> которое работало в то время с Театром Доны Марии.<sup>3</sup>

Вскоре начались репетиции, и в течение трех недель после этого молодой драматург пребывал в таком нервном возбуждении, что ничего вокруг себя не видел. Все его внимание поглотила пьеса. Вся жизнь стала подобна лихорадочному видению. Он чувствовал себя так, как будто все его существо было наполнено эфирным хмелем, похожим на опьянение от шампанского. Луиш не спал и не ел. Если кто-нибудь обращался к нему с вопросом, отвечал рассеянно и неопределенно. Его колоссальное духовное напряжение было проникнуто сладостной дрожью и завораживающей тревогой.

Когда во время репетиций он сидел в пустом партере, ему казалось — так живо! — что в полумраке тускло освещенной сцены он сам становится всеми актерами поочередно, кричит, жестикулирует, один играет всю пьесу, каждую роль.

Глядя на прекрасное лицо, завораживающие глаза, маняще-пунцовые губы рыжеволосой актрисы, исполнявшей в его пьесе главную роль, в то время он даже не представлял себе, что может целовать эти губы, эти глаза. И хотя время от времени, заменяя актера на репетиции, он прикасался к ее прекрасному телу, ощущал руками ее плоть, непреодолимого влече-

ния между ними еще не возникло, он пока еще не был бесповоротно заморожен ею.

Роль *Безумной* исполняла Жулия Гама. Несомненно, многие еще помнят эту прекрасную актрису, блиставшую на фоне нашей лиссабонской провинциальности. Ее талант заслуживает эпитета «возвышенный», и такой же была ее красота. Совершенно неожиданно она возникла на нашем небосклоне в роли звезды, появившись с обнаженными ногами в одном из спектаклей Союзы Баштуша<sup>4</sup>. Затем она сменила амплуа, перейдя в другой театр, после чего — в период своего расцвета — стала великой драматической актрисой. Так ее жизнь разделилась на три периода.

Красота ее была таинственной — огненно-рыжие волосы, бездонно глубокий взгляд, губы, как будто всегда слегка увлажненные, тронутые загадочной улыбкой Джоконды. Ее сложение было — великолепным, по чистоте и выразительности форм оно не уступало лучшим образцам древнегреческой скульптуры. И этот аромат, который источало ее тело, казалось, создавал вокруг нее ореол тайны. Она манила и пугала одновременно. В этом странном сочетании ангельского и дьявольского было нечто подобное предвестию всепожирающей любви, сладострастия и гибели. Что же касается журналистов, они, как всегда, ограничивались какими-то идиотскими фразами, вроде — «О, это парижский шик».

О ее любовниках никто ничего не знал. Конечно, они должны были существовать, но, как это ни странно, никто не был осведомлен о личной жизни Жулии Гамы. Единственное, что было более или менее извест-

но — это ее странности, особенно ее расточительность. Рассказывали, что однажды она скупила все бальные платья в ателье Кварежмы<sup>5</sup>. В другой раз — заложила свои бриллианты, чтобы помочь нищему, которого увидела лежащим прямо на улице, неподалеку от ее дома. В скором времени эти бриллианты вернулись из ломбарда в дом Жулии, из чего становится понятно, что денег в этом доме было более чем достаточно. Но как бы ее подруги ни старались выведать что-либо об источниках ее благосостояния, узнать им так ничего и не удалось.

Жулия вообще не была склонна к многословию. Она часто смеялась, резким и нервным смехом, но говорила мало. И никогда никому ни слова не говорила о своей личной жизни! Никто из ее подруг по театру ни разу не был в ее доме. Жулия была воплощением тайны, «златоволосым сфинксом болезненной эпохи», как назвал ее какой-то графоман от поэзии.

.....

В ночь премьеры Жулия *открылась* Луишу, она была подобна сказочному видению...

Зал был переполнен и, время от времени, главные сцены спектакля прерывались восторженными выкриками и аплодисментами. Это был бесспорный триумф молодого драматурга и восхитительной рыжеволосой актрисы.

Она сыграла эту роль всем своим существом, каждым изгибом тела она выражала трагедию разрушенной любви и утраты всех надежд! Особенно проникновенной была — последняя сцена...

Она, Жулия, сошла с ума, ею овладело самое настоящее сумасшествие! В ее глазах отсвечивал безумный блеск, линии губ искажались так, словно ее сковывало нечеловеческое страдание, грудь ее судорожно вздымалась, как будто пытаясь удержать рвущуюся наружу душу, которая, напрягая последние силы, стремилась вырваться из своей плоти и затеряться в небытии. Наконец, пораженная смертельной бледностью и оцепенением, она упала на сцену.

Безумие актрисы передалось партеру. Публика кричала и сотрясала воздух громогласными овациями. Занавес поднимали снова и снова. Восторг зрителей был неопиcуем, невероятен.

Постепенно, однако, зрители начали расходиться. Занавес опустился. Как бы не сознавая этого, Луиш и Жулия приблизились друг к другу, их руки соединились... Возможно ли передать то божественное чувство, которое пережил тогда молодой драматург... Ему казалось, что некий новый свет открылся ему, проник в его тело и в его душу. Теплый, нежный свет, преображающий все вокруг. Тот миг, когда их руки встретились, то взаимное рукопожатье стало главным триумфом не только этого вечера, но и всей его жизни, ибо ничего более важного случиться уже не могло.

И так, рука в руке, они вместе вышли из театра.

\* \* \*

Они прожили вместе четыре бесконечных года, четыре года счастья и любви. У них родилась дочь, которая, как полагал Луиш, должна была еще сильнее скре-



пить их союз. Маленькая Леонор стала их триумфом, в ней соединились их души, она была их общей любовью, воплощением его любви к Жулии и его победы.

Этот прекрасный сон продолжался. Их театральные триумфы следовали один за другим.

Через некоторое время после первого успеха была поставлена следующая пьеса Луиша — «Рыжеволосая». Эта странная смесь ибсеновских мотивов и южного витального жизнелюбия (нелепая — на первый взгляд) стала одним из неоспоримых шедевров современной драматургии.

Жизнь Жулии перестала быть загадочной и таинственной. Луиш был богат, они жили в роскошном собственном особняке, который был под стать одной из самых ярких Звезд драматической сцены. Подруги Жулии, наконец, стали вхожи в ее дом. Луиш был человеком веселым и общительным, одиночества он не любил и не терпел. Жулия легко и как бы незаметно, приняла его образ жизни. Никто, однако, не мог проникнуть в их мир дальше положенной границы. Они тщательно оберегали его, по общему согласию не пуская к своему очагу даже друзей. Оставаясь вдвоем, нежно обнимая друг друга, они смотрели, как их маленькая Леонор (ей уже исполнилось два года) бежит по дому, резвится и смеется.

Их союз воплощал собой почти буржуазное равновесие. Жулия исцелилась от своего расточительства. Она стала образцовой хозяйкой дома! И в довершение всего, каждый из них был заинтересован в своем спутнике. Каждый делился с другим своим талантом. Драматург работал для актрисы, актриса — для драматур-

га. Несмотря на свои анархистские убеждения, Луиш даже решил жениться на Жулии, полагая, что ей так будет удобнее, и для Леонор так будет лучше.

Но однажды наступил день, когда прекрасный сон закончился и начался кошмар.

В тот вечер в Театре Доны Марии шел спектакль по пьесе Марселину Мешкиты<sup>6</sup>, в котором у Жулии была замечательная сцена, правда, только одна — в начале второго акта. Поэтому в десять часов она уже была свободна.

Луиш, обычно сопровождавший свою возлюбленную, из-за болезни остался дома. Ему было очень скучно и чтобы немного развлечься, он читал новый роман своего друга Эсы де Кейроша.<sup>7</sup> Когда он посмотрел на часы — было уже половина одиннадцатого, и так как Жулии все еще не было дома, он начал беспокоиться. С каждой минутой его беспокойство росло, и вот, когда он уже решил отправиться в театр, в дверь постучали. Это был посыльный, он передал Луишу письмо от Жулии.

*Любимый,  
прости меня. Но иначе быть не может. Леонор останется с тобой. Прощай.*

И более — ничего. Остальное он узнал только на следующий день: Жулия написала в театр, что не сможет участвовать в спектакле из-за недомогания. Представление в тот вечер было отменено, а потом стало известно, что актриса исчезла: сбежала за границу с секретарем австрийской дипломатической миссии.

Весь Лиссабон был ошеломлен этой новостью!.. В театре возник ужасный переполох — постановка драмы Мешкиты собирала полный зал, и вот теперь ее пришлось отменить на целых четыре дня. Роль Жулии была небольшой, но чрезвычайно важной. Она была камертоном всего спектакля. И вот... Дьявол...

.....

Как страдал Луиш...

Он не мог, он не хотел в это верить... Но ведь это был не сон, это было на самом деле! А Жулия?.. Неужели она его не любила?.. С отчаянной ненавистью он вспоминал ее страстные объятия, ее жадные поцелуи, лихорадочно-сладостные движения ее тела... Когда они оставались вдвоем... на широкой кровати из тропического дерева, зловещей, как гробница... ему было страшно рядом с ней, он боялся этих змеиных извивов и поцелуев, этих жестоких ласк, этого безумного трепета ее обнаженного тела...

Да... это была она... это ее страстные крики пугали окрестный мрак, когда они оставались вдвоем. Она, его любовница, его подруга, мать его дочери. Мать! Как она могла... как дикая сука во время течки... побежала за своим новым кобелём... или за целой сворой!..

Бесстыжая тварь!..

\* \* \*

Когда в нашей жизни рушится то, во что мы более всего верили, необходимо сделать первый шаг к сопротивлению. Если нам удастся сделать этот шаг, мы

спасены: затем уже найдутся силы, чтобы продолжать борьбу и жить дальше.

Гораздо хуже, когда с нами случается то, чего мы долго ожидали и столь же долго боялись. От постоянного ожидания катастрофы наш дух слабеет. Тот, кто часто повторяет: «Господи, Господи, когда же это произойдет?..» — сам готовит свою погибель, которая не замедлит явиться, как только воплотится ожидаемый ужас. В такие минуты любой человек похож на слабого ребенка, который долго сопротивлялся своим страхам и, наконец, обессилен...

Совсем иначе происходит, когда нас настигает неожиданный удар судьбы, пусть даже и более опасный, чем ожидаемое бедствие. В этом случае нам дается несколько мгновений, в течение которых мы еще можем сами решить — погибнуть или оказать сопротивление...

Луиш не пустил себе пулю в висок. Он принял решение — сопротивляться.

Ему хватило сил побороть свое страдание. И только, когда он начинал задумываться, становилось страшно. Когда задумываешься, всегда становится страшно.

А потом, его дочь... Он посмотрел на свою дочь. Совсем иначе. Прежде он был настолько поглощен ее матерью, что как будто не замечал Леонор. Или — точнее — Леонор была для него как бы неотъемлемой частью Жулии...

Дочь... она могла стать, и непременно станет — его утешением!..

Она вернет в его жизнь покой и, в то же время, напомнит ему о долге. Он будет жить ради нее...

Ради Леонор, да... но не только! Как бы это ни было унижительно, он чувствовал, что не только ради дочери, он хотел бы остаться здесь. Когда он схватился за револьвер, перед его глаза промелькнуло мгновенное видение — ужасное самолюбие, умопомрачительное человеческое тщеславие — ему представился переполненный зрительный зал, взволнованный, загипнотизированный спектаклем, кричащий... аплодирующий...

Слава!..

## II

В первое время после исчезновения Жулии Луишу было очень тяжело. Он плакал, подолгу; тяжело и отчаянно плакал. Запершись в своем кабинете, он целые ночи проводил, уткнувшись в диван (на котором когда-то страстно целовал тело своей великой любовницы) или катаясь по полу, точно человек, достигший последнего отчаянья или умалишенный. Но он не сдавался, и нечеловеческим усилием воли заставлял себя подняться, сесть за стол и писать. Когда он изливал свою боль — чернилами по линованным листам — ему удавалось забыться и отрешиться от своего страдания.

Невыразимая радость — видеть, как наши мысли обретают форму в словах, и потом, читая вслух эти строки, выверять их движение и звучание, вносить исправления, менять одну фразу, затем другую, и, наконец, достигать совершенного ритма. Законченная глава, акт пьесы, написанный до последней реплики,

вслед за которой резко опустится занавес, блестящая, гармоничная поэтическая строка, рожденная всеми напряженными чувствами, всей душой... Все это наше, все это порождение нашего сознания, неотъемлемая часть нашего существа! Это создано нами и без нас никогда бы не обрело существования!

Художник может быть очень несчастлив, смертельно несчастлив. Думаю, что среди художников можно было бы найти немало самых несчастных людей на свете. И все-таки у каждого из них, как бы горька ни была их жизнь, был и свой прекрасный солнечный луч. Их несчастье было чем угодно, но только не бессмысленной пустотой существования, которая является главным и самым несомненным бедствием этого мира.

Творческое наслаждение — самое привлекательное из всех возможных. Перед лицом искусства отступает все, а боль, если и не проходит, то, по крайней мере, утихает. Искусство — наше убежище. И в этом, скажем вполголоса, — его единственная польза: если бы не прекрасные книги, которыми украшен мой кабинет, и не мои собственные слабые упражнения в прозе, которыми я занимаюсь время от времени, вполне вероятно, что я бы уже давно пустил себе пулю в висок.

Когда ребенок чувствует себя обиженным, если это не какой-нибудь пустяк вроде запрещенных конфет или подзатыльника, как часто первое, что ему приходит на ум — это спрятаться где-нибудь со своими игрушками и обнимать или целовать их. И что есть искусство, если не такая «игрушка». Людям, в конце концов, никогда не суждено повзрослеть.

Писать истории, друзья мои, — это, наверное, не самое лучшее применение для долгих или не очень долгих лет своей жизни. Но говоря это, я продолжаю писать истории. Я проматываю тем самым свою жизнь? Несомненно. Но мне очень нравится писать истории. И если уж и заниматься чем-то, так пусть это занятие будет нам по душе.

— Но ведь все именно так и живут! — возразят мне.

Простите. Вовсе нет, — большинство людей занимаются тысячью неприятных для них вещей, которые к тому же совершенно не обязательны. Но люди так и поступают, просто потому, что так делают другие. Никто не ложится спать в восемь вечера. А я, если мне хочется спать в это время, ложусь. Но обычно люди так не делают, просто *потому что никто не ложится спать в такой час*. Пожалуй, это одна из тех немногих привычек, которыми я мог бы по праву гордиться: *я никогда не делал ничего, что мне не нравилось, если в этом не было необходимости*. Поэтому я не курю и редко бываю пьян.

Луиш де Монфорт писал. Работа позволяла ему забыться, и это забытие было для него единственным отдохновением. Даже наступление утра не останавливало Луиша — лихорадочное вдохновение отделяло его от всего, что не было его трудом, и он продолжал писать или читать вслух только что написанные им строки. Но всегда наступало мгновенье, когда, как будто пробудившись ото сна, он возвращался к самому себе, возвращался к своему страданию. В такие мгновения



его охватывало отчаянье, но утомление от бессонной ночи, проведенной за работой, оказывалось сильнее, и тогда он, точно пьяный, пошатываясь, брел в свою комнату и падал на широкую кровать, успокоенный бессилием.

Такое противоестественное состояние, конечно, не могло продолжаться бесконечно. Через некоторое время Луиш, оставаясь наедине с самим собой, уже не метался в безумной агонии. А если порой слезы еще выступали у него на глазах, тихо и спокойно они стекали по лицу и терялись в густых курчавых волосах маленькой Леонор. Дочь была лучшим, что осталось ему от Жулии. Да, она напоминала ему о потерянной возлюбленной, но рядом с Леонор, с этим прекрасным белокурым чертенком, улыбка которого могла утолить самую страшную боль, страдание его утихало. Да, он потерял мать, но с ним осталась дочь. А значит, его страдание было, по крайней мере, не бесплодным.

Да, он еще страдал. Но его боль стала иной: он испытывал к себе сострадание, проникнутое нежной грустью и сожалением. Он оплакивал свое горе так, словно это было горе другого человека, очень дорогого ему. Инстинктивно он с нежностью вспоминал в такие минуты свое детство; затем приходили другие воспоминания: о радостных моментах, которые он пережил, об огорчениях и неудачах, о друзьях, которых он потерял. И все это хотелось ему оплакать. Сердце Луиша было растерзано, но в то же время он чувствовал, что боль утешает его. Она была для него подобна бальзаму, который мало-помалу исцелял его от тяжелой болезни. Он плакал, но слезы не истощали его, на-

против, он становился сильнее. Иногда боль придает человеку силу. И, постепенно смягчившись, страдание даже пошло Луишу на пользу. Оно стало для него источником новых открытий, нового ощущения трепетной жизненной стихии, которой Луиш наполнял свои новые пьесы. Именно тогда он написал «Глорию», одну из самых прекрасных историй о «великой хищнице». Как радостен был для него триумф этой драмы, сколько новых переживаний пробудил в нем этот успех: каждый вечер театральный зал был полон, каждый вечер он слышал, как публика шепотом повторяла его имя, восхищалась им, обсуждала его пьесу. Триумф!.. О, эта золотая химера, ослепительное светило, ужасное божество, ради которого художник трудится и вступает в сражения, истощает все свои силы и предает на мучения свою душу!.. И этой душе нужны гениальные стихи, возвышенные мелодии, несравненные полотна, прекраснейшие статуи — на меньшее она не согласна. И поэтому повсеместно и постоянно юноши и старцы подвергают свои души мистической пытке, из которой рождаются легкие рифмы, прекрасные звуки, цветные мазки...

Опьяненные страстью любовники славы! Скольким из вас улыбнулась она, эта светоносная богиня, утопающая в лазури. Столь немногим... столь немногим... В этом безумном состязании почти все оказываются поверженными... Несчастные любовники, утратившие свои мечты, усталые, покрытые пылью долгой дороги... Их руки окровавлены, сердца — растерзаны, глаза — ослепли от прямого взгляда на солнце. Бедные любовники славы!.. Многие из этих заблудших закан-

чивают свой путь в сумасшедшем доме. Другие, те, что крепче, находят в себе силы отказаться от своей богини и продолжают жить, хотя души их уже мертвы...

Несчастные, обманутые любовники, повергнутые в прах призраками великих незаконченных поэм и прекрасных картин, так и оставшихся эскизами!..

.....

Но Луиш де Монфорт был из числа немногих — победителей. Он еще страдал, но триумф был для него лучшим утешением. Наслаждение, отмеченное страданием, глубже проникает в душу, чем обычное всепоглощающее удовольствие. Поэтому более глубокие — кто знает, может быть, самые сильные — переживания остались в его сердце от подернутого горьким флером триумфа «Глории», чем от радужного успеха тех вечеров, освещенных любовью, когда на сцене блистала «Безумная».

По прошествии лет ни одно иное воспоминание не было Луишу столь приятным, как воспоминание о премьере «Глории». В тот вечер сердце его разрывалось на части! Острая горечь захлестывала всё его существо, голова, казалось, уже не могла выдержать головокружения, нахлынувшего на него волной таинственной стихии. Когда он вышел на сцену и увидел переполненный зал, взорвавшийся аплодисментами, все поплыло у него перед глазами: пространство стало метаться из стороны в сторону, и весь театр начал вращаться вокруг сцены, в центре которой стоял он. Еще немного, казалось Луишу, и эта толпа устремится вперед и растопчет его. Но вот опустился занавес,

и головокружительное видение, едва не сбившее его с ног, угасло.

После спектакля он решил пойти домой пешком. Ночь была неудобной и ветреной, время от времени начинал накрапывать мелкий дождь. И этот мужчина, одиноко идущий под дождем по темной улице — о странная душа человеческая! — был счастливее, чем юноша, предвкушающий ночное свиданье. «Мое счастье... его больше нет», все мысли Луиша вращались вокруг этих слов. Но вдруг, в дрожащем свете фонарей он увидел афишу своего спектакля. Триумф! И тогда он сказал себе: «Да, ее больше нет... ее больше нет... но теперь у меня есть это...» Он прикоснулся к мокрой афише и почувствовал острое желание поцеловать ее... В конце концов, он любил. Это была прекрасная история. Его возлюбленная... ее божественное тело... молочной белизны кожа... судороги страсти. Видимо, и вправду верно, что вспоминать о былом счастье — сладостно. Уже лишь *оттого, что когда-то мы обладали этим счастьем*. У него было всё — была любовь. А теперь?.. Теперь, из всего, что было дорого, у него осталась только...

\*\*\*

Вечер триумфального успеха «Глории» стал для драматурга началом новой жизни. Он был исцелен, оставалось только позволить времени зарубцевать заживающую рану. И время оказалось хорошим лекарством. Теперь, по прошествии двадцати лет, Луиш был по-настоящему счастливым человеком.

После исчезновения Жулии в его жизни, конечно, уже не было подобных драматичных эпизодов. У него не было с тех пор ни одной возлюбленной, а если и возникали любовные связи, они всегда были мимолетны. Все свое время он посвящал дочери и своему искусству, которые стали для него как бы единым предметом обожания. Не всем это было по вкусу, некоторые из его друзей говорили: «Послушай, а не пора ли тебе жениться, хотя бы, чтобы было кому позаботиться о малышке».

Но Луиш так не считал. Он сам хотел быть для Леонор и отцом и матерью. Сколько внимания он уделял ей, с каким старанием заботился о ее воспитании, ее развитии, телесном и умственном!

«Девочка, воспитанная одиноким мужчиной, — это всегда плохо», считали те, кто советовал Луишу жениться. «Отец уходит к женщинам, малышка останется на попечении прислуги, воспитывается на кухне. Так, в конце концов, вырастает какое-то дикое существо, не способное к тонким чувствам и возвышенным переживаниям. Несчастные дети, лишенные матерей, все их детство отмечено отчаяньем: в нем нет ни столь нужной ребенку ласки, ни теплоты и нежности, ни примера для подражания».

Обычно так и происходит, но с Леонор ничего подобного не случилось. Отец заботился о ней, как не всякая мать могла бы позаботиться о своей дочери. Когда Леонор была еще совсем ребенком, Луиш составил план ее воспитания, который последовательно претворялся в жизнь. Если бы почтенные *отцы семейства* узнали детали этого плана, он, разумеется,

до крайности бы их возмутил. Ведь согласно представлениям *большинства*, основные качества «хорошо воспитанной девушки» заключаются в полном отсутствии реального представления о жизни и подавленности всех стремлений и естественных желаний. Однако, всем известно: чем больше от нас что-то скрывают, тем сильнее нам хочется это узнать. А если вы скрываете что-то от ребенка, то в нем обязательно найдется достаточно хитрости и ловкости, чтобы рано или поздно раскрыть то, что взрослые хотели сохранить в тайне. И если это тайна, то, конечно, она равносильна преступлению. Детский неопытный разум, не умеющий отличить ложного от истинного, обязательно поддастся заблуждению... и будет считать раскрытую тайну преступной уже хотя бы потому, что владеть преступным секретом — интересно... И поэтому девушка будет притворяться, делать вид, что ничего не понимает, что ничего не изменилось, что она, как и прежде, скромная барышня, ничем не запятнавшая семейной чести, хранящая свою чистоту, восплаемую лирическими поэтами. Из этого рождается то двуличие, которое впоследствии становится сущностью женской души. Но, скажите мне, ради Бога — разве подобное воспитание могло бы дать другие плоды?

Трагедия! Только этим словом можно назвать судьбу двадцатилетней *хорошо воспитанной девушки*. Бесконечная голгофа мелочной лжи и бесполезного притворства.

О, бедные мои ровесницы!.. Стоит им только начать говорить — и все потеряно! Каждое слово разблачает в них жертву заблуждения их родителей, вре-

доносного воспитания, противного природе и самой жизни. Подавленные смешки, внезапное молчание, стыдливый румянец... Ведь они, конечно, знают, когда им следует молчать, знают, что им запрещено и тщательно стараются не нарушать этих запретов: именно потому, что запретное уже изведано ими. Разумеется, только в присутствии матерей, тетюшек и *других участников ритуала* они ведут себя благопристойно. Когда же они остаются в своей девичьей компании, ни о чем, кроме запретного, говорить как будто даже и не принято. И так прекрасная чистая стихия, подобная прозрачайшей родниковой воде, которая словно создана для того, чтобы окунуться в нее, оставив на берегу всю одежду, становится грязью, по которой общество никому не разрешает ступать босыми ногами.

А потом эти девушки, сами став матерями, будут, не осознавая того, воспитывать своих дочерей так же, как воспитывали их; и мужчины — самодовольные самцы — как всегда будут повторять, что женщины «низшие существа... по большей части, скудоумные, пустые, злобные и лукавые».

Конечно. Так и есть. Женщины действительно такие. И такими их сделали мужчины, впрочем, не без женской помощи. И больше всего навредили своему полу — матери. Мать — самый страшный враг женщины.

Бедные мои ровесницы, прекрасные создания, полные жизни, сильные, гибкие; вам — юные девушки с высокой грудью и красивыми губами — опустошили мозги, подменили души — и все это во имя *соблюдения приличий!*..

Воспитание, которое выбрал Луиш для своей дочери, не просто не имело ничего общего с обычным порядком вещей, но было прямой его противоположностью. Это был исключительный случай: отец позволял Леонор читать только хорошие книги и не запретил ни одну из них. В самом деле, уж если выбирать между гениальными строками о лихорадочной страсти и каким-нибудь слюнявым розовым романом, переполненным идиллической болтовней, — то последний, конечно, опасней. Книги, написанные «для всех», не следовало бы читать никому. Как же все-таки омерзителен этот осторожный литературный ширпотреб, который, кроме того, что лицемерен, еще и невероятно скучен. И такие книги «приличные люди» покупают для своих дочерей!

Но Луиш выбрал для своей дочери другой способ воспитания, и в свои восемнадцать лет Леонор была прекрасной, жизнерадостной девушкой с открытым взглядом и гибким телом, излучающим силу и здоровье. Ей были совершенно несвойственны ни ложный румянец, ни привычка опускать глаза по любому поводу и вовсе без повода. Все, что она говорила, шло от сердца и было правдивым. Никто из ее собеседников не мог позволить себе искусственных речей, фальши: она не терпела.

Я давно уже заметил, что когда мои друзья говорят с девушками, их голос меняется, манера произносить слова становится другой, приобретает какое-то странное, чуждое им выражение.

«Разумеется!» — ответят мне. Это называется «обходительностью», положенной в разговоре с дамами.



Ведь ваши друзья вам не чета. Они настоящие благородные кавалеры, которые знают, как полагается вести себя на званом ужине.

Вне всяких сомнений, это так. Я не знаю, как надо себя вести на званых ужинах, и мне неизвестно, как следует обращаться с дамами. Не знаю, и знать не желаю... потому что иначе мне пришлось бы стать похожим на моих друзей...

Все это очень грустно... очень грустно... очень... И для чего же люди решили превратить жизнь в бесконечное притворство?

Но дом драматурга был совершенно иным миром, наполненным ароматами цветов и радостью. Несколько лет назад он был уютным гнездом для маленького веселого птенца, а теперь стал похож на волшебную шкатулку в руках феи.

После исчезновения Жулии Луиш стал менее общителен, с тех пор в его доме бывали только друзья и близкие знакомые. Фиалью Алмейда,<sup>8</sup> например, посещал его каждый раз, когда оказывался в Лиссабоне. Их дружба с Луишем была по-настоящему крепкой. Ее рождение относилось ко времени, когда Луиш попросил у Алмейды разрешения назвать свою пьесу так же, как назвал свой роман автор «Мадонны ду Кампу Санту».<sup>9</sup> Так появилась на свет драма «Рыжеволосая».

Все знаменитые гости ее отца видели, с какой нежностью растил он Леонор, которая в свои одиннадцать лет сама подавала чай во время ужина и во всем остальном была настоящей хозяйкой дома. А когда ей было пятнадцать, некоторые даже говорили, что один

известный поэт, уже весьма немолодой, автор блестящих и звучных строк, поэт и святой, которого мы все так хорошо знали и которым все так искренне восхищались, безнадежно влюбился в юную Леонор...

Такая манера воспитания Леонор, ее постоянное общение с друзьями отца, конечно же стали предметом злобных насмешек, особенно со стороны дальних родственников Луиша, старых тетушек и бывшего государственного советника, ставшего после отставки настоятелем монастыря.

И все эти почтенные люди были, надо сказать, правы. Девушек действительно так не воспитывают. Иначе и не случился бы скандал на Кампу Гранде,<sup>10</sup> центром которого стала именно Леонор. Представьте себе: первый раз в Лиссабоне была замечена девушка — за рулем автомобиля. Это была Леонор, дочь известного драматурга, который, как ни в чем не бывало, сидел рядом с ней... Господи, какое бесстыдство! Нелыханно!

### III

Луиш де Монфорт едва ли мог пожаловаться на свою жизнь. Если на свете вообще существуют счастливые люди, то он был одним из них.

Годы проходили незаметно, в сладостном и спокойном однообразии. Если время от времени ему и случалось вспоминать Жулию, он уже не проклинал ее. Разве мог он проклинать женщину, подарившую ему такую дочь. Он скорее жалел ее. Ведь она, в конце концов, осталась одна. Три года спустя после исчезновения Жулии ее тело, переходившее все это время из рук в руки, нашли в одной из вилл Ниццы, которую снимал для актрисы какой-то американский миллионер. Жулия лежала на кровати, с ножевой раной в груди. Чем было это трагическое и необъяснимое происшествие: любовной драмой или бандитским нападением, убийством или сведением счетов с собственной жизнью — навсегда осталось тайной. В комнате были

обнаружены очевидные следы борьбы, но дверь была заперта изнутри, и все драгоценности Жулии лежали на своих местах.

Сколь странной была судьба Жулии, сколь необычной! Легкой и быстрой поступью прошла она по небосклону жизни, подобно сияющей комете, стремящейся сгореть в золотистом вихре. Душа — вспышка... прекрасная падающая звезда...

Итак, прошлое было забыто, и будущее не предвещало для Луиша никаких грозных потрясений.

Леонор была прекрасной девятнадцатилетней хозяйкой дома, наполнявшей жизнь отца сладостным ароматом юности.

Время от времени они вместе отправлялись на прогулку, и, видя, как все без исключения мужчины провожают Леонор взглядами, Луиш тихо ликовал. Такое внимание незнакомцев, иногда почти назойливое, восхищало драматурга, который, держа под руку свою дочь, вполне мог быть принят скорее за мужа, чем за отца. В свои сорок лет Луиш отличался крепким здоровьем и бодростью духа. Редкая седина лишь слегка коснулась его волос, а едва заметные морщины нисколько не портили лица. Он был в расцвете своего таланта, и у него было все, что только можно пожелать: здоровье, деньги, слава. Он мог позволить себе спать совершенно спокойно, совершенно не задумываясь о завтрашнем дне.

Год 1908-ой был для Монфорта одним из самых счастливых.

Благодаря литературным журналам, его имя стало известно по всей Европе.

Венский Бургтеатр даже поставил одноактный спектакль по мотивам его «Печальной любви», филигранно написанной пьесы, каждое слово которой было пропитано эфирно тонким лиризмом, выразившим удивительно точно дух и душу обитателей южных земель. И вот теперь перед Луишем открылся Париж, столица искусства, возжеленная цель всех художников. Антуан, новый директор Одеона, решил поставить «Химеру» — мрачную драматическую поэму в переложении Ришпена,<sup>11</sup> перевод для которого сделал сам Монфорт.

Премьера была намечена на апрель. В конце марта Луиш и Леонор отправились во Францию, вместе с ними поехали доктор Паулу де Норонья и его дочь. Паулу был верным другом Луиша с самого детства, он всегда был рядом, даже в самую трудную минуту, а его дети, Габриэла и Карлуш, были единственными друзьями Леонор.

По прибытии в Париж Монфорт и его спутники остановились в Гранд Отеле. Вскоре после этого Луиш начал каждый день ходить на репетиции. Нередко там появлялись и обе девушки в сопровождении доктора Нороньи, которого они использовали как носильщика во время своих прогулок по магазинам. Леонор очень понравилась атмосфера театра, погруженного в полутьму. Все было так интересно! Время от времени она даже решалась поделиться с отцом своими соображениями о том или ином эпизоде репетиции.

В какой-то момент Монфорт сказал самому себе: «Тратить столько времени на то, чтобы сидеть на репе-

тиции — пустое дело». Антуан превзошел самого себя, все сцены были поставлены без малейшего изъяна, актеры оказались на высоте, несмотря на то, что всем им еще очень не хватало опыта. Вера Сержин<sup>12</sup> в главной роли была великолепна.

Репетиции остались позади, и за ними последовал триумф «Химеры», огромный зал Одеона был неизменно полон.

Прошло два месяца, и незадолго до того дня, на который было намечено возвращение в Лиссабон, Луиш решил устроить большое путешествие по Европе. Девушки, узнав об этом, захлопали в ладоши от радости. Вот только доктор недовольно ворчал:

— Черт возьми... в Лиссабоне у меня... столько дел... столько работы...

— Ерунда! — отрезал Монфорт. — Твои больные прекрасно обойдутся без тебя еще пару месяцев. Найдутся врачи, которые их прикончат.

Доктор поворчал, но все-таки уступил.

Это было прекрасное путешествие.

В светлый утренний час они отправились из Парижа в Лондон. Этот город уже был им всем знаком, но, конечно, хранил еще и немало нового. Огромный, деловитый, полный энергии — Лондон очень понравился Леонор:

— Не знаю почему, но эта страна мне нравится. Она похожа на большой дом, в котором всего вдоволь и все — на своем месте. Шкафы с одеждой, серванты с дорогой посудой, кладовые с лакомствами и деликатесами, погреба с хорошим вином. И всем этим заправ-

ляет матрона в голубом переднике со связкой ключей на поясе и засученными рукавами. А руки у нее теплые, округлые и румяные.

— Одним словом: спокойствие и комфорт, — подвела черту Габриэла.

— Как прозаично вы мыслите, девушки! — возмутился доктор. Ведь он в свои сорок пять, уже отмеченный и сединой и морщинами, сердцем был подобен юному поэту, с нежностью встречающему свою восемнадцатую весну. В английской столице он хотел видеть туманный, меланхолический город, образ которого вдохновлял создателей романтических баллад. Поэтому в ответ на слова девушек он начал цитировать «Лондонскую луну»: <sup>13</sup>

*Стемнело. И печального светила  
Белесый лик свинцовым покрывалом  
Ночная туча медленно сокрыла  
И только робким проблеском усталым...*

Но его попросили замолчать, назвали допотопным ископаемым, невыносимым занудой, и так и не дали дойти до последних строк старинной трогательной поэмы, которая так нравилась когда-то моей прабабушке:

*Возьми меня с собою, друг небесный,  
И вместе в край заоблачный с тобою  
Мы улетим, оставив мрак окрестный,  
Твой луч отныне станет мне судьбою.  
Вернемся вместе к горному подножью,  
Ведь здесь ни ты, ни я, увы, не можем  
Свое осуществить предназначье.*

*А там ты будешь светом, я — свободным.  
Я буду жить, а ты не будешь скорбным  
Британской ночи тягостной свеченьем\*.*

Из Лондона, задержавшись на три дня в Остенде, они решили отправиться в Вену, не останавливаясь в Германии, которую никто из них, кроме доктора, не любил. Зато Норонья ее просто обожал: Гёте, Вертер, Рейн, руины старинных замков, император Барбаросса, Нибелунги, мюнхенское пиво...

Вена для Леонор и Габриэлы стала настоящим открытием. Прежде в этом городе они не бывали. Он был для них чем-то вроде Парижа, меньше по размеру, но более элегантный и более серьезный, чем французская столица, похожий на роскошный зал для торжественных приемов.

.....

О славная Вена! — столица чудес, белокурая владелица акведуков и волшебных дворцов. В моей памяти ты осталась обнаженной красавицей, украсившей себя гирляндами из роз и лежащей на сказочном ложе из белых камелий и пармских фиалок...

.....

Когда они прибыли в гостиницу Бристоль, им сказали, что подходящие для них комнаты освободятся не раньше, чем через час. Поэтому, даже не переодевшись и не стряхнув с себя как следует угольную пыль Восточного экспресса, они решили пойти гулять на Ринг-

\* Перевод А. Чернова.



штрассе. Доктор Норонья, обычно склонный к поэтическому восприятию мира, наблюдая за бесконечными пешеходами, среди которых часто встречались статные военные в пышных мундирах, заметил, с несвойственным ему прагматизмом: «Все это напоминает мне Лиссабон...»

— Почему!? — негодуя спросили его спутники.

— Похоже на Золотую улицу,<sup>14</sup> одни и те же идиоты постоянно ходят туда-сюда.

Вена задержала Луиша и его спутников почти на целый месяц. Они посетили едва ли не все музеи и дворцы. А сколько часов они провели в парке Пратер! Как удивляли и восхищали их островки свежей зелени и внезапно «возникающие» неизвестно откуда рестораны и цыганские оркестры.

— Отличные декорации для романа из жизни высшего света, — заметил Луиш во время одной из прогулок.

Доктор, однако, упорствовал в своем недовольстве. Больше всего его, неисправимого курильщика, возмущало поведение некоторых женщин, на вид вполне благопристойных. Судя по всему, эти дамы были женами офицеров и при этом вполне открыто, у всех на виду, они курили вместе с мужчинами. Доктор находил такое поведение неприличным, и это стало постоянной темой для его споров с Луишем.

— Вот скажи мне, дружище, какого черта тебе не нравится? — возражал Луиш. — Я, например, не курю, потому что не хочу. Но никак не возьму в толк, что неприличного, если человеку нравится дымить завернутым в бумагу табаком. Допустим, это вредно для здо-

ровья, но почему ты считаешь это вызовом обществу? Может, ты объяснишь мне это наконец?..

И, конечно, доктор ничего объяснить не мог. Ведь всем известно, что необъяснимое объяснения не имеет.

— Такому безнравственному типу, как ты, — объяснишь! — продолжал возмущаться доктор. — Но застань я за этим свою дочь, ей пришлось бы долго со мной объясняться!..

— Думаю, что тебя настигнет возмездие. Вот увидишь, все твои внуки будут курить, как турки.

Из Вены они отправились в город увитых цветами балконов — в Будапешт. Однако, к великому разочарованию нашего романтического доктора, им удалось увидеть только один подобный балкон — в отеле, где они остановились.

А Дунай и в самом деле был прекрасен, и особенно там, где его пересекал подвесной Мост Елизаветы — *Eg-zébet hid*, — с которого открывалась великолепная панорама. Это было самое сильное впечатление, которое Будапешт оставил в душе Луиша и его спутников.

Сам город тоже был красив. Его игривая архитектура, особенно некоторые купола, живо свидетельствовала о том, что путешественники уже не так далеко от Востока. Леонор во время одной из бесед заметила, и все согласились с ней, что широкие пустынные бульвары с очень скромными магазинами, казались грустными и как будто разоренными. Поэтому Будапешт производил впечатление города, построенного недалеко от теплых источников, но так и не ставшего по-

пулярным у отдыхающих. «Огромная выставка почти без публики», — добавила Габриэла. «Отличная сцена, с посредственными декорациями и статистами вместо актеров», — резюмировал Луиш.

Между тем путешествие подходило к концу. Нужно было возвращаться. Однако и на этот раз доктор, который никогда не разделял мнения своих спутников, возмутился и взбунтовался. Норонья заявил, что ему понравилось путешествовать, и теперь он хочет увидеть Константинополь: «Какого черта, в конце концов... мы все равно уже недалеко... Надо этим воспользоваться...»

Но удача ему не улыбнулась, и бедный Норонья был вынужден подчиниться судьбе: девушки уже устали от поездов и вокзалов, им хотелось скорее вернуться в Лиссабон... и кроме того, конечно, разобрать свои, переполненные покупками чемоданы, которые они оставили в Париже.

Обратная дорога проходила через Италию, с остановками на несколько дней в Венеции и Милане. Затем они пересекли Симплон, проехали Швейцарию и прибыли в Париж, а из Парижа в середине августа Южный экспресс доставил их в Лиссабон.

— Это сущее безобразие, просто оргия какая-то! — закричал доктор, ступив на родную землю. Как только он оказался дома, его начали мучить угрызения совести: на четыре месяца оставить своих пациентов...

\* \* \*

Луиш нередко с беспокойством думал о будущем Леонор. Он считал, что ей уже пора выйти замуж. Ее губы были созданы для поцелуев, ее высокая и упругая грудь — для объятий и ласк, все ее тело — просило любви.

В своем воображении драматург уже давно нашел для дочери жениха. Это был Карлуш де Норонья. Тайным желанием Луиша было увидеть, как Леонор и Карлуш, никем не побуждаемые, без какого-либо нажима полюбили бы друг друга. Это стало бы для него вершиной счастья.

Сын доктора действительно сочетал в себе все качества для того, чтобы считаться подходящим женихом. Он был блестящим молодым человеком со столь же блестящим будущим. В минувшем году он окончил Навигацкую школу, показав по всем дисциплинам превосходные результаты. Кроме того, Монфорт был для него, можно сказать, духовным наставником. Сохраняя независимость суждений, молодой человек во многом был схож с драматургом. Именно Монфорт, удивленный первыми литературными опытами юноши, почти силой заставил Карлуша опубликовать их, и затем один из актов его пьесы даже был поставлен в Национальном театре. Отчасти и поэтому Луиш так симпатизировал юноше, он видел в нем коллегу.

— Это наш португальский Пьер Лоти,<sup>15</sup> — подшучивал над Карлушем Монфорт.

И действительно уже из первого своего путешествия Карлуш привез настоящий экзотический роман, который в скором времени выйдет в свет.



В то лето Паулу де Норонья и его дочь по обыкновению приехали в загородное имение Монфорта. Вместе с ними приехал и Карлуш, у которого перед отъездом в колониальные владения был небольшой отпуск.

Имение Луиша было настоящим раем. Тенистые аллеи, богатые спелыми плодами, свисающие кое-где виноградные лозы, большие пруды с чистейшей водой, волшебные тропинки, вдоль которых — кирпичные скамьи, украшенные цветами. Сколько там было цветов! Все имение было — большим цветущим садом. А ведь еще недавно на этой земле выращивали картошку... Теперь же Монфорт превратил ее в прекрасный сад. Это, надо сказать, немало добавило скандальной славе Луиша среди окрестных жителей.

Наступил сентябрь. Приближалась пора сбора винограда.

Сбор винограда!.. — время прекрасных лоз и любви... О, сентябрь! — месяц золотистых ягод, как сладостно — прожить твои дни на лоне природы, умиротворенной и словно тихо улыбающейся наступлению утра... Ветры приносят ароматы и мелодии... Сентябрь!.. ранние твои часы — солнечны, полуденные — лучисты, вечерние — прохладны, они подобны вестникам осеннего холода, этого грустного кавалера, утешающего наши печали, этого прекрасного принца с леденящим взглядом, одетого плащом из мертвой листвы... О, сентябрь! — месяц спелых ягод, как сладостно прожить твои дни на лоне природы...

В один из таких сентябрьских вечеров после ужина Луиш остался в гостиной — сыграть партию в шахматы с доктором Нороньей. Надолго его терпения не хватило, и, наконец, совсем наскучив игрой, он решил немного прогуляться по саду. Рассерженный таким поведением друга, доктор наотрез отказался его сопровождать. Вместо этого он остался в доме, растянулся в шезлонге и принялся в третий раз перечитывать последний номер «Новостей».

Вечер был прекрасен, странный лунный свет делал его похожим на сновидение.

Монфорт прошел по саду, чтобы убедиться, сделали ли в тот день садовник должным образом свою работу, и после этого решил пойти к мельничному колодцу. Но вдруг что-то остановило его. Вдалеке, у одного из прудов — о чудесное видение! — он заметил Карлуша и Леонор, которые, держась за руки, нежно смотрели друг на друга. Габриэла, не желая им мешать, отошла подальше и как бы поправляла цветы на одной из клумб... И вот в лунном луче, осветившем Карлуша и Леонор, Монфорт с чувством восторга увидел, как их губы сближаются... соприкасаются... сливаются в поцелуе...

.....

Свадьба Карлуша и Леонор была назначена на следующую весну.

## IV

Но еще до наступления весны у Леонор начался кашель. Конечно, это были сущие пустяки, ничего серьезного, обычная простуда. Однако время шло, а кашель не проходил. Долгий, сухой, изнуряющий кашель. Паулу де Норонья прописал какой-то сироп, пожал плечами и сказал, что беспокоиться не стоит. Но если бы кто-нибудь понаблюдал за ним, пока он осматривал Леонор, то непременно заметил бы на лице доктора тревогу. После первого осмотра доктор Норонья стал навещать Леонор каждый день и регулярно прописывать ей новые лекарства. И все это, несмотря на уверения в том, что ничего серьезного не происходит. Луиш на это заметил:

— Тогда на кой черт нужны все эти склянки?

— Склянки? Так надо... Чтобы избавиться от этого кашля, который хоть и неопасен, причиняет много неудобств.

Через некоторое время доктор сказал, что Леонор было бы хорошо провести несколько недель в загородном имении: «Там чудесный воздух. Пусть девочка погуляет в хвойных рощах, поправится от здоровой пищи».

Услышав это, Луиш начал беспокоиться. Кашель в последнее время стал слабее, и вот... Но доктор развеял его опасения: «Девушки в этом возрасте всегда склонны к анемии. Поэтому никакие предосторожности не будут лишними. Вот увидишь, — месяц за городом, и все как рукой снимет!»

Но тревога не оставляла Луиша. Теперь он стал замечать, что его дочь изменилась: Леонор похудела, не особенно сильно, но заметно; ее щеки и губы побледнели, черты лица заострились. «Да, пожалуй, но ничего — месяц на свежем воздухе и она поправится», старался успокоить самого себя Монфорт.

В начале января Луиш и Леонор переехали в загородное имение.

Габриэла на этот раз не сопровождала свою подругу. Любовь делает людей эгоистами: девушка хотела чаще видеть своего жениха. Этот роман начался примерно в то же время, что и отношения Карлуша и Леонор. Жених Габриэлы был студентом-медиком, многообещающим юношей; через год он должен был закончить университетский курс. Их свадьба была назначена на тот же месяц, что и свадьба молодого офицера и Леонор.

Жизнь Леонор в загородном имении была спокойной, размеренной, умиротворенной и здоровой. Она поднималась очень рано и гуляла, собирая цветы. По-



том она шла в птичник, кормить «своих» куриц, а остаток дня проводила за чтением, на террасе, выходявшей в прекрасный сад, в котором даже январская непогода не могла истребить цветы.

Однако вскоре Луиш снова начал беспокоиться: он не замечал в Леонор никаких перемен к лучшему, ее щеки и губы были по-прежнему бледны. И, кроме того, прежний аппетит так к ней и не вернулся.

Доктор Норонья приезжал к ним на автомобиле каждое утро. Он уже не скрывал беспокойства. Однажды он даже привез своего коллегу, чтобы узнать его мнение о состоянии Леонор. Луиш, увидев это, побледнел: «Значит...» Доктор услышал его: «Ничего это не значит. Ты, что, не знаешь поговорку: береженного Бог бережет. Еще одна пара глаз в таком деле никогда не бывает лишней. А ты успокойся, все в порядке, уверяю тебя».

Но в голосе доктора слышалось что-то неискреннее. Монфорт, заметив это, уже не мог себя обманывать. Все его существо сковало горькое осознание того, что его дочь, его любимая Леонор, была больна... Эта крепкая, сильная девушка, которая вообще никогда ничем не болела — даже корью в самом раннем детстве! Монфорт не мог... он был просто не способен поверить в это...

Но и этим не исчерпывалось страдание Луиша: его мучил не только телесный недуг Леонор, но и то, что душа ее тоже переменялась. От ее характера, который всегда был живым и жизнерадостным, как будто не осталось и следа. Она больше не бегала и не смеялась, как прежде; только грустно улыбалась, но и это

давалось ей не без усилий. Напрасно Леонор пыталась обмануть отца, который теперь постоянно твердил ей:

— Ну что с тобой, скажи мне, что? Отчего ты грустишь? Что-то не так, случилось что-то? Если тебе чего-то не хватает, только скажи...

— Нет, папа, все в порядке, — отвечала Леонор. — У меня все хорошо, клянусь тебе. Это всё твои домыслы.

Но, несмотря на ее усилия, надолго сохранить эту напускную бодрость было уже невозможно.

Теперь Монфорт жил в непрестанной муке. Его новую пьесу в то время репетировали в Театре Республики.<sup>16</sup> Из-за этого он каждый день приезжал в Лиссабон на репетиции, и актеры, привыкшие к тому, что Монфорт следил за каждой деталью, замечали, что он был рассеян и отстранен, что душевные страдания отвлекали его от сцены.

Постановкой пьесы занимался Аугушту Роза. Во время одной из репетиций он с нескрываемым возмущением сказал Монфорту: «Откровенно говоря, не понимаю, зачем ты вообще приезжаешь! Чтобы все время молча сидеть в кресле? Если только за этим, то тебе было бы лучше остаться дома!»

Монфорт отвечал ему с горькой улыбкой: «Ты прав. Извини меня. А постановка... кто лучше тебя справится с этим делом? Не обращай на меня внимания, оставь все как есть, пожалуйста. Эти репетиции — лучшее, что есть сейчас в моей жизни». Аугушту Роза с пониманием относился к страданию своего друга: «Бедный Луиш... это ты извини меня», говорил он и продолжал репетировать.

Действительно, часы репетиций были теперь для Луиша самыми счастливыми, ведь в это время он почти забывал о своей боли. Он сидел в полумраке партера с полузакрытыми глазами, время от времени его слуха касались слова и фразы из его пьесы, все это создавало атмосферу сладостного сонного оцепенения. Его душа как будто парила в опиумном дыму. В его сознании возникали видения прошлого, радости и разочарования. И будущее, о котором он не мог теперь думать, не ужасаясь, являлось ему в эти часы, как радостный мираж: родовое гнездо, веселый солнечный свет, поцелуи женихов и невест, объятья супругов, шумный рой маленьких внуков, которые дергают его то за штанины, то за волосы, бегают, ломают ему очки...

Но когда заканчивалась очередная репетиция и Луиш, выйдя на улицу, пробуждался от этих сновидений, его тут же настигала тревога. Он боялся вернуться в имение. Ему казалось, что на пороге его встретят ужасными новостями. Он не знал или даже не представлял, что это могут быть за новости, но очень боялся их. Поэтому, уступая страху, он использовал все возможные предлоги, чтобы подольше не возвращаться домой. Он заходил в книжные магазины, останавливался у каждой витрины, разглядывал все афиши. И вдруг осознавал, который час. В эти мгновенья его всегда охватывала страшная тоска, ему хотелось увидеть дочь, поцеловать ее, крепко обнять. С лихорадочным волнением он тотчас же садился в автомобиль и на полной скорости устремлялся домой.

Леонор всегда встречала его у ворот со словами:

— Ты сегодня так поздно... Я уже начала беспокоиться.

Луиш отвечал:

— Не волнуйся, дорогая, завтра я вернусь пораньше.

Но на следующий день все повторялось.

Время шло, неделя за неделей, без каких-либо перемен. Жизнь стала для Луиша бесконечным мучением. Стоило ему задуматься о будущем, страшная тоска сковывала его душу, он не мог спать, терял аппетит, но как бы ни было тяжело, как бы ни были мрачны его мысли, призрак смерти никогда не являлся ему. В его воображении Леонор не могла подняться с постели, была прикована к инвалидному креслу, была измучена, обездвижена, страдала от ужасной боли, но никогда — никогда! — он не видел ее мертвой, лежащей в гробу, бледной, покрытой цветами... Есть такие вещи, *которые просто не может быть*. Просто не может, уверены мы, потому что они невыносимо ужасны, потому что если это произойдет, жизнь для нас станет безвозвратно невозможной. И мы никогда не верим в то, что так случится с нами, столь велик наш ужас перед ними. Наверное, таковы не все, но для меня и, думаю, что для многих других — это так. «Моя дочь умрет? Это создание, полное жизни, еще совсем недавно излучавшее радость и здоровье? Она, такая сильная и красивая, будет предана земле?... Невозможно! Невозможно! Все что угодно, только не это!...» Мы настолько боимся катастрофы, что даже мысли не допускаем, что можно осознать ее вероятность. Мы готовы страдать... но при-

чины этих страданий, как правило, в том, что не столь вероятно и не столь уж страшно для нас. И в этом — извечный эгоизм человеческой души, которому подвержены даже самые достойные люди и даже самые возвышенные чувства. Правило это неизменно, время проходит, а оно подтверждается снова и снова. И причина тому — душа человеческая, ведь трусость и эгоизм, по крайней мере, тот, что не проявляется открыто, и есть самое существенное и глубинное в нашей душе.

— Тогда эта душа — самое низменное, что есть на свете! — скажете вы.

Прошу прощения, но давайте все же не будем топиться с вынесением приговора. Рассудите сами, что следовало бы нам считать преступным? Прежде всего, то, что *не естественно*. Я прекрасно понимаю, что это плохое определение. Определить, значит ограничить, а такое определение проводит слишком смутные границы, поскольку огромное количество вещей, совершенно неестественных, в то же время не являются преступными, по крайней мере, общество не считает их таковыми. Но попробуем все же разобраться в этом: *преступно, прежде всего, то, что не является, естественным и не находит себе разумного оправдания*. Поэтому суды оправдывают некоторых убийц. Например, мужа, который застал жену с любовником и убил обоих. Его преступление естественно. Присяжные оправдали его. По той же причине, полагаю, нам следовало бы оправдать и человеческую душу, трусливую и эгоистичную, потому как вполне естественно, например, бояться пуль, *которые причиняют боль*, и так же естественно ставить себя превыше всего на свете, по од-

ной единственной причине — потому что каждый для себя — *это именно он сам*.

Поэтому, читая известия о кораблекрушениях, о благородных и великолепных поступках некоторых людей, я всегда испытываю восхищение, проникающее все мое существо лихорадочной дрожью. Когда я узнал о недавней катастрофе «Титаника», я плакал, увидев портрет жены какого-то американского миллионера, прекрасной молодой женщины, полной жизни, губы которой таили еще столько поцелуев, руки которой — столько божественных объятий, грудь которой была бы так красива в смелом декольте. И вот она в тот страшный час спасала женщин и детей, а сама осталась на борту, чтобы умереть. Я думал о ней со слезами на глазах: эта прекрасная женщина была непоседливым, шаловливым ребенком. У нее было все. Она блистала в роскошных гостиных, мужчины, когда она проходила мимо, засматривались на нее. Ее обожали, ей готовы были служить. Как и у всех, у нее была своя первая любовь, свой первый роман, свои разочарования, свои радости, свои печали. В своем нью-йоркском дворце она жила, как сказочная принцесса, в кружевах, жемчугах и сапфирах. Легконогая и веселая, она быстро проходила по коридорам своего дворца, как это и положено доброй хозяйке дома. Она любила солнечные дни, лунные ночи, осенние вечера, она — жила. Ее белые зубы, словно выточенные из слоновой кости, впивались в плоть золотистых и алых плодов, ее бледные и тонкие, как у сказочной феи, руки срывали розы, фиалки, камелии, волшебные анемоны, орхидеи... Возможно, в ее жизни была великая любовь. Я видел, очень ясно

видел, как любимый мужчина целует ее в каком-то роскошном темном безлюдном зале; я видел ее тело, восхитительное обнаженное тело, которое она в безумном порыве предавала поцелуям своего любовника. Я плакал. Это божественное создание, эта женщина, которая жила, любила, смеялась, плакала, сегодня где-то там, в открытом океане, вдалеке от всего на свете, металась по траурной палубе и вырывала из объятий смерти — подобно всеобщей матери! — чужих детей. Счет шел на минуты, судно быстро погружалось в морскую бездну... А эта хрупкая женщина самозабвенно бежала на другой конец палубы, чтобы исполнить свою высокую миссию... Она помогала другим перебраться в переполненные шлюпки и даже не подумала занять место в одной из них! А потом, обессилив, она спокойно ожидала смерти, скрестив руки на груди. Сколь благородной была ее жизнь, столь благородной была и смерть. Прекрасное тело, созданное для любви, возвышенная душа! На этом корабле был ее последний бал, на этом корабле она в последний раз предавалась любви. Я плакал, скорбь пронизывала меня насквозь, когда я смотрел на лицо этой женщины; я любил ее! Да, в эти мгновенья я любил ее всем напряжением душевных сил! Я плакал...

Но каждое слово здесь — это, конечно, всего лишь литература... Вещь отвлеченная... Однако вернемся к нашему вопросу: в той же ужасной катастрофе проявилась и самая настоящая, жуткая по своей сути, жизнь. Я говорю об истории двух итальянцев, которых застрелили за то, что они первыми, отталкивая женщин и детей, хотели забраться в шлюпки. Они

хотели жить! Есть ли более благородное стремление!? Люди, неисправимые романтики, которые так любят все менять, преобразовывать и переворачивать с ног на голову, зачем-то сделали едва ли не главную добродетель из презрения к жизни, а из любви — какую-то постыдную тайну, которую надо скрывать со всей возможной строгостью. Таково превосходство человека в этом мире. Выражается оно, главным образом, в искажении естественных чувств, которое есть своего рода мятеж против природы. И, действительно, не превосходство ли это? Ведь животные, существа низшие, на такой бунт не способны. Они во всем повинуются природе. Впрочем, мятеж этот, надо сказать, занятие глупое, ведь только глупец способен бунтовать, чтобы добиться худшего чем то, что он имеет. А природа пока еще относится к тем немногим вещам, которые не требуется улучшать, отчего и попытка усовершенствовать чувства ничего, кроме вреда, принести не может.

— То есть как?! — услышу я возмущенное возражение. — Всем этим пустым словоблудием вы хотите оправдать трусливых итальянцев и обвинить тех, кто пристрелил их!

Прошу прощения, я человек. И поэтому я не оправдываю их, напротив, они вызывают у меня отвращение. Однако, как только первый порыв возмущения отступает, я начинаю размышлять, и вот уже готов извинить их поступок и проникнуться к ним бесконечным сочувствием. Только в этом случае мое сострадание не так мучительно. Я не дрожу и не плачу, как тогда, когда перед моим взором было лицо той прекрасной женщины.



Литература, друзья мои, литература...

.....

Врач, которого Паулу де Норонья привез из Лиссабона в имение Монфорта, был знаменитым пульмонологом. Когда Луиш услышал его имя, все его тело пронзила дрожь, он впервые по-настоящему осознал всю тяжесть положения своей дочери. До этого страхи и опасения мучили его, но он не знал, чего именно следовало бояться. Теперь же, точно в свете молниеносной вспышки, ему открылось все: это было начало траурного марша болезни, которая не щадит никого... кашель, впалые щеки, постоянное выражение печали... осмотры, сначала одного врача, потом другого, потом третьего: изнурительная голгофа, конец которой столь ужасен и невыносим, что его невозможно даже вообразить. Такие вещи не могут, не должны происходить никогда...

После того, как врачи закончили осматривать Леонор, Луиш начал умолять, чтобы от него не скрывали правду. Знаменитый доктор на это сказал: «В настоящий момент, сеньор Монфорт, оснований для беспокойства у вас нет... Хотя левое легкое немного поражено... но, право же, это, можно сказать, пустяк. Уверю вас. С этими недомоганиями, однако, надо быть осторожнее. Впрочем, ваша дочь очень крепкая девушка, если выбрать правильное лечение и следовать ему, уверен, ее бывшее здоровье восстановится. Что касается лечебного курса, в этом мы с моим почтенным коллегой, доктором Нороньей, совершенно согласны. Для начала — несколько месяцев в одном из швейцарских

пансионеров. Думаю, что пока этого будет достаточно. По крайней мере, сейчас все указывает на это. Говорю вам все это, чтобы вы понимали: дальнейшее нам неизвестно... Но отчаиваться никогда не стоит».

Эти двусмысленные и противоречивые слова доктора, столь обычные для медиков, которые одной фразой дают надежду, чтобы следующей — ее отнять, причинили Луишу невыразимое страдание. Казалось, что ему было бы легче, если бы врачи сказали: «Ваша дочь обречена».

Для некоторых людей, и таким был Монфорт, неизвестность — самое тяжкое бремя. Когда мы в чем-то уверены, сколь бы страшным это ни было для нас, только это и причиняет нам боль. Но если, кроме страдания, нас мучает и сомнение, мука становится еще ужаснее: мы страдаем от сомнения, которое все чаще становится ужасающей убежденностью, и от надежды, которую таит в себе неуверенность. Иначе говоря, в первом случае мы страдаем только от отчаянья, а во втором от отчаянья и от обманутой надежды поочередно, и тогда страдание становится настоящей пыткой, способной свести с ума.

Поняв, что правды от знаменитого доктора он не добьется, как только тот уехал, Луиш начал умолять своего друга сказать ему все без каких-либо недомолвок.

Доктор ответил ему:

— Мой дорогой Луиш, я буду предельно откровенен с тобой. Состояние Леонор вызывает у меня беспокойство. Никто из нас не может понять, почему болезнь столь быстро прогрессирует в таком крепком

и сильном теле. Однако, уверяю тебя, состояние твоей дочери никак нельзя назвать безнадежным. Ее организм должен справиться с этой болезнью. А ты как можно скорее собери всё необходимое для поездки в Швейцарию. Советую тебе поехать с Леонор в Давос, и верю всем сердцем, что в скором времени мы все пробудимся от этого дурного сна.

Эти искренние слова были для Луиша спасением. В нем снова пробудился человек действия, которым он и был в обычном своем состоянии: решительный, наделенный железной волей. Перед ним стоял вопрос жизни и смерти. И он должен был приложить все возможные усилия, чтобы усердным лечением и любовью спасти свою дочь. Вот за какую работу теперь предстояло ему приняться. И он непременно добьется успеха!

.....

Но прежде чем они успели отправиться в Швейцарию, у Леонор во время кашля впервые открылось кровотечение.

# V

По приезде в Давос и Луиш и Леонор были в самом бодром расположении духа. Леонор хотела жить, хотела любить, и поскольку желание это было глубоким, она нисколько не сомневалась в том, что благотворный горный воздух позволит в скором времени восстановить утраченное здоровье.

Они проводили время в самых лучших санаториях, и Леонор со всем воодушевлением, на которое была способна, следовала предписаниям врачей, чтобы ускорить выздоровление. Перед ней простирались великолепные высокогорные пейзажи, и она с наслаждением вдыхала чистейший воздух, который был для нее жизнью, здоровьем, любовью.

Вскоре после прибытия в Давос, они познакомились почти со всеми пациентами санатория, но любимыми спутниками Леонор, единственной компанией, которая была ей действительно по душе, стали парижская актри-

са Иветт Дольси и датский студент Кристиан Юссинг. Мадемуазель Дольси привлекла Леонор тем, что все остальные ее сторонились. Она была француженкой и актрисой, этого было достаточно, чтобы сосредоточить в себе все качества, которые *приличным людям* представляются сомнительными. Поэтому мужчины постоянно пытались за ней приударить, в то время как «почтенные дамы» не удостоивали ее даже самым простым приветствием.

Иветт была очень симпатичной девушкой: простой, порывистой и независимой. К тому же в ней не было ни капли глупого тщеславия. С удивительной непосредственностью она рассказывала о своей жизни, о своих мечтах и надеждах. Она завороченно произносила имя Робера Лагранжа, молодого драматурга, уже ставшего известным своей пьесой под названием «Ад». Лагранж не только оплатил ее лечение, он вызволил Иветт из ателье модистки, в котором она бессмысленно прозябала. И все шло хорошо, пока ее не настигла болезнь: печальный итог детства, полного лишений, и юности, отданной изнурительному труду. Наконец, лихорадочная жизнь театральной актрисы нанесла еще один удар по здоровью Иветт. Лагранжу, неустанно повторяла француженка, она была обязана всем. И будет признательна ему до самой смерти.

Кристиан Юссинг изучал право в Копенгагене. Это был высокий, очень высокий, светловолосый юноша с большими голубыми глазами, которые смотрели на мир с бесконечной меланхолией и беспредметной ностальгией. Первым впечатлением Леонор, еще до их знакомства с Юссингом, было удивление: от того, что он долго и пристально смотрел на нее.

В компании Иветт и Кристиана на открытой веранде санатория Леонор могла провести несколько часов кряду, наслаждаясь беседой и чистейшим альпийским воздухом. В их разговорах каждое слово было исполнено надежды, каждая фраза — большими планами и грандиозными замыслами: для Иветт это была превосходная роль в новой комедии Лагранжа, которая должна была появиться на театральных подмостках в будущем сезоне; Кристиан воодушевленно рассказывал о своей женитьбе, которая должна была состояться через два года, после того, как он окончит университетский курс, а Леонор могла неустанно говорить обо всех радостях, надеждах и мечтах, которые виделась ей в будущем — рядом с Карлушем.

Луиш нередко принимал участие в этих беседах. Он расспрашивал Кристиана о скандинавских литературах; интересовался у Иветт событиями театральной жизни Парижа. Мадемуазель Дольси пересказывала ему восторженные отзывы о его пьесах блистательной исполнительницы главной роли в «Химере» — Веры Сержин, с которой была дружна.

Так прошло две недели. Луиш ликовал. В Леонор, казалось, проснулся ее прежний веселый нрав, ее губы уже не были так бледны, на щеках снова заиграл румянец.

Но эта радость была недолгой. Через месяц Леонор снова стала бледнеть и слабеть.

Горный воздух, как оказалось, не укрепил здоровье девушки, подорванное неумолимо жестокой болезнью.

Только неукротимое желание жить создавало до сих пор мираж скорого выздоровления, только стрем-

ление к жизни смогло ненадолго вернуть румянец ее щекам и улыбку ее губам. Но с каждым днем этот мираж становился все более бледным и призрачным, а действительное положение вещей — все более мрачным. Все обнадеживающие изменения оказались ложными, и Леонор снова чувствовала тяжесть в груди и болезненную слабость во всем теле. Отчаяние и усталость росли с каждым днем, болезнь снова начала одерживать верх.

Врачи, однако, продолжали уверять Монфорта, что ничего необычного не происходит, что такое течение болезни — вполне естественно: периоды улучшений и ухудшений со временем должны смениться уверенным выздоровлением. Стоит ли, право, так отчаиваться сейчас, после всего одного месяца лечения, если иные пациенты тратят на выздоровление весь сезон, и после этого, к тому же, каждый год возвращаются в санаторий, чтобы укрепить здоровье!..

Эти слова подтверждал на собственном примере и Кристиан Юссинг: он провел в Давосе уже почти полгода, и пока не решался покинуть санаторий, несмотря на то, что его пребывание в лечебнице было очень обременительно для родителей.

А каким он был, когда только приехал в Швейцарию... Живой мертвец — иначе не скажешь! Но он никогда не отчаивался и со временем стал понемногу восстанавливаться. Теперь же Кристиан и вовсе чувствовал, что опасность миновала. Он, пожалуй, мог бы уже и уехать из санатория, но все же решил задержаться на некоторое время, чтобы не подвергаться риску. Ведь в таких делах главное — это терпение...

Но прошел еще месяц, и Леонор уже не могла заставить себя быть терпеливой. Каждый день она умоляла отца освободить ее из этого ада, ведь жизнь в санатории стала для нее невыносимой. Она больше не могла, просто не могла оставаться там. Все, что окружало ее — внушало ей ужас или отвращение. Когда она сидела на веранде, вид горных вершин, который еще совсем недавно вызывал у нее радостное восхищение — теперь пугал ее до дрожи: ей казалось, что все эти горы наступают на нее, подобно огромному скоплению гигантских спрутов, готовых схватить и раздавить ее тело своими чудовищными черными щупальцами. Все, что было связано с другими пациентами: тарелки, приборы, одежда было ей отвратительно. Отец предложил Леонор снять виллу неподалеку от санатория. Но она отказалась. Ей хотелось только одного, вернуться в Португалию, в родное имение. Там не было ни ледников, ни гор; там были розы и солнце. А Леонор так скучала по солнцу и белым розам своего сада.

Отец умолял ее не торопиться, просил быть терпеливее и рассудительнее, остаться в санатории еще на какое-то время. Но Леонор становилось все хуже. Ее щеки снова зарумянились, но теперь это был болезненный, лихорадочный румянец. Приступы мучительного надсадного кашля становились все более мучительными, платок, которым она прикрывала рот, все чаще окрашивался кровью.

По совету врачей санатория, которым пребывание там Леонор становилось все более неудобным, поскольку они понимали, что ее ждет, Луиш решился



выполнить просьбу дочери. Они вернулись в Лиссабон. И вот снова надежда: оказавшись среди своих цветов, среди любимых вещей, Леонор, казалось, снова пошла на поправку.

Но через месяц, даже меньше, наступил прекрасный весенний день, полный солнечного света и запаха роз, который навсегда унес с собой дыхание несчастной хрупкой невесты...

.....

\* \* \*

Что происходило в душе Луиша в течение последних дней Леонор, описать невозможно. Конечно, это была невыносимая тоска, но тоска столь великая и неизлечимая, что самым своим избытком она почти не оставляла в душе Луиша места для страдания. Когда боль становится чрезмерной, мы чувствуем себя оглушенными, как будто нас бесконечно долго били по голове. Наше сознание опустошается, и перед глазами начинается какой-то смутный танец угасших цветов, точно мы оказались в собственном кошмаре, который как бы он ни был ужасен, оставляет понимание, что происходящее — всего лишь дурной сон.

Именно это и случилось с Монфортом. Он не плакал, ни с кем не разговаривал, ни о чем не думал. Если его о чем-то спрашивали, отвечал какими-то бессмысленными и бессвязными фразами. Все, кто был рядом, уважал его скорбь, и даже доктор Норонья не подошел к нему, чтобы попытаться его утешить. Все, что могли ему сказать, только усилило бы страдания Луиша.

Полубезумный, с помраченным сознанием и внешне не ко всему безразличный — в комнате, погруженной в полумрак, он наблюдал за тишайшей агонией своей дочери, одетой во все черное. Там же он принимал и друзей, пришедших принести ему свои соболезнования. Вечная комедия человеческой жизни... Только когда тяжелый гроб из красного дерева водрузили на черный катафалк, только когда медленно двинулась вперед траурная процессия, Монфорт, точно очнувшись, впервые увидел и осознал, что с ним произошло. И тогда он заплакал — в первый раз. Луиш оплакивал не Леонор, а полный и окончательный крах своей жизни. Да, это было так: теперь вся его жизнь не что иное, как заброшенные руины, под камнями которых он отныне погребен. Оттого Монфорт и не думал о самоубийстве. Есть такие опустошительные несчастья, после которых мы чувствуем совершенно отчетливо, как бы это ни было странно, что границу между жизнью и смертью мы уже преодолели. Как часто из-за причин, ни в какое сравнение с таким горем не идущих, из-за каких-то мелочных нервных напряжений, мы решаемся дезертировать и доходим даже до того, что хватаемся за револьвер. Но ставши жертвами такой ужасной катастрофы, которую и вообразить себе не могли, мы никогда не задумываемся о таком способе освобождения. Не задумываемся, поскольку наша боль столь велика, что даже в смерти мы не найдем от нее спасенья, наша боль столь сильна, что на самом деле мы уже за чертой смерти. *А если мы уже умерли, то какое имеет значение, что мы еще живы.* И вместе с тем страдание столь могущественно, что оно полностью

подавляет нашу волю, которой уже не хватает на то, чтобы выстрелить в себя, броситься с моста или отравиться. Ведь это, что ни говорите, требует воли.

— Как? Вы, стало быть, не считаете, что самоубийство — это проявление трусости?

— Ни в коем случае! Даже напротив, я нахожу, что самоубийца — человек исключительной смелости. Простите, позволю себе все же заметить... Я прекрасно понимаю, что самоубийство — есть форма бегства: жизнь стала для человека невыносимой, и поэтому он сбежал от нее. Разумеется. Это так. Но чтобы совершить этот побег, ему пришлось прибегнуть к очень смелому, отважному поступку, которого бы не было, если бы он решил согласиться на продолжение жизни. Если бы он согласился остаться в живых, ему пришлось бы *подчиниться* общему правилу: «Жизнь — есть бесконечное страдание». Но он не подчинился, он собственными руками прервал свою жизнь — *он взбунтовался*. А «мятеж», друзья мои, всегда был синонимом решимости, смелости и отваги.

Самоубийцы! О, с каким воодушевлением, с каким почтением я восхищаюсь ими! *Они осуществили свое желание*. В этом их главное превосходство. И стоят они куда больше, чем я, столько раз желавший пустить себе пулю в висок и не решившийся на это. Ведь тот, кто живет, постоянно зевая, изнывая от скуки, как от страшного недуга, тот не просто трус, тот — жалкое существо.

Умоляю вас, не считите это обычным пустословным юношески-литературным пессимизмом. Хотя они и принадлежат писателю — слова эти искренни. Ведь, глядя вокруг, я не вижу ничего, что привлекало бы или

восхищало меня; не вижу и не понимаю, чем я мог бы жить. И я чувствую, остро и глубоко, как все мое тело покрывает что-то подобное тяжелому гипсу, сковывающему мои движения, парализующему мои мускулы.

И эту, ставшую физически ощутимой, болезнь, в которую превратилась для меня жизнь, можно излечить только одним способом: уничтожением. Но у меня так никогда и не хватит силы воли, чтобы испытать этот ужасный эликсир. Поэтому мои друзья могут быть спокойны. Несмотря ни на что, я, как и прежде, буду жить. Ходить в театры, хотя это меня и не занимает, писать книги, хотя в этом и не будет ничего, кроме тщеславной погони за золотой химерой... Бесконечно крича о своих несчастьях, постоянно проклиная свое существование, я буду насмехаться надо всем, что было светлого в моей жизни. Я, написавший эти строки...

Литература, друзья мои, литература...

.....

\* \* \*

Прошло несколько дней.

Доктор Норонья и его дети — Карлуш вернулся в Португалию за неделю до смерти Леонор — по-прежнему оставались в имении Монфорта, откуда Луиш не хотел и не собирался уезжать, несмотря на настоятельные просьбы доктора. Конечно, Паулу, Габриэла и Карлуш не решались оставить Луиша одного, опасаясь, что из-за страшного горя, которое он пережил, может случиться непоправимое: самоубийство или окончательное сумасшествие.

И действительно Монфорт уже казался безумным. Он просыпался на рассвете, выходил из дома и часами бесцельно бродил по садовым аллеям, глядя вокруг невидящим взглядом. Он всех избегал, еду ему подавали в спальню. Его жизнь стала подобна смутному сновидению, от которого он пробуждался время от времени лишь затем, чтобы кричать от невообразимой для окружающих боли.

Доктор Норонья, подумав что присутствие Габриэлы могло быть для Монфорта тягостным напоминанием о Леонор, решил попросить свою дочь уехать из имения. Но Луиш начал умолять его не делать этого: легкий силуэт юной девушки, который он видел время от времени в саду — был ему, пусть и небольшим, утешением. Ему казалось, что это Леонор, живая и веселая, бродит по саду, среди своих любимых роз. Если у него отнимут и этот силуэт, что ему останется, кроме отчаяния. Ведь любое воспоминание о Леонор было для Монфорта утешением. Каждое утро его дочь гуляла в саду. Закрыв глаза, вдыхая напоенный ароматами воздух, Монфорт представлял, как Леонор весело бродит по садовым тропинкам, собирая цветы.

Все, что напоминало Луишу о дочери, становилось для него источником одержимости, которая, быть может, была, предвестницей бесповоротного сумасшествия. Целыми днями, с утра до глубокой ночи, несмотря на все просьбы Нороньи, Луиш мог сидеть в своей комнате, разглядывая какую-нибудь вещицу из тех, что принадлежали его дочери: платок, ленту, корзинку с нитками, акварельный рисунок. Таковы формы, которые принимает человеческое страдание: если

бы их источник не был столь ужасен, они бы, пожалуй, казались смешными.

Через несколько недель, как это ни странно, Мон-форт решил вернуться в Лиссабон, и начал умолять доктора Норонью не нарушать его уединения. Не видя никаких причин не исполнить эту просьбу, доктор с тех пор ограничивался ежевечерними визитами, во время которых громко и настойчиво требовал у Луиша, чтобы тот взял себя в руки и продолжал работать...

Слушая доктора, драматург горько улыбался. Какой же мелочной и бесполезной представлялась ему его работа. Какой пустотой веяло от его славы!.. Чего стоила вся эта драматургия и все внимание публики, если ни то, ни другое не помогало ему укрыться от боли. Бессмертие, которого он достиг еще при жизни, его триумфы, его гений — все это было не более, чем карточным домиком, облачной дымкой, золотистым миражем. А действительность оказалась иной, совсем иной. Она представлялась Луишу огромным алмазным бастионом, который остается неприступным перед нападением гигантов и течением тысячелетий.

Луиш не хотел работать и еще меньше он хотел забыть Леонор, ведь воспоминания о ней были его единственным утешением. Точно бездомный, бродил он из комнаты в комнату по своему жилищу, ставшему теперь пустынным, холодным и неудобным. Утренние часы он проводил в комнате Леонор, открывая поочередно то один, то другой ящик, в которых до сих лежала ее одежда. Когда он смотрел на все эти ткани и кружева, на все эти платки и ленты, на всю эту игристую и капризную пену, его тело, точно электрическим

разрядом, пронзала смертельная тоска, разрывающая сердце. Слезы текли по его щекам, слезы, извлеченные нестерпимой болью из самых сокровенных глубин человеческой души.

Но Луиш только этого и хотел, он хотел страдать, нарочно вызывая в своем воображении черты лица умершей дочери. В слезах, которые текли по его лицу, была не только боль, в них было и что-то подобное утешению. Каждый раз, оставаясь в комнате Леонор, он подолгу сидел неподвижно и молча плакал. Заканчивалось это тем, что, поднося к губам ее ленты и платки, он начинал целовать их, взволнованно вдыхая еще ощутимый, волнующий запах молодого женского тела. Он жадно целовал эти ткани, в томлении, более напоминавшем сладострастие, чем страдание...

Каждый вечер, как прежде это делала Леонор, Луиш выезжал на автомобильную прогулку по тем местам, где имела обыкновение проезжать его дочь.

Так прошло два месяца, по истечении которых Монфорт сообщил доктору, что намеревается отправиться в большое заграничное путешествие. Норонья обрадовался чрезвычайно. Доктору казалось, что теперь его друг спасен от сумасшествия; что Луиш, наконец, решил развеяться и отвлечься от мрачных мыслей. Но это было заблуждение. Монфорт отправлялся в крестное путешествие по страстному пути: он хотел призвать образ Леонор в других декорациях, хотел воссоздать все дороги, на которых она появлялась, излучая жизнь и свет, ожидая любви...

# VI

Дождливой беззвездной душной ночью Монфорт вышел из Южного экспресса на перрон вокзала Орсе. Словно не обращая на это внимания, он позволил носильщику донести его вещи до фиакра, сел в него и приказал отвезти его в Гранд Отель.

Слушая монотонный шум дождя, разбивавшегося об оконные стекла фиакра, Луиш вспоминал свои прежние посещения Парижа. Первый раз он оказался в этом огромном городе во время выставки 1878 года. Тогда ему было девять лет, но он по-прежнему сохранил об этом событии живые и ясные воспоминания. Ах, как он хлопал в ладоши, прыгал и смеялся, когда отец сказал ему, что они поедут в Париж... Сколько раз до того воображение уносило его вдаль от унылых лисабонских площадей, сколько раз он представлял себя гуляющим по грандиозным проспектам великих европейских столиц, сколько ночей — в своем воображе-



нии — он провел, преодолевая тысячи лиг в пожирающих пространство поездах!..

О, счастливые детские годы! Самые счастливые, самые беззаботные, самые радостные и, быть может, — самые эгоистичные?.. Ведь если вокруг нас происходят самые ужасные катастрофы, которые при этом не отнимают наших игрушек и пирогов, нам до этих событий — нет никакого дела... мы даже не осознаем, что это — катастрофы... Да, порой дети плачут, например, когда видят слезы своих матерей и смутно ощущают боль близкого человека. Но стоит им вернуться к своим игрушкам — слез как не бывало. И если детская комната раскрашена веселыми цветами, детство превращается в настоящий волшебный сад. Для счастливых детей, только для них и существует рай, рай первых лет жизни.

Поэтому теперь Луиш возвращался в памяти к своему первому путешествию в Париж. Девять лет. В этом возрасте у него только появлялись первые зачатки сознательности. Но разве это что-то значит, если тогда он был счастлив, если именно тогда его дни были так радостны и светлы, и не существовало для него ни забот, ни тщеславных устремлений.

То путешествие было по-настоящему волшебным: огромные скопления людей на улицах, по которым то и дело проезжают кареты и omnibusy, фантастические прилавки колоссальных торговых рядов, в которых можно было найти несметное количество экзотических сладостей... тысячи павильонов, переполненных чудеснейшими вещами, прекрасные величественные дворцы колоссальной и богатейшей выставки...

После катастрофы 1870 года Франция, снова важно подняла голову и расправила вновь оперенные крылья, готовые сильными взмахами взрезать небесную лазурь. На лицах французов снова были улыбки, все они казались гордыми и просветленными. Блеском глаз своих сынов Франция открывала удивленному миру неслыханную славу возрождения.

... Тогда он впервые побывал на русских горках... и еще ему купили ту самую большую коробку с красками, о которой он так мечтал...

.....

В следующий раз Луиш приехал в Париж, когда ему было шестнадцать. Его тело уже пробудилось для любви. В тот раз он был восхищен роскошными женщинами в вечерних платьях с глубоким декольте, на которых блистали драгоценности. Он заворуженно смотрел на них в театрах, в шикарных ресторанах, в Булонском лесу, когда они проезжали мимо в своих дорогих экипажах. Ах! Как сладостно было бы ему проникнуть в обнаженные тела этих женщин... Или даже провести несколько часов с одной из тех девушек, которые бродят по вечерним бульварам... Как это должно быть странно — ощущать поцелуй этих накрашенных губ, ласкать эту едва прикрытую, влекущую грудь...

Он был еще невинен, но это не мешало ему воображать сладострастные восторги и экстазы...

Потом, когда пришло время, все эти фантазии обрели воплощение. И какое же это было разочарование! Ведь даже самая прекрасная реальность не могла сравниться с теми воображаемыми объятьями... Он узнал это, когда

впервые оказался один в Париже. Он целовал накрашенные губы, ласкал с неугасимой страстью обнаженные груди. Но все эти настоящие поцелуи и объятия, сколь бы ни были они сладостны, никогда не были так прекрасны, как те, что рисовало воображение Луиша. В этом трагедия человеческой души: все ее завоевания, сколь бы великими они ни были, обязательно разочаруют ее, обязательно окажутся не такими величественными, как представлялось до того, как эти победы свершились...

Экипаж резко остановился. Монфорт спустился и вошел в отель.

Выбрав номер, он тотчас лег на кровать, и прежде чем уснуть, продолжил путь по своим воспоминаниям, как если бы ничто их и не прерывало. И тогда в его воображении возникло то несравненное путешествие, которое он совершил вместе с Жулией после успеха его «Безумной». Этот образ был для него особенно пронзительным и живым... Божественный месяц в Париже! Рука об руку, словно в одном бесконечном объятии, они обошли всю столицу, заходя в каждый театр, наслаждаясь шампанским и поцелуями в ночных ресторанах... Все было светлым и лучистым на пути Луиша: молодость, любовь, слава... Будущее казалось ему ровной аллеей, наполненной солнечным светом... Как давно это было... как давно...

И, наконец, прежде чем усталость и непреходящая боль сковали его сном, Луишу привиделось совсем недавнее радостное путешествие, триумф «Химеры», восторг и ликование, обращенное к нему публикой Европейской Столицы...

.....

В Париже Монфорт задержался на несколько недель. Этот город, среди всех зарубежных столиц, хранил в себе больше всего ярких воспоминаний о Леонор.

Каждый день он отправлялся бродить по улицам Парижа, по тем улицам, где когда-то они проходили вместе с Леонор, и тысячи вещей воскрешали в его памяти прекрасный образ хрупкого цветка... Вот сюда они зашли с Леонор, здесь она купила себе какой-то милый пустяк — драгоценность, флакон духов, кружевной веер... Теперь несчастный отец испытывал бесконечное стремление — войти в тот же магазин, купить тот же веер, те же духи... Он понимал всю нелепую инфантильность этого желания и с глазами, полными слез, продолжал свой скорбный путь...

Во время одной из таких «прогулок» Монфорт вошел в большой торговый павильон, «дамский рай», где некогда его дочь могла часами выбирать себе какую-нибудь вещицу. В тот день он бродил по галереям Лувра, Бон Марше, Прентан, Самаритэн.<sup>17</sup> Время от времени его слуха касались голоса продавцов, которые предлагали ему купить что-нибудь из своих товаров. Но Монфорт ни разу не остановился... хотя прежде останавливался едва ли ни на каждом шагу... Когда он видел разноцветные ленты, которые Леонор так любила перебирать своими чистыми, словно у святой, руками, его сердце пронзала боль... Эти шелковые ткани, этот чудесный атлас, этот роскошный бархат, эти брюссельские кружева... пояса, шали, вышитые золотыми нитями шарфы!..

Однажды, это стоит упомянуть, Монфорт все же не сдержался. Увидев в одном из магазинов на улице

Руаяль пару черепаховых гребней, точно таких же, какими пользовалась незадолго до кончины Леонор, он зашел в тот магазин и купил их.

Вернувшись в отель, он открыл футляр, положил перед собой черепаховые гребни и несколько минут смотрел на них спокойным светлым взглядом. Но вдруг, в одно мгновение слезы хлынули из его глаз, и в каком-то странном бредовом возбуждении, он поднес к губам эти гребни и начал покрывать их поцелуями... Ему казалось, что они еще хранят запах волос его безвременной умершей дочери... Эти светло-огнистые косы, яркие, волнуемые, непокорные... этот искристый фантастический ореол, эта астральная, мерцающая золотом вуаль!..

Луишу вспомнилось, как порой он видел Леонор в ее комнате. Она расчесывала волны своих волос, медленно время от времени проводила пальцами по своим прядям... Бедные пряди... Там, далеко, в одинокой могиле, среди гниения и червей, они поблекнут, понемногу утратят свой цвет и блеск, обратятся в прах... Грустные пряди... грустные пряди...

Но перед взглядом Луиша эти пряди сейчас блестящие, извивались и волновались, точно наяву, в своем неземном свечении...

Он снова начал целовать черепаховые гребни, целовать отчаянно, как будто это были заветные воспоминания о любви. Но через некоторое время что-то остановило его, точно Луиш снова обрел рассудок. Он положил гребни в футляр, закрыл его, ощущая в сердце острую боль, и убрал в ящик письменного стола...

Каждый вечер, после ужина, Монфорт выходил на улицу и отправлялся на прогулку по шумным бульварам. Почти всегда при этом он проходил по одному и тому же долгому маршруту: от Мадлен до Площади Республики. Протяженный звон бубенцов, цокот копыт, хриплый шум автомобильных рожков, бульварная музыка, на фоне которой прохожие казались бесшумными, все это было для Луиша чем-то похожим на сладостно-монотонную колыбельную. Его воображению снова являлась Леонор, он чувствовал прикосновение ее руки, слышал, как она что-то рассказывает ему, о чем-то расспрашивает. Его лицо в эти мгновения становилось просветленным. Но вдруг он задевал кого-нибудь плечом или где-то рядом раздавался резкий звук, и тогда Луиш возвращался в свою плачевную действительность. Леонор!.. ее не было рядом с ним, не было... и никогда уже не будет... он никогда не почувствует на своей руке ее руку, охладевшую и безжизненную. Никогда больше не будет любоваться этим стройным телом, этой божественной улыбкой, этими волшебными глазами... Больше никогда... Никогда!.. Бурный мятеж, страшный мятеж поднялся в его груди от этой мысли; огненные вспышки заметались перед глазами в безумном канкане, но Монфорт продолжал идти вперед, пока, наконец, снова ни впадал в бессознательное состояние, убаюканный сладостным миражем...

Самым пугающим и болезненным из того, что постигло Монфорта, было положение, в котором он оказался после смерти Леонор. Начиная с того скорбного дня он перешел в какое-то полусознательное со-

стояние, близкое к сомнамбулизму. У него как будто больше не было собственной воли, всюду его влекла какая-то неведомая сила. Смутные мысли странным образом переплетались в его голове, точно она наполовину была наполнена хмелем. Когда он выходил из этого состояния, боль становилась нестерпимой, и поэтому он старался все глубже погрузиться в это странное оцепенение.

Все чаще Монфорту стали являться причудливые видения. Однажды, темной ночью, перед тем как заснуть, Луиш как всегда думал о Леонор. И вдруг он увидел образ Жулии, давно забытой им рыжеволосой любовницы, чье обнаженное тело проступало из полумрака, окружавшего большое ложе из лепестков роз. *И пока перед ним парил этот странный образ, пусть лишь на одно мгновение, он перестал думать о дочери.*

Как бы ни было, именно то смутное состояние, в котором пребывало сознание Луиша, спасало его от неминуемой гибели. Если бы он не погрузился в этот полумрак, если бы мог со всей ясностью размышлять о своей потере, потеря стала бы для него невыносимой. К такому выводу пришел после долгих размышлений доктор Норонья, которому так хотелось верить, что время и путешествие сумеют излечить его друга от боли и сумасшествия.

Одна за другой проходили недели. В жизни Луиша ничего не менялось. Он, как и прежде, бродил по Парижу, в траурном полусне проходя по тем улицам, где еще так недавно он шел вместе с юной невестой, излучавшей радость ликующего бытия.

В один из вечеров, увидев на афише Фоли Бержер<sup>18</sup> объявление о представлении, которое он некогда смотрел вместе с Леонор, Луиш купил билет и пошел на спектакль.

Во время антракта, когда Монфорт решил выйти из зрительного зала, чтобы выпить рюмку коньяка, его заметила одна из профессиональных служительниц любви. Луиш увидел, как незнакомка с накрашенными губами и едва ли не полностью открытой грудью приближается к нему, и глаза его сверкнули странным блеском. Женская фигура, сколь бы она ни была не похожа на Леонор, снова напомнила Луишу о дочери, такой живой, вернувшейся к нему из сновидения. Но вместо чистого и нежного голоса, Монфорт услышал тусклый, усталый, хриплый, обращенный к нему с циничным вопросом:

— Могу ли я что-нибудь предложить вам, месье?

Луиш машинально кивнул и жестом предложил даме сесть рядом... Тело этой женщины, *лишь оттого, что оно было женским телом*, питало в воображении Монфорта иллюзию присутствия Леонор, здесь, рядом с ним, как прежде...

.....

Исчерпав все воспоминания, которые могла подарить ему французская столица, по-прежнему ведомый духом траурного бродяжничества и странной одержимости, влекомый страшной и неизвестной силой, Луиш отправился в путешествие по другим городам, в которых некогда побывал вместе с Леонор.

И сам не понимая как, оказался через некоторое время в Давосе...



\* \* \*

О, Швейцария, прекрасная владычица белоснежных вершин, волшебный сон всех женихов и невест! Как ничто иное желанным им твои идеальные пейзажи, на фоне которых юношам и девушкам так хочется гулять, держа друг друга за руки. О, холодная богиня лазурных озер, как хочется этим юным созданиям сомкнуть уста в поцелуе под твоими лучистыми небесами! Швейцария — приют влюбленных, последняя надежда для пораженных недугом. Смерть и любовь — неизменно рядом. Для влюбленных ты добрая фея, чье благословение всегда искренне. Но как часто предательски обманчивы те обещания, которые ты даешь болезненно бледным юношам и девушкам... Увы... мне давно это известно... Любовь — мираж, смерть — правда...

.....

... Луиш остановился в том санатории, где еще совсем недавно его дочь с надеждой ожидала выздоровления...

Лечебницы... какими жалкими и унылыми кажутся эти странные караван-сарай, которые на первый взгляд напоминают отели средней руки, не отличимые один от другого... Бессмысленное скопление лихорадочно болезненных людей... Едва только жизнь встретила их радостной улыбкой, они уже были поражены недугом, мало-помалу уничтожающим их организм, в котором они так отчаянно стремятся сохранить хрупкий лепесток волшебного пламени — трепетную искру жизни. Они борются из последних сил, до лихорадочной дрожи, до испарины на мертвенно бледных

лицах... И все напрасно! Все напрасно! Почти никого из них страшная болезнь не одарит пощадой. Разве только тех немногих, которые начали борьбу, когда их здоровье еще не было безнадежно подорвано, или тех редких смельчаков, которые усилием воли способны подняться над собой — точно на крыльях. И эти немногие победители вдохновляют на борьбу других. Если победили одни, отчего же не смогут победить и другие?... Они смогут! Они победят!.. И потом, вернувшись домой, в свои далекие страны, они обретут любовь и достигнут новых побед... сценарий великой драмы, недописанная поэма... И вот уже на их щеках появляется румянец, кровь быстрее бежит по их жилам... Но прекрасный обман длится недолго... Действительность не заставляет себя ждать... И вот они побеждены... побеждены...

.....

... Луиш шел по большой открытой галерее, обращенной к югу, на которой, полная надежд, еще недавно любила проводить время его дочь...

Тысячи горьких воспоминаний и образов, вызывающих отчаяние, вращались в воображении Луиша, когда он машинально мерил шагами эту галерею... И вдруг он мгновенно замер... Это чудо! Вот здесь, совсем близко, рядом с Кристианом... Леонор! Она сидит с книгой в руках... как прежде... как прежде! Его уже не раз преследовали призраки, но такого ясного и живого раньше среди них не было... Он приблизился еще на несколько шагов... Кристиан, да это был Кристиан, исхудавший и бледный, с остекленевшим взглядом, в котором уже читался смертельный приговор. Увидев

Луиша, он не без труда поднялся с кресла, и, взмахнув руками, воскликнул: «Ах, господин Монфорт!... Вы снова здесь... Стало быть Леонор все же передумала... Как у нее дела? Как она себя чувствует?» *Леонор*... Как она себя чувствует? Но ведь она здесь... Вот... поднялась... закрыла книгу...

Заметив, что Монфорт выглядит странно, Юссинг решил представить свою спутницу: «Магда, моя сестра... Сеньор Луиш де Монфорт, отец той девушки, которая так похожа на тебя. Ты, конечно, помнишь, я много о ней рассказывал...»

.....  
.....

Через неделю Кристиан умер, а еще через полгода доктор Норонья с удивлением узнал о том, что его друг женился на Магде Юссинг. Свадьба состоялась в Копенгагене. В скором времени супруги намеревались приехать в Португалию...

## VII

... Теперь он непрестанно видел перед собой прекрасное лицо своей дочери, ее милую улыбку, бескрайнюю лазурь ее глаз. Она воскресла!.. Несомненно это был мираж, Но мираж столь живой, что он был почти равноценен реальности.

Когда доктор Норонья, который так часто сокрушался из-за историй о поздней любви и неравных браках, в первый раз увидел жену Монфорта, ему тотчас же стало понятно всё. Магда была так поразительно похожа на покойную дочь Луиша... Только ростом датчанка была несколько выше, и голос у нее был не такой мелодичный, как у Леонор. Значит, единственной причиной этого брака была бесконечная тоска Монфорта по дочери. Это означало, что Луиш даже и не думал предать забвению свою боль, иначе бы он не решился искать для нее воплощение. Когда Норонья подумал о том, к чему может привести это нескончаемое воспоминание, ему стало страшно.

Все это, в конце концов, было очень странно... С растерзанной душой Монфорт отправился в свое мрачное путешествие. И вот, по прошествии нескольких месяцев он вернулся, вместе с женой, иностранкой, из какой-то далекой страны, в которой он сочетался браком с женщиной, совершенно, если разобраться, ему незнакомой. В самом деле, что знал Монфорт о ее семье, о ее душе, о ее сердце... Случай это был, вне всяких сомнений, очень сложный и столь же странный. Когда доктор Норонья задавался вопросом, чем может закончиться эта история, ответить себе на него — он не решался.

Однако прошло несколько месяцев, и беспокойство доктора почти рассеялось. Его друг за это время сильно изменился. В чертах лица Луиша изгладилось выражение грусти, глаза его теперь сверкали каким-то бессмысленным блеском. Единственное, что напоминало о его состоянии, близком к помешательству, были неожиданные нервные жесты, которые, видимо, явились следствием каких-то тревожных воспоминаний.

Теперь казалось, что для беспокойства не было никаких оснований. Луиш, похоже, смирился со своей утратой и даже был почти счастлив. Паулу, конечно, был этому очень рад, и в то же время где-то каким-то странным образом огорчен тем, что безмерная боль отца из-за утраты любимой дочери — не оказалась вечной. И действительно, когда человек, которого мы любим и уважаем, становится жертвой судьбы, а потом мы видим, как он обретает дорогу к спасению, кроме вполне естественной радости, мы испытываем что-то подобное огорчению оттого, что этот человек не про-

явил сверхъестественную волю в прекрасной, возвышенной и бесконечной борьбе со своей скорбью.

.....

«О, жалкая душа человеческая! — думал Норонья. — Теперь в этом фальшивом образе возлюбленной дочери он будет искать для себя утешение. О, бедная душа, ты — безумное дитя в постоянной погоне за миражами!.. И вот странность, наверное, с точки зрения логики, нас должен был бы оскорблять вид человека, как две капли воды похожего на того, кого мы оплакиваем. А вместо этого мы находим в таком сходстве — утешение!..

Этот интересный случай, — заключил, наконец, доктор, — в итоге оказался банальным, очень похожим на те литературные сюжеты, в которых убитый горем муж стремится обрести утраченную супругу в женщине, напоминающей ему усопшую. Сюжетов таких много, можно вспомнить, например, «Мертвый Брюгге» Роденбаха».

И вдруг среди этих литературных размышлений доктору вспомнился один пассаж из «Дамы с камелиями». Он достал с книжной полки том Дюма-сына, открыл его на третьей сцене первого акта и прочитал:

.....

VARVILLE. — *Il faut avouer que Marguerite...*<sup>19</sup>

NANINE. — *Quoi?*

VARVILLE. — *A une drôle d'idée de sacrifier tout le monde à M. de Mauriac, qui ne doit pas être amusant.*

NANINE. — *Pauvre homme! C'est son seul bonheur. Il est son père, ou à peu près.*

VARVILLE. — *Ah! oui. Il y a une histoire très pathétique là-dessus; malheureusement...*

NANINE. — *Malheureusement?*

VARVILLE. — *Je n'y crois pas.*

NANINE, se levant. — *Écoutez, monsieur de Varville, il y a bien des choses vraies à dire sur le compte de madame; c'est une raison de plus pour ne pas dire celles qui ne le sont pas. Or, voici ce que je puis vous affirmer, car je l'ai vu, de mes propres yeux vu, et Dieu sait que madame ne m'a pas donné le mot, puisqu'elle n'a aucune raison de vous tromper, et ne tient ni à être bien, ni à être mal avec vous. Je puis donc affirmer qu'il y a deux ans madame, après une longue maladie, est allée aux eaux pour achever de se rétablir. Je l'accompagnais. Parmi les malades de la maison des bains se trouvait une jeune fille à peu près de son âge, atteinte de la même maladie qu'elle, seulement atteinte au troisième degré, et lui ressemblant comme une sœur jumelle. Cette jeune fille, c'était mademoiselle de Mauriac, la fille du duc.*

VARVILLE. — *Mademoiselle de Mauriac mourut.*

NANINE. — *Oui.*

VARVILLE. — *Et le duc, désespéré, retrouvant dans les traits, dans l'âge, et jusque dans la maladie de Marguerite, l'image de sa fille, la supplia de le recevoir et de lui permettre de l'aimer comme son enfant...*

.....

Это был в точности случай Монфорта. Он впал в банальность, которая давно уже стала для литературы общим местом. Впрочем, хорошо известно, что перед лицом страданий самые сильные и возвышенные души мало чем отличаются от всех остальных, а иногда они даже гораздо более инфантильны. Вот

только... Монфорт не любил Магду, как свою дочь, он любил ее, как свою жену. Об этом, впрочем, романтически настроенный доктор почему-то не подумал. Вместо этого он увлекся чтением старой французской пьесы.

Время шло, и у Монфорта, по крайней мере, на первый взгляд, все было благополучно. В комнатах его загородного дома снова слышались шаги усердной и очень обаятельной хозяйки. Датчанка казалась очень симпатичной женщиной, открытой и доброжелательной.

Но все это было лишь видимостью. Дочь мелких коммерсантов из Копенгагена, Магда все свое детство провела в атмосфере постоянной скуки и отсутствия каких-либо событий. Единственным содержанием ее жизни был заурядный комфорт, но в глубине души Магда с детства питала гораздо более смелые амбиции. Однако в последнее время, после того, как умер отец и Кристиан был поражен тяжелой болезнью, положение семьи Юссинг стало заметно ухудшаться. Дошло даже до того, что Магда начала давать уроки французского. Поэтому она с воодушевлением приняла столь неожиданное, странное и лестное для нее предложение. Да, ее жених был уже не молод, но и ее двадцать шесть лет не могли ей обещать всего на свете. В общем, под ложной личиной эта иностранка была банальной, пустой, сентиментальной, лицемерной и амбициозной девицей.



\* \* \*

Теперь, если бы вы очутились в доме знаменитого драматурга, он не показался бы вам странным. Почти каждый вечер в зеленом зале доктор Норонья о чем-то беседовал с Монфортом, а Карлуш и Габриэла шутили и смеялись вместе с Леонор. Вот только Леонор смеялась теперь громче, чем прежде...

Время от времени беседа Луиша и Паулу прерывалась, и доктор замечал, что его друг взволнованно смотрит на Карлуша, Габриэлу и Леонор. Конечно, Норонья понимал, что происходит с его другом. Для него эта сцена была прекрасным миражем, *живым миражем* былых времен. И самому доктору тоже подчас казалось, что все они, наконец, пробудились от страшного сна...

Но проходило некоторое время, и на губах Луиша появлялась горькая улыбка. И тогда они продолжали прерванную беседу.

Так прошло полгода.

Начинался 1911 год. Вскоре по возвращении из Дании Монфорт возобновил работу. Он готовил к публикации свой завораживающий шедевр — «Небо в огне». Бессмертные страницы этой книги, исполненной смутного волнения и тоски, обнажали измученную душу автора, чуткую, напряженную и, как никогда, гениальную.

Теперь доктор Норонья был за своего друга спокоен.

## VIII

Но страшное наваждение уже овладело духом Монфорта. И теперь оно влекло его к невообразимой трагедии. В нем началось великое сражение, битва человека, который, не утратив способность мыслить, сохранив волю, уже чувствует, что душа готова оставить его, взмахнуть крыльями, взметнуться ввысь... и затеряться в бескрайней лазури...

Что творилось в его душе, когда он впервые увидел Магду! Лихорадочная дрожь пронзила все его тело, когда он решил, что это его дочь, что она воскресла и вернулась к нему! *Невообразимый ужас смешался в его душе с ликованием.* Но когда он осознал, что это другая девушка, которая всего лишь похожа на его дочь, тогда и произошло в его душе самое странное: *то, что он чувствовал, глядя на эту новую Леонор — теперь это открылось ему со всей ясностью — было внезапной страстью, страстью телесной.*

Иначе говоря, как только он увидел эту девушку, в которой ему предстал живой образ его дочери, в нем тотчас же проснулись нечистые желания. Хотел ли он обладать ее телом, целовать ее губы?.. Невозможно! Невозможно!.. И все же, с тех пор, как Луиш впервые увидел Магду, его главной целью стало — обладать ею. Да, обладать ею, беспрестанно смотреть на нее, на этот живой образ умершей дочери. Все существование Луиша теперь было посвящено памяти о Леонор. Именно поэтому он и вернулся в Давос... Но как иначе обладать этой женщиной, если не быть ее мужем?.. А значит... Ах! Но ведь не только поэтому он решил жениться на ней... не только... нет!.. — теперь Луиш осознал это с ужасающей ясностью.

Сначала он не думал ни о чем подобном, но со временем страшный свет постепенно озарил для него самого происходящее в его душе. Теперь, припоминая некоторые подробности событий, которые произошли с тех пор, как он встретил Магду, Луиш приходил к пугающим выводам.

Несколько месяцев перед тем как заключить помолвку он провел в состоянии крайнего напряжения. Но — факт чрезвычайно необычный — лишь спустя какое-то время он понял, что чувствовал тогда. Бесконечное ликование охватило всю его душу, но в ликовании этом была и радость и боль. Все тело его пробирала дрожь, сознание его, точно пропитанное хмелем, а это и вправду был хмель, рассеивалось, боль засыпала, и Луиш больше не думал о ней.

И что же произошло в первую брачную ночь, в ту ужасную ночь?.. Ах! С каким остервенением он сжи-

мал в объятьях это прекрасное разгоряченное тело, с какой страстью овладевал им... Как целовал эти влажные губы... как впивался поцелуями в эту белую грудь с заостренными от любовного напряжения сосками!..

И, пусть ненадолго, но Монфорт снова был счастлив. Страшная тоска и боль изгладились из его памяти...

.....

На широком ложе из красного дерева, подобном погребальному саркофагу, снова начались любовные битвы, такие же страстные судороги и объятия, как во времена рыжеволосой возлюбленной Монфорта. Натура чувственная, почти порочная, Магда вполне подходила для воплощения фантазий своего мужа, для жестоких поцелуев и мучительных экстазов. И все же иногда в полночной темноте ей становилось страшно, по-настоящему страшно. Магде казалось, что руки Луиша, жадные и сильные, в конце концов, сомкнут на ее шее смертельный железный обруч. Но поцелуи Монфорта заставляли дрожать все ее тело, и тревожные чувства рассеивались, или, скорее, наслаждение, когда в него проникал страх, становилось еще сильнее, пьянило сознание еще более глубоко и властно.

Время шло. Болезненная страсть Монфорта с каждой ночью становилась все страшнее. Магда все чаще испытывала желание сбежать, спрятаться в какой-нибудь маленькой розовой любви, спокойной и обычной.

Однажды она попробовала отстраниться от мужа. Луиш мгновенно отреагировал: схватил ее за запястья,

резко вывернул ей руки и впился в губы лихорадочным поцелуем, таким восхитительным, что Магда, снова побежденная, опустилась перед ним на колени. Их тела снова слились в ожесточенной страсти, плоть каждого из них, казалось, стонала от сладостного напряжения, их поцелуи, казалось, вот-вот станут не поцелуями, а жадными укусами, разрывающими кожу... и вдруг всё закончилось резким порывом, судорогой высшего наслаждения, похожей на резко оборвавшуюся предсмертную агонию...

На следующее утро, когда Магда проснулась, и черный кровоподтек на левой груди напомнил ей о жестоких поцелуях, ей стало страшно, по-настоящему страшно, оттого, что ее любовник, забывшийся тревожным сном, лежал рядом с ней.

Кто же, в конце концов, этот мужчина? Что стоит за этой любовной жестокостью, за этими страстными порывами, за этими безумными ласками? Даже сейчас, во сне, его мускулы сжимаются от внезапных конвульсий, на его губах возникает улыбка, больше похожая на болезненный оскал. А этот страшный блеск, который она, заключенная в объятьях Луиша, видит порой в его глазах... Порой? Почти каждую ночь. Красно-зеленые искры, мерцающие в его зрачках, освещающие странным, пугающим светом его лицо. И среди всех этих ласк и страстных конвульсий ни одного слова о любви! Более того — странно и удивительно! — ей казалось, казалось много раз, что Луиш лишь огромным, сверхчеловеческим усилием удерживает себя, чтобы среди этих ужасных поцелуев не прорывались безумные, нечистые слова...

«Как же понять, что этот мужчина, который пугает меня, который почти мне отвратителен, в то же время влечет меня, как будто пропитывая своим свирепым томлением, своей безумной тоской... ведь когда мы остаемся одни, здесь, наша страсть, похожа на одержимость...

Но, может быть, это все же преувеличение? И на самом деле — происходящее вполне естественно... Как бы там ни было — лучше об этом не думать...»

Сказав себе это, Магда снова легла рядом с Луишем и уснула.

\* \* \*

Время шло и сознание Луиша стало постепенно проясняться. Многочисленные детали соединялись в единое целое, и *все эти доказательства* привели к тому, что однажды Монфорт пришел к пугающей очевидности.

Его дочь... его дочь... именно ее он заключал в свои объятия, именно ее грудь он покрывал страстными поцелуями... именно ее губы... Это в ее тело, прекрасное, священное тело своей дочери, он впивался с диким, неудержимым вождением!..

Конечно, что было бы более естественным с его стороны, чем испытать прилив нежных отеческих чувств, когда он впервые увидел эту другую Леонор. Но нет, то, что он чувствовал, было совсем иным. Это было бесконечное томление, жадное, страстное желание увидеть прекрасное обнаженное тело этой девушки, проникнуть в него. Почему, как могло случиться,

что ни одну женщину он никогда не желал так страстно и неудержимо? Почему?.. Почему?.. Потому что только в ней ожили черты лица его умершей дочери! Еще одним доказательством тому было то, что душа Магды до сих пор была ему совершенно неизвестна. Ведь не душа, живущая в этом теле, делала его столь желанным для Луиша. Это тело, влекущее его, было желанно лишь только потому, что с невероятной точностью повторяло тело Леонор. И каким бы ужасным это ни казалось, такова была правда!

В отчаянии Луиш заламывал себе руки, гнев и злость доводили его до слез, но, словно нарочно для того, чтобы влить в его душу еще больше горечи, перед его мысленным взором возникали соблазнительные видения... Иногда он с восхищением вспоминал Леонор... у него вызывали восторг гибкость ее ловкого, сильного тела; ее длинные светлые косы, бездонная лазурь ее глаз, ее белоснежные зубы, губы, как будто созданные лишь для поцелуев: гордая, возвышенная красота черт ее лица... Ах! Как он ликовал, когда во время их совместных прогулок по улицам европейских столиц Луиш замечал, что многие мужчины останавливаются, с восхищением глядя на Леонор... Но теперь — только теперь — он понял, что это было не восхищение гордого отца, а тщеславие любовника. И действительно разве не возмутительно было бы для отца заметить на своей дочери нескромные взгляды каких-то незнакомцев... А вот любовник — ему бы это, пожалуй, даже могло польстить. «Для всех желанно это тело, каждый рисует в своем воображении его совершенные очертания... Но оно — мое, только мое! Оно принадлежит только мне!..»

В его воспаленном сознании начинали возникать постыдные, кошунственные воспоминания. Самым частым среди них был образ Леонор... Однажды вечером он испытал странное чувство, когда заметил, что под тонким крепдешинном ее блузки читаются очертания сосков.

Ах! — теперь он понимал — как хотелось ему тогда покрыть безумными поцелуями эту грудь... Это была она, это к ее груди он припадал жадными поцелуями, когда оставался в полнотной темноте с женщиной, с которой его связывало лишь ее невероятное сходство с Леонор. В этой женщине, теперь это стало несомненно, он хотел видеть воскресшей свою дочь!..

И тогда, темной парижской ночью, оставшись в номере, разве не увидел он в своем воображении рядом с чистейшим образом Леонор, очертания обнаженного, чувственного тела Жулии, ожидавшей его на ложе из розовых лепестков?.. И... как он целовал, запершись в комнате, белье умершей дочери... И что произошло потом в Фоли Бержер? Эта проститутка, с ног до головы открытая всем напоказ, напомнила ему о дочери... Поэтому Луиш предложил ей сесть рядом с ним, и потом в гнусном соитии овладел этим продажным телом!..

Низость! Какая низость! Он уже давно совершил этот инцест... и это происходило не раз с тех пор, как умерла Леонор... Что? С тех пор как умерла?.. А как же очертания сосков под блузкой? А еще... лунная ночь в саду? Та лунная ночь?.. Теперь он понимал... *теперь он понимал всё*. Тогда, лунной ночью, у пруда он увидел Карлуша и Леонор. Они держали друг друга за



руки... потом их губы соединились в поцелуе... И Луиш радовался, глядя на эту галантную сцену. Ему тогда казалось, что он радовался. Но когда он увидел это сближение губ, он помнил это очень ясно, все его тело пронзила дрожь. Ему пришлось сосредоточить все свои силы, чтобы не поддаться головокружению и не упасть на землю. От избытка радости, должно быть, подумал тогда Луиш. Но теперь он с ужасом осознал: это была не радость, нет; это была — ревность!..

Теперь сомнений уже не было: он совершил инцест еще тогда, при жизни Леонор. Он навсегда запятнал ее лилейно-непорочный образ своими омерзительными помыслами. Навсегда!..

Все эти безумные видения еще сильнее питали болезненное желание; каждую ночь Луиш все сильнее впивался лихорадочными поцелуями в обнаженное тело датчанки.

\* \* \*

Время от времени ясность возвращалась в сознание Монфорта, и он даже осознал свою одержимость. Смутные идеи и образы переплетались в его мозгу, и не что иное, как эти образы, открывали ему ужасающее понимание... Нет, он не совершил никакого преступления. Никогда, даже тени нечистых желаний не ощущал он рядом с дочерью. И те иступленные поцелуи, которыми он покрывал одежду Леонор, и та история с проституткой из Фоли Бержер, и воспоминание об очертаниях сосков, все это только теперь, после того, как он встретил Магду, приобрело то извращенное значение.

Но почему-то, влекомый какой-то болезненной силой, он продолжал думать, что совершил инцест, и все эти воспоминания служили тому подтверждением.

Кроме того, вспоминая о некоторых своих необычных мыслях, которые приходили ему на ум в связи с тем или иным событием, помогали Луишу объяснить все, что происходило в его сознании. Например, у него было определенное мнение о какой-нибудь книге или о каком-нибудь социальном феномене. И вдруг он почему-то начинал спрашивать себя: «А что я на самом деле думаю об этом?.. Если бы я думал иначе, то как именно?..» Между тем никаких оснований сомневаться в том, что он думал на самом деле — не было. Но какое-то странное влечение, похожее на «желание всё извратить», побуждало его воображать — не для того, чтобы убедить себя, но ради самого воображения — что его мысли по тому или иному поводу были совсем другими.

Луиш вспомнил, что еще в детстве была у него такая склонность: время от времени, сидя на парапете высокой веранды, он пытался представить, что бы он чувствовал, если бы его любимый белоснежный ангорский кот упал с высоты и разбился, обагрив кровью песок садовой дорожки. *Он испытывал при этом страшную боль, и поэтому ему хотелось, чтобы кот поскорее упал.*

Таким же по существу было его желание и теперь. Он встретил женщину, невероятно похожую на Леонор. Увидев ее, Луиш испытал очень сильные чувства. Ему тотчас же захотелось заполучить ее, чтобы образ дочери всегда был рядом. Поэтому он женился на ней.

Женившись, он, конечно, стал владеть ее телом. И все это было вполне нормально.

Однако в его мозгу, пораженном страшным ударом, вскоре началась какая-то лихорадочная работа. В душе Луиша возникло то самое желание извратить происходящее, которое некогда блестяще определил Эдгар По, и следствием этого желания стало то, что он все более убеждался в своих бесчестных и нечистых желаниях. Смущение в его сердце и смута в его уме росли с невероятной скоростью. Их питали новые факты, новые доказательства, подтверждавшие преступность желаний Монфорта, были ужасны — доказательства и факты столь же реальные, сколь отвратительными были фантазии, которые эти факты обличали.

Время от времени Монфорт со всей ясностью понимал ужасную трагедию своей души. Хотел бороться, бросался в бой, но всегда оставался побежденным. Каждый раз, когда он хотел набраться сил, вызволить себя, спастись, одна и та же мысль всегда останавливала его: «Если я не буду осознавать свое преступление, мое страдание будет еще сильнее. Только ужас этого святотатства может отвлечь меня от смертельной тоски».

И наваждение продолжалось.

Теперь Луишу стали являться отвратительные видения. Однажды, ночью, когда он тщетно пытался работать в своем кабинете, ему привиделись Жулия и Леонор. Рыжеволосая любовница и чистейшая белая лилия. Обе были обнажены, в безобразных любовных конвульсиях они метались по роскошному ковру, спле-

таясь в инфернальных объятьях, сливаясь в бесстыдных поцелуях. Затем Луиш увидел огромную череду вызывающе одетых танцовщиц, блондинок, рыжеволосых, шатенок. Их прекрасные лица были как бы затенены, а потом, вдруг — каждая из них оказалась точной копией его дочери. И, наконец, перед ним возникла Леонор. Она была пьяна. С отвратительным развратным смехом она гладила ладонями свою обнаженную грудь, поднимала юбку, обнажая лоно, обвивалась вокруг шеи Луиша, жадно целовала его влажными от вожделения губами... Совершенно обезумев, Монфорт пытался уклониться от этих ужасных объятий и поцелуев. Глаза его едва не выступили из орбит, волосы встали дыбом, тело сотрясали страшные эпилептические судороги. Но какая-то дьявольская сила сковала все его существо. Он упал и не мог подняться... и на губах, стиснутых из всех сил — о ужас, он чувствовал, чувствовал с наслаждением — горячие поцелуи!.. Он сопротивлялся, пока были силы, но, в конце концов, побежденный, уступил желанию — сжимать в объятьях это тело, проникнуть в него, впиться в него жадным поцелуем...

Когда развратная галлюцинация рассеялась, изнуренный, покрытый холодным потом, Монфорт увидел, что все это время он жадно целовал белый лист бумаги, на котором так и не сумел написать ни одной строки...

Это было безумие... Безумие!..

## IX

В последнем проблеске ясного сознания Луиш стремился найти спасение. Может быть, это было еще возможно...

Правда была очевидной: он никогда не желал своей дочери, предметом его желаний была женщина, которая по странному стечению обстоятельств отличалась удивительным сходством с умершей дочерью. Если он сумеет убедительно доказать себе это, наваждение рассеется.

И — странная деталь — каждый раз, даже в самом смутном из своих состояний Луиш стремился отыскать это фатальное доказательство. И нашел его довольно быстро. По существу он был совершенно незнаком со своей женой. Наверное, в душевном ее устройстве не было ничего общего с душой его дочери. Два в точности повторяющих друг друга лица, пожалуй, найти все-таки возможно, но чтобы при этом и души были

столь же похожи — разумеется, нет. С помощью такого умозаключения Монфорт пытался убедить себя, что женщина, которую он сжимал в своих объятьях, не имела ничего общего с душой его дочери, что это был совершенно другой человек. А если нет сходства между душами, то чего же тогда стоит сходство черт лица? Ничего. Решение, казалось, было найдено. И Луиш решил им воспользоваться.

Но в скором времени он утратил твердость духа. Это лекарство причиняло ему едва ли не больше боли, чем сама болезнь. И действительно, зачем же он женился на датчанке? Затем, чтобы она всегда была рядом с ним, чтобы она пробуждала воспоминания о Леонор, потому что только эти воспоминания утешали его боль. И если теперь он убедит себя в том, что настоящего сходства между Леонор и Магдой на самом деле нет, а именно в этом он и видел избавление от кошмара, это положит конец его воспоминаниям, боль утраты снова станет нестерпимой. К тому же даже после того, как Луиш осознал, что Магда и Леонор в действительности не похожи друг на друга, он не перестал испытывать к своей жене то же болезненное влечение. Это было еще одним свидетельством того, что он желал только тела Магды. Если он будет постоянно думать об этом, его страдание не утихнет. Даже напротив — ведь вместо того, чтобы находить утешение в памяти об утраченной дочери — он будет — какая низость! — находить утешение в обладании телом какой-то женщины! Поэтому, как он теперь понимал, Луиш не раз испытывал смутное и на первый взгляд необъяснимое предчувствие, что если у него отнять это преступление, он будет

страдать еще больше, чем страдает, совершая кощунство. Его измученной душе казалось, что обладание телом чужой женщины — еще большее кощунство, чем обладание собственной дочерью — *ведь это, в конце концов, была его дочь.*

«Итак, — заключил Монфорт, утратив последние силы и волю, — правда, ужасная правда в том, что если во сне мне видится Леонор, то и когда я просыпаюсь, — передо мной ее прекрасное лицо. Да, это то же лицо, и я хочу целовать его. И целую... Хотя и знаю, что поцелуи эти будут принадлежать другой женщине. От этих поцелуев все мое тело приходит в волнение. *И я целую это лицо только потому, что это лицо моей дочери.* И эти поцелуи, именно они, пробуждают в моем теле влечение. Это инцест! Инцест!..»

Теперь он навсегда запятнал светлую память об этой прекрасной небесной лилии.

А наваждения с каждой ночью становились все отвратительнее, и каждую ночь он все более яростно и жестоко овладевал обнаженным телом чужой женщины...

\* \* \*

Следуя привычному распорядку, когда наступил июль, Монфорт и его жена переехали в загородное имение. В этом году их сопровождали доктор Норонья, Карлуш, Габриэла и ее муж. Дружба между семьями никогда не прерывалась, а в последнее время Магда и Габриэла стали неразлучными подругами.

Жизнь в этом прекрасном оазисе была поистине сладостной. Утренний променад по садовым дорож-

кам, полуденный отдых в тени могучих деревьев, вечернее чтение на уютной веранде, ночные прогулки в лунном свете...

После свадьбы Габриэла завела много новых знакомств. Каждое воскресенье в имение съезжалась веселая толпа шумной молодежи. Магде и Габриэле, обе они стали типичными *светскими* барышнями, очень нравилось проводить время в этом кругу, главные атрибуты которого — мелочные ничтожные интрижки и глупый флирт. Они принимали участие во всех играх и развлечениях, бегали, прыгали, пили шампанское со льдом, танцевали едва ли не обнаженные на открытом воздухе.

Доктор Норонья не одобрял все эти излишества. Что касается Монфорта, увидев его в шумном кружке молодых людей, с улыбкой на губах, с горящими глазами, вы, конечно, сказали бы — «счастливый человек!» Так думал и его друг, который, даже если и не считал Монфорта счастливым, полагал, что он исцелен от своего страшного недуга и теперь находится вне опасности...

Однако это была лишь видимость. Как нередко случается с наиболее опасными психопатами, Монфорт казался обычным здоровым человеком, в то время как развязка этой печальной драмы становилась все ближе.

Каждую ночь он сжимал в хищных объятьях обнаженное тело Магды, каждую ночь он *покрывал грязной тенью светлую память Леонор*, и теперь он уже не мог сдерживать себя, крепко стиснув зубы. Теперь его дикая страсть вырывалась наружу криком, безумными словами о самых неистовых его желаниях.



Монфорт был омерзителен самому себе... Он и пугал себя и был противен себе одновременно, так, что и тело, которое он ласкал, влекло его и в то же время внушало ему отвращение. Он хотел бежать от него, разом оборвать это влечение. Невозможно! И вот однажды ночью — о, это была ужасная ночь! — в его сознании мелькнула страшная мысль — уничтожить это тело! Да, именно в этом теле заключалось его наваждение, и если Монфорт избавится от него, он освободится от ужасного призрака. Это тело запятнало светлую тень его дочери. Значит, ему не может быть пощады... Да, в этом его спасение! Только в этом!.. Только так он может вернуть былую чистоту опороченному призраку Леонор, только так он разорвет путы своего отвратительного преступления. Он мог бы поступить и иначе: проникнуть в душу Магды, убедиться в том, что она и Леонор не схожи меж собой. *Но это означало бы для Луиша, что он нашел себе утешение в обладании телом женщины, — а эта мысль внушала ему ужас, несравнимый ни с каким другим.* Поэтому оставалось только одно — уничтожить это тело. Убить ее, да, убить! *Убить страшный призрак, живущий в этом теле.*

.....

И это было так просто... Пока она спит, сомкнуть пальцы на ее белоснежной шее... и давить, долго... долго и нежно... медленно... пока не остановится ее сердце... И тогда перед его взором тень Леонор предстанет во всей своей сияющей чистоте. Это тело — его преступление. И было бы трусостью — не уничтожить его.

Так в душе Монфорта началось новое наваждение. Уже не раз в ночной темноте он был близок к тому, чтобы осуществить свой замысел. Но каждый раз в последний момент проблеск ясного сознания останавливал Луиша.

.....

Прошло еще несколько дней. И вот наступила ночь, когда Монфорт уже не сомневался: на этот раз он исполнит задуманное. Дикое ликование охватило всю его душу. Теперь он победит, призрак будет повержен!

Ночь была прекрасна, воздух напоен ясным лунным светом. После ужина в большой гостиной остались Монфорт, доктор Норонья и муж Габриэлы. Они играли в вист. Дамы в сопровождении Карлуша вышли в сад, чтобы насладиться волшебной летней ночью.

Партия в вист закончилась. Доктор решил отдохнуть в удобном кресле, его зять погрузился в чтение медицинского журнала; Монфорт в каком-то странном нервном напряжении вышел в сад, не сказав никому ни слова...

Он начал бесцельно бродить по саду... в его воображении возникали тысячи образов и видений... Огромные ножи, окровавленные руки, лихорадочные движения... Какие-то люди танцевали сарабанду, и на шее у каждого из танцующих был зловещий красный след — «колье» от удушения. Еще ему виделось женское лоно, источающее кровь и гной, вокруг которого выются зеленоватые мухи... Дрожащими руками Монфорт провел по лицу, точно пытаясь смыть с себя этот кошмар, и затем побежал, побежал, как безумный, сам не зная — куда. И оказался в розарии. Запах цветов рассеял жуткие видения, сознание вернулось к Луишу. Он решил повер-

нуть и пойти по тропинке, которая вела к мельнице, но вдруг мгновенно остановился... Призраки вернулись! Неподалеку, у большого пруда, он снова увидел... Карлуша и... не может быть сомнений! — Карлуша и Леонор... Они держались за руки, нежно глядя друг другу в глаза. Скромная Габриэла стояла немного поодаль, делая вид, что рассматривает увядшие лилии... И вот, в осветившем их лунном свете, Монфорт увидел, — все повторялось в точности — как уста Леонор и Карлуша приблизились, соединились, слились в поцелуе...

.....

Облако сокрыло лунный свет. Видение, *настоящее видение*, исчезло... Ах! Никогда он не сумеет победить эти призраки! Никогда! Никогда!.. *Настоящим призраком, единственным призраком, была его боль...*

Вокруг стояла непроницаемая тишина...

.....

Решительным и твердым шагом Луиш пошел в сторону мельничного колодца. Оказавшись там, он поднял тяжелую дубовую крышку... Облака в это время расступились и лунный свет заиграл на поверхности воды. Тихой, молчаливой, глубокой воды колодца...

.....

.....

И вдруг резкий пронзительный шум забился и заметался по стенкам колодца. А потом — снова тишина...

.....

.....

Гениальный архитектор, великий строитель башен расставил много ярусов, один на другой, так что его строение едва не достигало небес. Он стремился к самым высоким горным вершинам... И всегда шел по склонам жизни с гордо поднятой головой триумфатора. С высоты своей башни, с высокого сияющего стального купола, он оглядывал просторы, он хотел видеть свою победу. И видел Славу. Но внезапно послышались взмахи черных крыл. И в тот же миг его окружили ослепительно-светоносные облака. Он хотел посмотреть на землю, и — одинокий небожитель — не увидел землю, хотел посмотреть на небо, и не увидел небо... Он посмотрел снова. Но вокруг были только черные крылья. Обезумев, он хотел бежать... Устремился вперед... И сорвался в бездну... Вместо света, непроницаемый мрак, вместо небесных высот, — пропасть. Но этот мрак, — есть отдохновение изнуренных. Великий художник обрел покой.

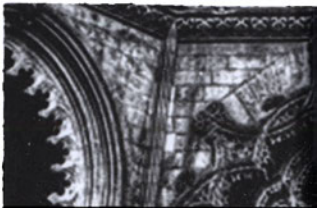
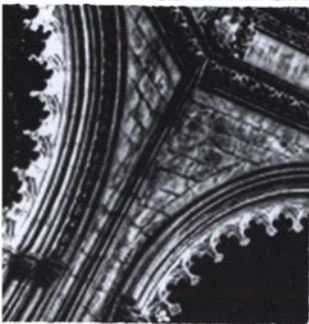
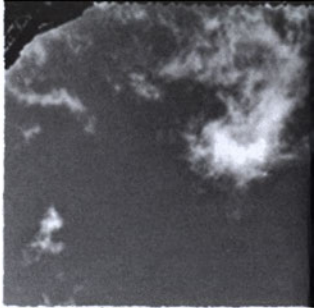
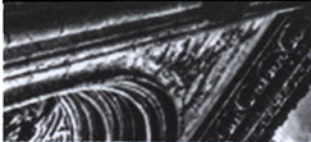
.....  
 .....

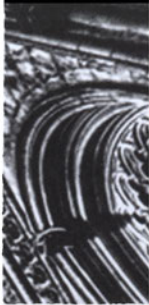
\* \* \*

Свадьба Карлуша де Нороньи и Леонор де Монфорт не состоялась. Дочь Луиша де Монфорта скончалась... Через два года Карлуш де Норонья вступил в брак с Магдой Юссинг, вдовой знаменитого драматурга...

*Лиссабон, апрель-июль 1912.*

Перевод Антона Чернова







# Небо в огне

ВОСЕМЬ НОВЕЛЛ

«Qu'importe que ce soit une maladie, une tension anormale, si le résultat même, tel que, revenu à la santé, je me le rappelle et l'analyse, renferme au plus haut degré l'harmonie et la beauté...»

Th. DOSTOIEVSKI — L'Idiot<sup>1</sup>





Посвящается Фернанду Пессоа<sup>1</sup>

Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie\*

Gérard de Nerval<sup>2</sup>

# I

ДЕКАБРЬ 1905 г.

— Тайна...

О! с самого детства это наваждение тревожит меня — его чары кружат мне голову...

Меня пугало то долгое время между укладыванием в кровать и засыпанием в своей просторной спальне при тусклом подрагивающем свете масляной лампы, которую ставили на трюмо.

Я боялся, что тени внезапно оживут, развернутся — и чудовища, бесформенные чудовища, корчась и гримасничая, прибегут и схватят меня...

Однако, только по тебе — минувшее время детских страхов — я по-настоящему грущу, когда вспоминаю.

\* Я аквитанский принц, чья башня — прах под терном...  
(Перевод И. Кузнецовой).

Потому что тогда, хоть я и страдал, мой страх уже был разноцветным и радужным было предвкушение.

Быстро пресытившись обыкновенными, не меняющимися игрушками, сколько еще долгих дневных часов я томился ожиданием ночи, чтобы она пробудила мои серебряные страхи...

Большие комнаты, куда я никогда раньше не заходил в темноте, но которые хорошо знал, так как пробегал там при свете — сейчас, лежа в кровати, в тишине и темноте, я создавал их воображением заново: они были пугающими и волшебными.

Я думал: «Пройти бы по ним, как герой, в одиночку, познавая на ощупь, что прячется в них!...»

И мне приходило в голову: а что если подняться, ловко вылезти из своей белой кровати с высокими бортиками и босиком, чтобы не услышали служанки, отправиться в эти комнаты...

Но страх был сильнее моего воодушевления...

Я прятался под простынями с головой, даже лежал так, пока не забывался глубоким сном...

— Эти большие комнаты в темноте...

Даже сегодня я не могу зайти туда спокойно... И каждый раз стараюсь не задерживаться там...

Мой разум слишком уверен, что там живет что-то вроде призрака — таинственные дрожания, бестелесные признаки разлитого вокруг колдовства... И всякий раз мне страшно... Вспоминаются привидения... холодные треугольники... обнаженные шпаги... огненные языки небывалых цветов...

Меня охватывает дрожь. Я опасаюсь и отступаю...

.....  
.....

Несравненное великолепие тайны!..

Да! С самого детства я догадывался, что единственный способ сделать жизнь сверкающей и красивой, по-настоящему красивой — в замках из слоновой кости и золота — это окутать ее тайной... Но как, Боже мой, как?..

Двигаясь наугад, погружаясь во тьму, по-имперски жадно собирая загадку за загадкой... Но все напрасно... до сих пор я все ищу секреты, чтобы прилепить к ним свое существование — обессмертить его Тенью... Вокруг меня все безнадежно ясно, неисправимо реально... Только мое воображение еще силится будить тайны — но тайны эти — из дыма, сочиненные — они обрываются в пустоту... И на меня всегда направлен свет — грубый, материальный свет...

Такое уже было в детстве, в самом деле, было такое. Только в воображении я пугался, только с ним находил сладостное и беспокойное очарование в подъемных мостах, в подземельях (когда мне рассказывали о старинном замке) и во вратах, в куполах, в высоких арочных сводах — иногда, как в бреду, являлись мне смутные воспоминания о черных акведуках, которых я, разумеется, никогда не видел.

Но сверх всего этого, был в нашем усадебном доме загадочный чердак, на всем протяжении моего детства оставшийся для меня центром всего таинственного мира.

Этот чердак, — я только один раз спросил о нем вскользь — был ненастоящим. Сегодня я понимаю, что это был всего лишь укромный угол, образовавшийся между крышей и перекрытием дома — из-за того, что один корпус здания был выше другого. Думаю, слуги

изредка приходили его чистить. Возможно, разрешали и мне войти, но на это я никогда не осмеливался — из страха. Сейчас я понимаю, что в действительности я опасался осознать свой страх и, тем самым, потерять его очарование.

Ах! но иногда, когда я поднимался до самой двери на чердак и прислушивался... Сквозь щели вихрем влетал ветер; с разных сторон скрипели стропила — и все это превращалось в моем воображении в хлопанье черных крыльев, волочение цепей... или хруст костей... кто знает... Однажды моей смелости хватило на то, чтобы приоткрыть дверь... Там, внутри — густой полумрак, но луч вечернего солнца, проникнув сквозь щель, высветил волшебными колыханиями столб разноцветной пыли... Ослепленный этим волшебством, я тут же в испуге закрыл дверь и убежал...

С того дня по ночам, прежде чем заснуть, я подолгу думал об этом чердаке, который впервые предлагал мне веселый, неизвестный, чарующий мир. И я создавал в нем целую жизнь... Я придумывал ему — да! — его собственные леса, реки и мосты, горы и океаны, и деревни с их жителями. Леса я представлял из ваты, разноцветные, поблескивающие, словно игрушки новогодней елки; горы пусть будут из прозрачного, как вода, хрусталя; реки — из самоцветов, а над ними, в лунных сводах, огромные звездные мосты. Население моей страны я представлял бесформенными карликами, упитанными, забавными, с фиолетовыми глазами, а фауна там состояла из причудливых, невозможных животных — птицы без головы, кролики с крыльями, рыбы с гривой, бабочки, оказавшиеся цветами, кото-

рые росли из земли... Правил всем этим царством (не знаю, почему, но я точно верил в это) огромный разноцветный муравей, и золотые крысы с серебряными крыльями были его верными придворными. А народ состоял из забавных лилипутов.

В общем, весь этот мир моего детского воображения быстро разрастался в глубине чердака в таинственном единстве — неясном, *рассеянном*, переплетенном так, что невозможно было распутать: там было море, но одновременно и город; королевские дворцы были в то же самое время и лесами. И самое удивительное: в этом мире все было пестрым и одновременно все было серым! Да, я видел и деревья с ветвями из ваты, одни — белые, другие — сиреневые или синие, алые или оранжевые; и фиолетовые глаза карликов, и золотых крыс-вассалов; и короля — огромного разноцветного муравья; и радужные драгоценные реки; и хрустальные темно-синие горы. И хотя все это представлялось мне в бесконечном разнообразии цветов, я не мог не видеть: разнообразие это было единообразно серым!..

Ах! воображение ребенка... где найти более прекрасное, более беспокойное, способное еще лучше представить невозможное?.. По крайней мере, оно — наилучшее средство преобразить страх, укрыть очевидное. Ведь в эту беспокойную пору жизни есть только воображение, легкое, доверчивое воображение. Потом приходит рассуждение, ясность, *неверие* — и все ускользает... Нам остается только уверенность — неисцелимое разочарование...

Вот как я жил в самый Заоблачный час, в самую трепетную пору моей жизни — в свои восемь лет.

Мы жили тогда на нашей ферме.

Никогда прежде я не осмеливался гулять ночью в одиночку по песчаным дорожкам, окаймленным кустами, таким приятным и сельским, хотя днем я там смело играл и бегал до изнеможения. Из большого двора рядом с кухней я рассматривал их и мечтал раскрыть их тайну с помощью волшебного путешествия — ночного! Потому что, конечно, ночью моя усадьба должна была становиться волшебной... Там должны были скакать гномы и порхать эльфы; в больших озерах при луне — плескаться феи, а на изразцовых скамьях — ах, наверняка! — таинственно сидеть принцы и прекрасные королевы... А кроме того, хоть это совсем страшно, — там, внизу, под вековым ореховым деревом был колодец, на кромке которого вполне могли появляться колдуны — они бы вылезали голые... нелюдимые...

Уставившись перед собой невидящим взглядом, да, я представлял все это — но, содрогаясь от страха, никогда не осмеливаясь сделать несколько шагов от кухни, где горел свет и болтали слуги... Я лишь мечтал, постоянно изучая темноту, в полусне, с альбомом эстампов, забытым на коленях... и снова вглядывался в апельсиновые деревья, видневшиеся неподалеку в образовавшейся полутени, где мне силой воображения удавалось различить поблескивавшие фрукты — чудесным образом тотчас превращавшиеся в золотые плоды колдовства...

Несколько раз вместе с дворецким я по-настоящему проходил ночью по этим дорожкам. Но в этом, конечно, не было никакого смысла: любой сопровождающий разгонял все колдовство. Только моим глазам

одинокого ребенка — это я точно знал — открывался этот волшебный мир...

Тщетно продолжал я грезить, сгорая от нетерпеливого желания, всегда скованного страхом, — шагнуть вперед и скрыться во тьме.

Так продолжалось до тех пор, пока однажды ночью — не знаю, как это произошло — внезапно я решился: зажмурил глаза и пустился бежать...

Лишь через несколько минут я открыл глаза, что бы убедиться, что уже невозможно повернуть назад... И еще долго, дрожа от страха, скрипя зубами от ощущения тайны, я блуждал во тьме...

Боже мой, не могу передать всю красоту, все волшебство, что я тогда пережил!... Сам страх окрылял меня — он и убивал, и улаждал одновременно... Столько волшебства!..

Ночью, в темноте, хорошо знакомые места — фруктовые деревья, виноградники, террасы, сады — вдалеке представляли пугающими, незнакомыми... Вдоль дорожек возникали чудища из зеленого тумана, в которые превращался кустарник, — чудища эти были озорные, неопасные, нарочито гримасничающие, как марионетки... и еще были поблескивающие белым опоры виноградников, похожие на вытянувшихся солдат: солдаты эти были в киверах, некоторые курили трубки, нафантазированные из огоньков светлячков, летавших поблизости...

Вся тень, вся эта дрожащая мгла вокруг меня неизбежно изменяла и преображала ночной пейзаж...

Шелестели таинственно деревья, — может быть, шабаш ведьм в их тени? — так скрипуч и сух в тот момент был треск ветвей на ветру...



(Ах! но этот ветер, ночью, сквозь камыши, я не ощущал его сходства с дневным ветром... Сила его порывов была совсем другой. В своем загадочном прерывистом завывании он казался мне словно бы *призраком ветра* — ужасающим призраком, *каркающим* мертвым эхом...)

Водоемы отражали только черноту, потому что ночь была темной, без луны и звезд... говорят, что пруды из дегтя отталкивают, но свежесть, исходившая от них, разгоняла эти опасения: ведь если хорошо приглядеться, то на самом деле, над водой тысячи затейливых, неопределенных форм, вылепленных из полупрозрачного тумана, синеватого, почти невидимого, источали волшебное многообразие и тайну...

И я все время бежал...

Волшебство роз в саду было более мягким. Тем не менее, в центре сада розмарин с Севера, густолиственный, округлый, превращался в китайского бонзу, грузного, высокомерно скрестившего руки и ноги... Лилии — колокольца башни из слоновой кости...

.....

... Потом я склонился над колодцем... С влажным шумом длинные неведомые черные крылья коснулись моего лица... И тогда от страха перехватило дыхание...

Напоследок я еще успел заметить, как огромный таинственный силуэт, кажется, золотисто-рыжий, издали надвигается на меня...

Не знаю, что произошло потом... Я снова сидел на скамейке под аркой рядом с кухней, с тем же раскрытым альбомом эстампов на коленях... Мою руку сладко

облизывал мой любимый товарищ — огромный желтый сенбернар дворецкого, которого я запрягал в свою повозку...

.....  
.....

Да! Да! И по сию пору — это были самые сильные моменты в моей жизни. Я так и не сумел, даже в самом глубоком воображении, укрыться в Тени, войти в Неведомое... Ах! Но после той ночи — как разбушевались мои страхи!.. Раскрасневшись, я часто просыпался весь в слезах, бился в приступах истерики.

Тогда же к этим сверкающим воспоминаниям впервые присоединилась новая греза.

Как-то утром, проснувшись, я отчетливо помнил, что той ночью какая-то парчовая королева склонилась надо мной, раскрыла свои шкатулки с драгоценностями, расплела косы, длинные, золотистые, чтобы я запустил в них, остужая, свои горячечные пальцы...

Принцесса никак не могла быть в моей комнате, даже ночью — а я не выходил из комнаты... Однако я разговаривал с ней, отчетливо ее видел... Откуда? Откуда?.. Я даже почти запомнил ее черты... ее перламутровые губы... ее движения-цветы... Со всех сторон — пелена тумана...

В итоге, сгорая от стыда, я все рассказал горничным.

Но горничные только рассеянно ответили:

— А-а... Это был сон...

Сон...

Весь тот день — никогда не забуду — я провел, воскрешая прекрасную тайну: волшебная королева

и ее кольца, бусы, блеск шуршащего платья, ее непослушные пряди... может быть, я влюбился в нее — но, главное, я испытывал гордость оттого, что впервые увидел сон: *смог увидеть сон*, так как я не мог поверить, чтобы со всеми происходило то же самое, невероятная радость...

.....

И еще: я никогда не обманывал себя... Поэтому вспоминаю свое детство с приятным томлением...

Хотя все мое Творчество сосредоточено в Тайне — оно ограничено... мне никогда не подняться в Запредельное. Должно быть, в своих книгах я оставил тень — может быть, даже возвышенную, но в то же время, искусственную — неподвижную, мертвую тень, которая меня не трогает; хоть я ее и создаю, но она меня не обволакивает: она изящна, но я отбрасываю эту тень — и только.

И каждую ночь, все более опечаленный и все более покорный, я возвращаюсь к детским воспоминаниям — безмолвным: к моим чудесным ночным прогулкам; к моему волшебному чердаку... и долгие часы так же, как тогда в своей кровати, прикрыв глаза, до рассвета созерцаю через прозрачную пелену век фантазийный калейдоскоп — круги, банты, стрелы, звезды, цветные полумесяцы, которые вырастают в красную полутьму, придают мерцание ее круговращению...

Как далека вся эта красота! Как я вырос!.. Тогда я боялся церковных колоколов в тени... если у дворца были высокие башни, то я верил в них, только представляя за их стенами обнаженных принцесс, вкушающих кислые фрукты... и боялся ворсистых ковров...

а перед тяжелыми порттьерами из теплого бархата меня пробирал озноб ...

В итоге, я до сих пор не утратил страха перед тем, что может быть там, за порттьерой; и так же, как бы издавека, меня все еще беспокоят персидские ковры, гобеленовые ткани, огромные потухшие люстры, мертвые зеркала в старинных замках...

Но все напрасно, и так неясно...

.....

О! какая львиная страсть — низвергнуться в Тень и жить там! — жить там!..

## II

январь 1906 г.

Нарочитая слабость... В моем влечении к Тайне пульсирует, бьется что-то глубоко сексуальное... Если я столько о ней грежу, созидаю ее в утраченной надежде — все это в тонкой, текучей и хрупкой чувственности: в судорогах.

Да; словно размытые водой воспоминания, огонь и обнаженные тела, — ощущения Тайны, реальные или воображаемые, заставляли меня содрогаться в ускользающих восторгах, золотых извращениях...

Мне хорошо известно, что... Дело в том, что все, что меня впечатляет, становится эротичным, — и только через эротику я это воспринимаю, это желаю и это

переживаю... Вот так я всегда возбужденно сводил парами: роскошные обнаженные тела; суетливые города Европы; ароматы и сверкающие театры, усталые ковры из красного бархата; водные пейзажи при луне; шумные кафе и ночные рестораны; дальние поездки; современный шепот фабрик, больших мастерских; безумие и прохладительные напитки; отдельные цветы, например, фиалки и ромашки; некоторые фрукты — ананасы... и клубнику, всю обнаженную в своей сладости, причудливо заостренную.

.....  
 .....

Оглядываюсь назад в часы тишины и вызываю всех персонажей своей жизни... редкие случайные тела, которыми я обладал, *хотя их не знал...* и даже просто тех людей, незнакомых, которые лишь на мгновение пересеклись с моим бытием...

— Воспоминание об этих незнакомцах — самое прекрасное — и самое таинственное, не так ли?..

Например, как-то вечером в одном парижском ресторане за мой столик села девушка и спросила у меня французское название десерта, который я ел... Мы проговорили еще несколько минут. Она оказалась русской, из Москвы... А я — из далекой страны на западе, затерявшейся в мореплаваниях... Мы распрощались, так и не узнав имена друг друга... Больше мы не виделись.

*Но как бы там ни было, наши жизни, такие далекие, такие разные — пересеклись на миг, соединились вместе на мгновение... кто знает, не для исполнения ли одной бесспорной судьбы...*

Ах! вспоминая эти мимолетные эпизоды, я не могу не испытывать гордость — потому что мне удалось обнаружить в них их глубинное значение, волнующее, сокрытое тенью...

Вот так я собираюсь анализировать все свои объяснения, все свои случайные встречи: всех тех, с кем хоть однажды, при каких-либо обстоятельствах, я перекинулся словом, — правда-правда, пусть даже это прохожие, которые только спросили у меня, как пройти на какую-то улицу... Я вспоминаю их и ощущаю красоту — красоту, вросшую в хрупкую мысль о страхе, который пробуждает мои чувства... Но кто они? кто, в итоге, все эти чужие, что вторгаются в мою жизнь, говорят со мной?..

Боже мой, Боже мой, какая тень!..

По краю каких опасностей мне удалось проскользнуть?.. а вдруг я говорил в те минуты с отчаянными бандитами, замышляющими этой ночью преступление?.. или с несчастными, быть может, в роковой момент их потерянной жизни?..

И в памяти всплывают лица тех людей, которых я едва заметил вдалеке, но каким-то необъяснимым образом уже не смог забыть. Вот рыжеволосая женщина на мосту Риальто... а вот одинокий бледный мужчина, вечером, в кафе Монико, с красным шарфом...

— Взрастайте, взрастайте вокруг меня из миражей... проскользните в невероятные теории, вы, статисты моей жизни!.. Вы заставляете меня дрожать, скрежетать зубами от страха и колдовства, до тех пор, пока я усилием воли не подниму себя — чтобы рассеять вас!..

Неужели эти знаменательные часы могли быть временем моего страха?..

Но тщетно... тщетно... Образы не оживут...

.....  
.....

И, тем не менее, я никогда не умел хранить секреты...

Действительно, если друг доверял мне свои секреты — моя гордость вырастала столь высоко, (как же: я знаю то, чего не знают другие), что я тут же выбалтывал их кому-нибудь: я покончу с тайной, которую мне доверили, показав тем самым, в бесполезной гордыне, что я значительнее ее хозяина, потому что могу его тайну разрушить...

В конце концов, я всегда так поступаю, — когда на меня нахлынет нежность о каком-нибудь хрупком создании, слабом и тонком — все мое желание — это одолжить немного загадки этой маленькой банальной жизни... Вот так, тщетно, какой-нибудь бедной девушке, которой у меня никогда не было, я мысленно посылал письма, цветы, телеграммы — или свои книги, если это случалось за границей...

# III

МАРТ 1906 г.

Так же колко задевает меня будущее, но оно есть одна из величайших всеобщих загадок.

Ночами напролет — беспокойными, полосатыми, многогранными — я распылял и терял себя, выдумывал

вая на завтра эпизоды своей жизни: будущих персонажей моего существования... будущих героев моих еще не задуманных романов...

И я помню, что все это уже существовало — *потому что непременно должно было существовать*. Поэтому я обманываюсь, в воображении...

Невозможно! Невозможно!

Мне остается только ждать...

.....

О! Как бы я хотел обладать, *сегодня*, моими завтрашними любовницами — не порожденными воображением, с придуманными лицами и формами: прозрачными, невесомыми... сотканными из неведомого туманными штрихами, окруженными Ореолом...

.....  
.....

— Я смогу, однажды смогу извлечь, — пурпурную, мягкую сердцевину Тайны!..

## IV

май 1906 г.

— Движение... путешествия...

Еще один соблазн пьянящей тайны... Мне всегда претило оставаться здесь, в этой заурядной стране, в этом западном городе на юге Европы — тогда как за



пять дней (плюс несколько часов) я могу добраться на севере до столицы мрачной и глубокой Империи моей тягостной меланхолии...

Поскитавшись некоторое время без дела по другим странам, я почти забываю, кто я — не могу припомнить ни атмосферы, ни обстановки... столь малочисленны персонажи, окружавшие меня... Я сомневаюсь, я ли это — и убеждаюсь, что это не я... Я никогда не верил, что мы цельны: окружающая нас среда — это одновременно часть нас самих. К тому же, мы должны меняться душой (и даже, может быть, телом, кто знает?) согласно тем странам, в которых пребываем.

Поэтому я всегда очень боюсь, когда уважаемый мною друг покидает меня; со страхом жду его возвращения — и, увидев его на вокзале после длительной разлуки (в несколько месяцев), я теряюсь, не решаюсь даже обратиться к нему на *ты*, как раньше...

.....

Путешествую, путешествую бесцельно... Так я себя изменяю, по крайней мере в воображении — окропляю себя брызгами Тайны...

И в респектабельных кафе Европы мой взгляд избирательно останавливается на роскошной прекрасной женщине, скушающей наедине со своим бокалом, несомненно в ожидании — к вечеру — своего любовника... Смотрю на нее... Неосознанно начинаю сочинять ее жизнь... Приукрашиваю, романтизирую и драматизирую, исходя из выражения ее лица — и блеска глаз, изгиба накрашенных губ, цвета волос... Чья-нибудь жизнь для меня всегда была эскизом моих лите-

ратурных сюжетов... я нахожу нужные развязки любой красоте — детали, которые могут быть прожиты определенными глазами, определенными руками, определенными улыбками...

Следует завязка... Наброском всплывает все ее прошлое... до тех пор, пока, наконец, приходит любовник... или не приходит, так как, быть может, она никого и не ждала...

Но незнакомка поднимается, уходит... Я провожаю ее взглядом до тех пор, пока она не исчезнет... и я так счастлив... так счастлив... так завистливо счастлив... Более счастливый, чем был бы ее любовник — *тот, который так и не пришел* — потому что так я бы узнал ее до конца: мне не пришлось бы воссоздавать целую жизнь под тенью этих глаз, жизнь, подогнанную к этим движениям...

Выстроенный триумф! Без ее ведома, без разрешения, я вошел, по-настоящему вошел в ее жизнь — потому что я включил Ее в мой внутренний мир, нежно воображая ее...

Такие флиртности — самые сокровенные наслаждения моей души. Вот почему я путешествую отвлеченно, теряю себя в поисках... Более того, хочу однажды золотой ночью оказаться в каком-нибудь аристократическом районе не знаю какой столицы, далеко за полночь, и чтобы там перед особняком стоял, ожидая, сверкающий дорогой автомобиль. Вот я остановился... Спустя мгновение распахнулись ворота с гербом... В экипаж сели высокий, чрезвычайно элегантный мужчина... блистательная женщина в шелках и соболях...

... И там, в одиночестве, на ветру, я был бы победителем, — сильнее, чем эти двое в экипаже, сейчас,

наверное, соединившись устами... потому что я смог их представить... а они, ах, обреченно знали, кто они...

.....

Большие города... Триумф — воздвигать на центральных площадях символические колонны и с их статуарной высоты бросать взгляд на все строения... Одержимый взгляд мечется по улицам, проспектам, паркам... уносит нас по бесконечному морю крыш... Это — муравейник зданий, которые с высоты появляются в панораме, переплетаются, пересекаются, втекают одно в другое — нерасплетаемо, блестя...

Раз за разом водоворот увеличивает наше смятение... Мы быстро теряем ощущение пространства... головокружение нас уносит... и так, пока перед нами не изменится весь горизонт — и скроется, занятый миражем другого обманчивого города...

Мы теряем устойчивость... в просветленных глазах подрагивают видения... мы трепещем, чтобы воспарить...

... А там, внизу проходит жизнь, реальная жизнь — тем временем!..

**V**

январь 1907 г.

В своем страстном желании тайны я стараюсь, по крайней мере, чтобы мои чувства трепетали разнообразно: свободно для других направлений, содрога-

ний — давая мне тем самым, отблеском, беспокойную иллюзию непознанного.

Вот так иногда по вечерам, внезапно, в каких-то непонятных цветах, мне удастся почувствовать — пусть и искусственно, но произвольно — скорбную печаль по какой-нибудь умершей подруге, милой и бледной, которой я никогда не знал... И эта благодатная тень тогда балует меня сомнением... раскрашивая меня во все цвета радуги...

Иной раз меня охватывает чувство «конца» — окончания некоего отрезка жизни... начала другого, с новыми героями, новыми привычками... А вокруг меня все по-прежнему — в тех же ракурсах!

Одновременно есть факты, которые вызывают во мне обратные чувства. Так, однажды ночью в одном заурядном театре Лиссабона меня охватила огромная печаль, *разъедающая грусть*, при взгляде на супружескую пару старых пьяниц — развеселый дуэт известного журнала<sup>3</sup>. Да, это была наивысшая горечь — едкая, покаянная — *грусть о прошедшем*... и сострадание... ах! волнующее и бесполезное сострадание, вечно скорбящее, когда гротескные персонажи возникают, распевая гнусные вирши и разнузданно дергаясь под скрежет музыки... Мне вспомнились, неотвратимо, конец жизни, трагический приход карнавала... И пока вся публика гоготала и орала «бис», мне хотелось плакать — тайно, *по себе*...

В другие дни со мной происходят неожиданные вещи, и в эти минуты я испытываю ликующий энтузиазм. Все вокруг меня звучит победно... И если я встречаю друга, я беру его под руку и смеюсь, смеюсь, как

ребенок... Тщетно искать причины этой радости — со мной ничего не произошло... Тайна: *между тем, она и вызывает радость*. Это правда; именно так я ее ощущаю — как неоформившуюся мысль, разъедающую и мерцающую...

В общем, точно так же каждый раз возникают у меня немотивированные приливы нежности, и — не менее всего — немотивированная трогательная стыдливость.

Совсем недавно разбудило меня тонкое ощущение, что я таинственно стал нежной светловолосой девушкой, готовой легкомысленно и капризно отдаться своему любовнику — стоило только моему другу показать мне несколько открыток, как мне сразу же привиделось через витрины, будто я — красивая девушка с пленительной обнаженной грудью: девушка, быть которой в тот миг я, краснея, еще сомневался...

Физическая боль меня почти не беспокоит, лишь иногда мое нёбо тревожит неприятный привкус.

Очень часто, свернув на какую-нибудь улицу, или где-нибудь в салоне, внезапно я *обнаруживаю себя* в декорациях некоего далекого иностранного города — очень отчетливо: я пересекаю какую-то площадь... иду вдоль набережной... *чувствуя*, как пробиваются фиолетовые сумерки между величественными колоннами какого-нибудь собора... (Здесь — я точно знаю — может существовать приемлемое объяснение: любое перемещение, которое происходит в атмосфере и которое просто переплетает параллельные слои, преломляет верхушки света и тени, что и приводит к появлению сценариев, подобных тем, с моим случайным присутствием).

Зимой мне приходят ощущения осени и весны — и бывают периоды, когда я, не переболев, чувствую себя выздоравливающим от долгой болезни — быть может, счастливо избегшим смерти...

В блужданиях моей души — если заглянуть во все ее закоулки — появляются странные мысли, забавные и сложные: но только они способны выразить через под-сознание самые скрытые особенности моей психики.

Так, когда я задумываюсь, неизбежно — в печали и опустошающей скуке — я помню, что это принесет мне только мучение: полый облицовкой из жести обложена изнутри вся моя плоть — и что-то еще: моя душа, наверное... (И тогда я боюсь, что моя душа окажется всего лишь зеленой жидкостью, маслянистой и мутной, тошнотворной, взболтанной в этом сосуде).

Полное опустошение моей жизни... я вижу ее как серию цинковых ромбов, забрызганных красками — главным образом, грязно-красного цвета — расплюснутых и искривленных.

И часто по ночам, когда я лежу в постели и перебираю застоявшуюся блевотину своего существования, неотвратимое смехотворное желание подстрекает меня сделать свое тело треугольным, заточить его на вершинах до острых стальных игл. Ах! если бы можно было превратить мое тело в подобие спицы — я очень четко представляю в такие минуты — тут же прекратилось бы мое растворение...

.....

Пусть даже мы не сами создаем свои иллюзии, я чувствую все это искренне и естественно. Я не при-

учал свои чувства трепетать хаотично... Они сами собой выхолащиваются — так тускло блестят, так неровно вертятся...

Потом, если в своих произведениях Искусства, блуждающих в миражах, роскошных до изыска, я добавлю своим персонажам немного от себя — тут же закричат ущербные о шутке или о непонимании. Непонимание... Так мало понятного в том, что я пишу, во всем этом... Я говорю: «Образ моей жизни запечатлевается во мне как серия цинковых ромбов». Только это. Не ищите здесь ничего — здесь нечего понимать. Боже мой, только так! Я даже не могу выразить это по-другому, с большей ясностью, потому что это так — *только так*.

Но чтобы суметь почувствовать это, что-то неведомое проникает в меня. И вот так мои причуды возвеличивают меня, и я жажду их... огненно — львино.

.....

( — Потому что должен был быть на склоне оливковой рощи нашей фермы, когда я был маленьким, в земле устроен тайник с сокровенной молитвой на клочке бумаги под стеклом...)

.....

Тем не менее, хорошо присмотревшись, я вижу, что, вопреки всему, всё — свет; банальный свет окружает меня... Тщетно я пытаюсь приблизить тайну, разрыть глубинные катакомбы тени...

Невозможно! Невозможно!

Ах! как я завидую великим преступникам, которым удалось избежать правосудия... и они продолжа-

ют... а потом исчезают, окровавленные убийствами и насилием...

Они, именно они, и оставили, хоть немного, тумана.

Запертые в своей тайне, как триумфально они живут — без угрызений совести, соразмерные Чуду...

Я, безусловно, противен себе!..

## VI

АВГУСТ 1907 г.

Если бы я был миллионером и принцем, как бы я приблизился к овладению Тайной...

Ах! где-нибудь на севере, утопая в пышных садах, мой высоченный замок в непроглядной тени возвысил бы свои безмолвные башни, замысловато протянул бы свои стены, тяжелый и длинный.

Внутри просторные танцевальные залы без окон, которые я бы заказал возвести великим архитекторам и украсить фресками — восхитительным художникам; щедро декорировать серебром и золотом диковинные своды, ламбрекены, панели с необычными инкрустациями из перламутра и нефрита...

Бархатные портьеры, волочащиеся, шуршащие — глубоким блеском. Роскошные ковры, в которых утопает нога, и заглушаются шаги... светильники, канделябры и украшенные гербами люстры, которым было бы не суждено зажигаться...



О! даже сам я никогда бы не видел эти театральные залы при свете... Я проходил бы по ним всегда в полумраке, на ощупь оценивая их роскошь; я бы едва различал их в неверных зеркалах, отражающих лишь тень их великолепия, ведомый тусклыми отблесками света их колдовских факелов, просачивающегося, возможно, через дверные проемы...

Боже мой, как это было бы грандиозно!.. Какие девизы, какие не сразу видные, то тут, то там возникающие углы ошеломили бы меня в веренице моих парадных залов: *где никогда никто еще не танцевал*, которые я и сам плохо знал, хотя в праздничные ночи слушал — всегда в полумраке — торжественные концерты моих азиатских оркестров, спрятанных в других анфиладах...

И я теряюсь, представив всю величину своего Заблуждения, когда позволяю себе нырнуть в такие размышления...

... Разросшиеся сады вокруг Дворца — и парки... Чуть дальше — непроходимые леса, куда не проникает солнце — с неожиданными полянами, где бы, по моему приказу, воздвигли памятники героям, мореплавателям и воинам, которых не было никогда...

В глубине неожиданных розариев, затерянных в лесу, — храмы богам неведомых религий, ложным божествам, которых создал только я и водрузил на причудливые алтари... Надгробные надписи, готические, древнейшие, под куполами храмов, на плитах, которые никогда не покроют ничью могилу — и склепы, тоже ненастоящие, пустые внутри, чуть дальше, рядом с ботаниками, в конце леса, среди кипарисов...

И завершил бы я всю эту нелепую местность, двигнув руины рядом с огромным высохшим прудом — остроконечные останки сломанных сводов, колонн и арок... Я спрятал бы сокровища, наугад, глубоко, как в детстве зарыл бы в дорожках своего владения, похоронил бы игрушки... И приказал бы оградить высокими ошетинившимися стенами и железными воротами пустые круглые участки, где бы ничего не хранилось — а напоследок повелел бы открыть подвалы и бесполезные подземелья своих владений, так как в моем дворце были бы бесчисленные ненужные люки, неожиданные ложные двери, лестницы в никуда, странные секретные механизмы...

Но все это, все это — неясно *понятое*: всего лишь в результате одной ночной прогулки по своим владениям, никогда даже не пересекая некоторые аллеи, никогда не приближаясь к некоторым озерам, которые существовали только благодаря пепельному шепоту ручейков своей легкой воды... Да, всё — привидевшееся в тумане, в сомнении, трепещущее, чтобы его можно было облечь тайной...

И тогда из высоченных окон своей золотой спальни я бы смотрел в сумерках на свою сотворенную Империю, простирающуюся далеко — воображая ее, *предвидя* ее в колеблющихся тенях, в шелесте листьев, в плеске воды — под мерцающими звездами...

Ах! но не выйдет из грезы все мое Королевство...  
.....

— А если бы и сам я был сном?..

# VII

АПРЕЛЬ 1908 г.

Дни идут своим чередом, а мое затейливое наваждение все больше и больше меня одолевает...

В моем мозгу раскрылись ритмы агатовых стрел...

О! невозможная борьба с реальностью!..

Хоть бы, в итоге, меня одолело безумие...

Хоть бы погрузился я тогда в великую тень...

Но нет... нет... Все реально в этой жизни — и сама смерть реальна...

Но некоторым все же удалось исчезнуть!

Я вспоминаю двух приятелей, потерявших ся в других эпохах.

Один, бледный и светловолосый, с веснушками, рассказывал мне о своих дедушке и бабушке из Франции. Жив он или мертв, не знаю: он исчез, не оставив следа... И только позже я узнал от его родителей, что у него никогда не было родственников за границей — как не было и больших владений на севере, куда он меня приглашал тем летом...

Сейчас я удивляюсь, вспоминая его. Мне претило его общество. Его внутренний мир был мне мало интересен... Но я часто составлял ему компанию, не зная, как этого избежать. Из милосердия. Именно он настойчиво, из праздной привязанности, искал со мной встречи... К тому же, его грубые манеры и вредные привычки, то мелочная щепетильность, то безрассуд-

ное мотовство выскочки, заставляли меня почти ненавидеть его...

Только теперь я понимаю, как сильно заблуждался! Какое геральдическое у него было сознание!.. В нем тоже, несомненно, жила жгучая жажда Тайны — возможно, не до конца им осознанная, но глубокая. Вот почему он рассказывал мне только о выдуманном — о своих поместьях, о своих автомобилях, о коллекции оружия — и был последовательным в своих неупорядоченных измышлениях: порой скупой, порой расточительный; всегда не настоящий...

До тех пор пока, как-то ночью, в самом благородном порыве, он решил исчезнуть, воплощая тем самым наивысшую ложь... И Триумфально использовал ее. Никто никогда его не оплакивал. Если он умер, его труп так и не был найден. Если он все еще жив — он, без сомнения, совсем другой...

Ни следа после себя...

Великолепный Артист!..

.....

Еще прекраснее, возможно, судьба моего второго приятеля, который однажды вечером пришел ко мне домой, чтобы объявить о своем скором самоубийстве... Я пожал плечами, разбирая книги в шкафу. Я хорошо знал его любовь драматизировать, его детский каприз романтизировать себя... Мы прекрасно прогулялись тем вечером, беззаботно...

Несколько недель спустя он снова рассказал мне о своем намерении... Из вежливости я попросил у него

объяснений... Он отказался — лишь намекнув на про-  
странные невозможности...

На следующий день я более настойчиво задал ему  
вопрос о причинах предполагаемого самоубийства.  
Тогда последовала грандиозная сцена... Он плюхнулся  
на диван — запустил тонкие, наманикюренные пальцы  
в свою шевелюру... В петлице у него была бутоньерка.  
Он вырвал ее и бросил на ковер... Повернувшись спиной  
к нему, стоя перед окном, я едва сдерживал улыбку...

Тогда он скомкал шелковые подушки, вытер сле-  
зы, которыми не плакал — и, по-женски преувеличен-  
но жестикулируя, поведал мне, что привело его к тако-  
му решению...

Боже мой, какой неожиданный мотив... такой  
ничтожный, полубезумный до глупости — и смешной,  
просто смешной... в общем, последнее, что можно себе  
представить...

Я заверил его, обнимая, — пишу сейчас вполне се-  
рьезно эти строки — как ничтожны и неприемлемы его  
доводы. Он согласился со мной. Поклялся, что сожалет.  
Мы отправились в книжную лавку купить последние  
романы...

Вечером я встретил его в театре — элегантно-  
го и смеющегося, в смокинге и с новой бутоньеркой:  
большой красной розой...

На следующий день я снова повстречал его. Он  
прочитал мне набросок еще одной пьесы, которую  
писал и, как раз сегодня утром развил. Рассказал мне  
о своих планах на это лето. Он зашел к торговцу сороч-  
ками, чтобы сделать очень сложный заказ. Попросил  
у меня адрес французского издателя, чтобы послать

ему рукопись, которую уже давал мне прочитать — пусть у него в библиотеке она тоже будет...

Два дня спустя он покончил с собой — выстрелом в сердце...

... Только потом я узнал, что другим друзьям он тоже объявил о своем самоубийстве — по большому секрету — собрав доводы, толкавшие его на такой отчаянный шаг: *но каждому из нас он рассказывал разные истории...*

.....

Как бы там ни было, но таким личностям удастся немного погрузиться в тайну — они отмечены Крыльями, помазаны Блужданием...

Во всяком случае в блуждании они ухватили нечто более значительное, чем я, — а ведь это мое Желание — и при этом остались менее запятнанными тайной в этой повседневной жизни.

Ах! из-за своей непоследовательности, из страха кощунства, возможно, перед лицом деяния, которое я должен был исполнить — я весь являюсь вместилищем разрушающего скептицизма, усиленным разочарованием, маразмом отречения...

И, таким образом, если кто-то удивится моей необычной жизни, пустой, но такой *необычной* — я не сдержусь, и сразу же выкрикну правду: если той ночью я внезапно ушел, то потому что захотел раньше лечь спать — мои серебряные конверты не прятали любовных писем — если я ненадолго пропадаю, то лишь в своем доме или, когда дольше, то читаю и пишу в кафе в другом квартале...

В тщетном мистицизме, в неудержимом стремлении понять себя — я сам, первым отбрасываю фальшивую тайну, потерявшую во мне свой секрет, но ведь она могла бы, тем не менее, существовать в глазах других... разве не бывает ложных тайн?..

.....  
.....

— Да, да, о мои забытые друзья из прошлого: ты, бледный и высокий, у которого родственники во Франции — и ты, с непослушными волосами и покрашенными ногтями — какой же я подлый, бездушный, бессердечный... плюю на себя, смеюсь над собой, картонный сфинкс...

И как я чувствую вашу тоску и вашу гордость — о, короли-безумцы, что умерли лунной ночью, в синих озерах, возможно... среди непонятных декораций...

## VIII

16 ноября 1908 г.

Боже мой... Боже мой... Как мне вынести этот бесконечный свет — неотступный и слепящий...

Я вышел из себя в скуку. Все опустело вокруг меня...

Подвесили мои нервы на железный крюк; связали их в сухой пучок...

Страшусь себя, страшусь той тоски, в которой пребываю...

Брожу одиноко по улицам — и мой взгляд, мой  
собственный взгляд бичует меня...

Тщетно пытаюсь окружить себя видениями...

Все живет *этой* жизнью вокруг меня...

Если бы еще существовали другие жизни... Кто  
знает, жизни летучие, жизни-ароматы — флюидные  
организмы, которые могли бы конденсироваться, уп-  
лотняться и снова испаряться...

.....

**22 ноября.**

Я не обманываюсь. За последнее время претерпе-  
ла изменения моя Душа. Я больше не чувствую ее так,  
как раньше. Она улетучилась ввысь... А мои чувства  
кружатся, как цветные колеса — ярмарочные лотереи  
моего бреда...

.....

Мечты... мечты...

Всегда перед моими глазами жестокая реаль-  
ность: белый лист, на котором я пишу — осознанное  
желание, заставляющее меня писать...

.....

.....

.....



# IX

ФЕВРАЛЬ 1909 г.

Наконец! Наконец! Победа — к Золоту прорыв!

Как я был неправ, предаваясь отчаянию!

Перебираю сегодня триумфы, и все рушится перед Чудом!

Перед моими глазами сомкнулись вихри Крыла в самоцветах и звездах!

Бил фейерверк ароматов.

— Чего стоит остальное, если непроникающее в туманную дымку уныние меня сформировало?

Не знаю, что будет дальше — что станет со мной. Но какой бы ни была моя судьба, я, кажется, пережил красоту — красоту, уходящую в тень и возникающую из тени... Я отразил Тайну. Я проник в Радугу. Я победил!

— Возможно, я смогу увидеть кровь?

.....

Вот в чем был мой триумф. Я хочу удержать его на ближайшее время, чтобы позже лучше проанализировать.

В своих продуманных странствиях, всегда с пропитанными горечью тщетными усилиями — в смутном и поглощающем свете — этой суровой зимой я, конечно же, отправился на Лазурный берег.

Вечером, во время карнавала в Ницце, не знаю, как и зачем, я очутился на балу в Казино.

Атмосфера была мне знакома. В нестройном шуме мелькали вокруг меня тысячи цветов — отблески праздника — что казалось странным и моим сознанием воспринималось здесь как лесть.

И вот в бурлении хаотичной толпы мне вспомнилось пространное высказывание одного моего дорогого друга, как-то ночью в парижском кафе:

— А! волшебные балы-маскарады... Имперский бал-маскарад в Опере... Если бы там был я, друг мой, если бы я там оказался — моими любовницами стали бы все окружавшие меня женщины: *потому что все они были бы в масках!*

Тут мои глаза стали еще восприимчивей к Тайне, окутавшей меня — конечно, пошловатой, но тем более скользкой.

Это было волнующе и красиво, на самом деле...

Такая мягкость!

И я предался шумному веселью — конфетти, серпантин...

«Поразительно, — тут же поспешил я заметить. — Я ведь совсем не пил спиртного, никаких наркотиков. Тем не менее, мои чувства дрожат в странном растворении: в сухом рассеивании — тонком, очень мягком, аккуратном — в сброшенной прозрачности».

Я шел, озадаченный, пока внезапно, в каком-то колеблющемся предощущении, свет ни стал слабеть в моих полузакрытых глазах.

В то же самое время кто-то взял меня за руку и прошептал, выводя меня из оцепенения:

— Я, быть может, ночная Принцесса...

Точно не знаю, что было потом. Лишь спустя несколько минут я смог увидеть роскошную женщину, державшую меня за руку. Высокая, стройная, несравненная — одетая в необычный наряд: костюм пажа из какой-то далекой лазоревой сказочной страны.

Ее стан схватывал корсаж, расшитый золотом, из которого вызывающе поднималась дерзкая вершина смуглого бюста.

Ее ноги облегалo легкое сиреневое трико.

Алый атласный берет на пышных волосах с пером неизвестной волшебной птицы — нечто свешивающееся и разноцветное.

На талии — загадочный черный пояс из выделанной кожи, к которому был подвешен узкий кинжал в ножнах.

Зеленая шелковая вуалевая маска скрывала ее лицо...

.....

Точно не знаю, что происходило в первые минуты. Мой столбняк потихоньку слабел — но внезапно стали испаряться мои чувства, окутывая меня больше, чем когда бы то ни было.

Едва мое сознание прояснилось — еще довольно затуманенное — как уже мы вдвоем пили в буфете шампанское...

Я беспокойно озирался, затем мой взгляд остановился на кинжале. Незнакомка, следя за моим взглядом, тут же вынула кинжал из серебряных ножен и протянула его мне, чтобы я не боялся.

Я взял его дрожащими руками, испытывая геральдическое чувство.

Страшное оружие и роскошная драгоценность.

Рукоятка кинжала была инкрустирована таинственными камнями, ослепительно сверкающими рассеянным светом, — отдаленные блики глубоко спрятанной роскоши; бесконечные цвета... Жестокое стальное лезвие, узкое и короткое, очень острое, а на нем — дивно выгравированные непонятные буквы какого-то забытого алфавита...

Внимательно, не говоря ни слова, я рассмотрел драгоценность. Мое лицо нахмурилось. Пальцы похолодели... Но, улыбнувшись, иностранка произнесла:

— Это семейная реликвия... дорогая, многозначная, очень древняя... со страшной темной легендой... вечного проклятия... Быть может, когда-нибудь я вам расскажу...

Мне словно отрубили ледяным топором пальцы. Я выронил кинжал... Она тут же бесстрашно подняла его и засмеялась... Затем велела мне еще раз наполнить ее бокал — пока она, спокойно посмеиваясь, снова вкладывала в ножны острое оружие...

Мы вышли из буфета. Она любовно прижалась ко мне — на самом деле ее тело уже было в моем. Наши руки переплелись — и через миг, на мое прикосновение к золотому корсажу откликнулся высвободившийся напомаженный сосок ее груди.

Доселе не испытанный, меня пробил странный озноб — таинственный озноб, показавшийся мне особенным.

Словно в бреду, предвкушая свою победу над той женщиной забвения, восхитительной, трепещущей в моих объятьях — весь мой страх свелся к неизбежно банальному окончанию этого приключения. Но наши

роскошные поцелуи не были банальными. И я шел, опьяненный радостью, машинально, вне пространства, не произнося ни слова...

Ах, но моя спутница, несомненно, уже приняла решение.

Не отпуская мою руку, она погладила ею свою накидку из дорогих мехов — прося ласки.

Теперь я дрожал от страха, не осмеливаясь сказать ей неизбежные слова о нашей предстоящей ночи...

Однако, она совсем не удивлялась моему молчанию — и вот, спрашиваю я себя, как это я вдруг оказался в «лимузине», который, без сомнения, ее ждал...

Автомобиль тут же очень быстро поехал. И тогда меня бросило в холодный пот.

Мой триумф усиливался: загадка продолжалась. А мой страх улетучился: «Неужели все это и вправду тайна — или всего лишь интересное приключение, редкое, неожиданное, но вполне понятное?..» Ах! вот бы мне на самом деле познать Тайну...

Только почувствовав себя готовым разочароваться, я внезапно решил и сам спровоцировал ответ — невольно утвердительный.

Моя забытая спутница — смеясь, переплетя наши пальцы, — убедила меня, что бояться нечего, что нет никаких грабителей в масках... что она всего лишь везет меня к себе домой, в отель — и добавила:

— Там никто не знает, что я, быть может, ночная Принцесса... Я им не назвала своего имени... Сказала ненастоящее... Точнее, никакого имени... Они меня даже никогда не видели, почти...

Я по-настоящему ощутил, как смещаются разноцветные плоскости вокруг меня: итак, Тайна продол-

жалась, и не я ее создавал. Наоборот, я даже пытался развеее ее. Победа была очевидной и Золотой.

Тогда я отрешился от времени и безрассудно поддался слабости, прикрыл глаза, чтобы еще меньше видеть.

Одновременно, не прилагая усилий, даже не помня, как оно появилось — ко мне вернулось щемящее и хрупкое, как никогда, сладостное растворение, о котором я говорил совсем недавно, и которое уже успело полностью из меня улетучиться — теперь в фиолетовом подрагивании.

(Любопытная деталь, которую я только что заметил: из этого пленительного рассеивания, где-то из глубины, возникал лиловыми намеками скрывающийся страх).

Я еще разглядел, сквозь тряску, как от Казино автомобиль проследовал по бульвару Мак-Магон, — затем по бульвару Пон-Вьё до площади Гарибальди. Но после того, как мы выехали на эту площадь, — там остановились на минуту, пока шофер зажег потухший фонарь, — не могу сказать, ехали ли мы далее по улице Кассини, Республики или по какой-то другой.

После этого я полностью перенесся в мир грез. Реальность казалось мне относительной — все мои мысли и все мои жесты были чистыми проекциями потаенных движений, проявляющихся в иных измерениях. Я заснул в нефрите. Какая-то часть меня затмилась: свет Луны, быть может, осветил мой внутренний мир. Я чувствовал только Тайну, сопровождавшую меня...

По прошествии не знаю какого времени автомобиль остановился перед железными воротами. Мы вышли. Незнакомка открыла ворота маленьким ключом, блеснувшим в ночи...

Мы вошли в шелестевший сад. Перед тем она дала какие-то распоряжения шоферу, который сел за руль и исчез... Ночь была очень темной. Однако, в глубине сада я различил тень огромного здания...

Она снова взяла меня за руку, чаровница, — и мы вместе пошли по боковой дорожке, пока не дошли до отдельно стоящего павильона в левом углу сада.

Она снова достала сверкающий ключ. Открыла дверь. Мы поднялись по ступенькам...

Это был роскошно убранный интерьер — своего рода художественное ателье, изысканно украшенное.

Синеватая атмосфера серебрилась там, освещаемая странными расхождениями лучей от матовых электрических светильников — мягкая от благовоний, вся обитая шелками.

Длинные гардины — глубокие ковры багровых лун.

Восточная мебель — а посередине — низкая, необозримая, таинственная кровать с плюшевым покрывалом.

Но во всей этой опьяняющей атмосфере меня больше всего впечатлило следующее: свет не был неподвижным — он плавал в воздухе, очень отдаленно, полуовальными лучами, непрерывно рассеиваясь, в радужном ритме, в постоянных фильтрациях.

Едва мы вошли, моя незнакомка тут же сбросила накидку в глубокое кресло. И, встав перед большим зеркалом, сняла свой карнавальный костюм. Она полностью обнажилась. Только на лице осталась неизменная зеленая маска...

Когда ее роскошное тело оказалось свободным и застыло, словно статуя, посередине комнаты — было очень

кстати, что свет изменился. Лучи света теперь рассеивались более изогнуто, более быстрыми и вытянутыми импульсами — несомненно, влияние платинового ореола, который тускло освещенное тело излучало вокруг себя...

Как тогда зарделась моя Гордость, обрызганная изумрудами! Вся эта Таинственная плоть должна была стать моей! И выдох облегчения вылетел из меня, когда я увидел, что она оставила маску — столь органичную, яркую, Загадку!..

Словно безумные мы упали на огромное ложе. Под моим телом иступленно скрипели ее Обоженное тело и Душа...

Ах! Внезапно мой взгляд остановился на чем-то более ярком, что блестело рядом, на розовом мраморе камина: кинжал, который она небрежно оставила там.

Я продолжал неистово целовать ее...

В момент обладания, мой взгляд не отрывался от другого чуда!

В этой шелковой атмосфере, сумрачно зыбкой, отблески легендарного оружия приобретали inferнальную силу, магическую, сверкающую и пугающую.

На самом деле, это не был просто свет, разноцветный свет, который распространяли желтые сгустки скрытых украшений — я могу это представить, в моем воображении, только так: от искусственных самоцветов исходило, на самом деле, мерцающее свечение. И тут же, посередине своей траектории, это свечение собиралось в синюю полутень, в прозрачное, как стекло, ядро, откуда, в свою очередь, исходил пучок радужных отражений, распадающихся на странные рельефные следы. Именно так — вот что самое смешное



и необъяснимое: этот свет, пусть даже текучий, имел рельеф: причудливыми и очень тонкими рельефными выпуклостями до нас долетали его блеск и его цвета.

Вся моя жизнь целиком сфокусировалась сейчас на кинжале. Пронзительно, не знаю почему, пришла ко мне гранатовая уверенность, что это была, наконец-то, она, а не что-либо другое, — Тайна, которую я так мечтал постигнуть.

Печать колдовства поминутно съезживалась во мне, обманчивая и скользкая...

Сплетавшиеся плоскости бились мне в уши, запахи летели со свистом, воплощаясь в бессвязную музыку, до тех пор, пока в одно самое волшебное свечение мне таинственным образом ни показалось, что весь мой внутренний мир вывернулся наизнанку. Потрескивания мутных отблесков наполняли мою Душу: обжигая солнечными лучами мои тревоги — поливая дождем мою скуку, разлившуюся по поверхности бесполезно — могилы моих воспоминаний — и, что особенно странно, расширяя необъятную Площадь с монументальной архитектурой (но и с огромным колодцем посередине, вместо статуи героя), окружившей все мое воодушевление. И в тот же момент я разглядел, отчетливо разглядел, что моя будущая душевная жизнь будет проходить на этой Площади — замкнутая, возможно навсегда погруженная в этот огромный колодец.

И ко всем этим волшебным образам — таким реальным, по крайней мере, в тот час — примешивались все время мои поцелуи эмалированных грудей безумной, всем своим потерянным телом, содрогавшейся в миражных волнах тумана и яшмы!..

В какой-то момент мои глаза смогли оторваться от кинжала, когда меня озарила мысль, что все вокруг меня низвергается в бездонное пространство — и только я один не падаю. Мне даже показалось, что это пленительное тело, трепещущее под моим, тоже исчезнет в круговороте. Лучше так — никак не исчезнет до конца, так как я, неподвижный, ощущал его, падающее, все время под собой.

Но, вскоре, мой взгляд снова остановился на оружии... Весь мой внутренний мир сильнее прежнего сосредоточился на этом кинжале... Безраздельно парила греза Опиума...

... До тех пор, пока, в конце концов, меня не охватил расшитый спазм в астральных намеках... Но, когда он прошел, ах! оказалось, что не роскошным, прекрасным телом я обладал — *это были царственные отблески проклятого сокровища!*..

.....  
.....

Внезапно я освободился... Устремился к кинжалу... Пора! Тайна разрушалась... Она уже поднималась... Несомненно, сейчас снимет маску... я сам ее сорву... И увижу ее... узнаю, кто она... увижу ее глаза... оставлю ее... Нет! Нет!.. Невозможно.

Атмосфера после всех экстазов с трудом являла мне всю свою реальность... Только во время тех спазмов я мог представить ее — пурпурно.

Я постепенно просыпался... Пробуждался от Золота... Терял Чудо...

Мне стало страшно. Я испугался своей гордости... Что станет со мной, если не хватит духа зафиксировать — львино! — ту скульптурную Загадку, завиться полностью в нее, впустить ее в себя навсегда, чтобы жить с ней?..

Это была судорога предсмертной агонии! Но я победил!.. Я резко схватил оружие... и шатаюсь, в вихре, в головокружении, вонзил его по рукоятку ей в сердце...

Не прозвучало ни стога. Только груди колыхнулись...

Какой великий момент!

Мне показалось, что, в действительности, я дрогнул, противясь судьбе, а моя рука — только моя рука — совершила должное!

.....  
.....

Да! Да! я ликовал! Так как осуществил свой замысел — я спроецировал туман, обернулся в дымку, укрылся Тенью... Вокруг меня реальность рушилась черными комьями, щебнем...

Вздымались троны из слоновой кости, окружая меня... выстраивались кавалькады звезд... диадемы кружились водопадами...

Ах! бесконечное мгновение!..

Но это было еще не все. Не хватало еще одного, чтобы замысел был завершен... И в порыве, с закрытыми глазами, под маской из зеленого шелка я искромсал яростно лицо той женщины, которое никогда не видел: чтобы никто больше не смог ее увидеть — даже я сам!

Я взглянул на драгоценность. Чудо. На лезвии нет крови. Только буквы загадочной надписи навсегда окрасились в красный цвет. И камни рукоятки кинжала остановили свое потускнение — наконец примирившись со светом.

Я далеко отбросил оружие... И убежал...

Словно во сне бродил я по дорожкам парка. Вышел через массивные железные ворота, ключ оказался там, в замочной скважине... Бродил, не знаю сколько времени, по незнакомым улицам...

Когда ясность сознания вернулась ко мне — и вернулись ко мне ощущения пространства и времени — я снова оказался, не знаю как, на площади Гарибальди...

.....

Тем же утром я сел в экспресс на станции Виль-Франш. Никто меня не остановил...

Не знаю, что я оставил после себя... труп, по крайней мере... не знаю, что будет дальше... быть может, за мной уже началась погоня...

Но что всё это значит перед Мраморно-бриллиантовым творением, что я вознес?..

Я перешел в Звезду... я содрогаюсь от Колдовства... Я застыл в Тоске и Красоте...

Я сам — Тайна... Дрожу от страха рассеянно. Отточенная прозрачность!

Всё — тень — Тень, наконец-то, вокруг меня!

Наивысшая победа: Победа!..

.....

.....

.....

# Х

3 ФЕВРАЛЯ 1911 г.

Столько времени... Я вновь возвращаюсь к своим записям, чтобы подчеркнуть свою славу.

Да, это было полное Торжество!

Поскольку сегодня я живу Другим — нерешительный, отдаленный; невосприимчивый ко всему, что разглядывает во мне меня. (Это не я, тот, кто смотрит на вещи, скорее — они будут смотреть на меня, кто знает, может, это и происходит сейчас...)

Я изваял себя в Изгнании. Я перестал быть Самим собой даже по отношению к тому, что меня окружает. Тайна заострила меня длинными акведуками — и звуки эха в аркадах нежно заглушили для меня звуки жизни. *Вокруг себя сегодня живу только Я* — победа без потерь!

Для меня нет ничего, кроме «до» и «после» Чуда. «До» — не помню. Никто не помнит о том, как он жил до и сразу после рождения. Или, в ту тигриную ночь, в сапфировую минуту, когда я вонзил в нее кинжал — я очнулся (это точно) в другом мире, родился в другой жизни: в изысканной жизни, где неизменно одно и то же время года, где мгновения замирают вне времени, — там время другое, невыразимое, без направления: это не пространство или движение, но что-то вроде флюидного ритма, постоянного в прозрачной вибрации.

Всё оттенилось в моих чувствах, окуталось Тонкостью. Всё я сейчас лишь предвижу. Вот так я победно

остаюсь забытым — скованным теневыми нитями, довершающими мое исчезновение.

Я не слышу своих шагов; едва различаю свои жесты.

Я сам изменился в сумраке — изменил полностью свет.

Все время иду словно через руины.

Вижу башни и котлованы в перемежающихся Восходах.

Я бы признал себя открывателем никогда не существовавших миров.

Если я говорю громко, один, то мой голос звучит, будто процеженный сквозь дамасские ткани и бархат, в другой раз — еще более отдаленный, как сквозь расцветный розовый мрамор...

Растеклись у меня в крови Красота и Тайна.

Ах! я очень четко представляю, что в момент преступления я лишился какой-то части себя, которая прохрипела, быть может, рядом с трупом — и так я освободился, индивидуализировал себя в Сфинксах...

.....

**10 ФЕВРАЛЯ.**

Какая роскошь вокруг меня!

Я — иерарх в Византии...

Весь я парю Тайной.

Кем была она — чьим было её лицо?..

Как бы там ни было, у этой женщины была, тем не менее, жизнь — существование именно ее. По крайней мере, многие ее видели...

И она пропала — исчезла в театральном локе.

Ее, без сомнения, оплакивали ее любовники — и родные, возможно, вспомнили о ее смерти.

Ее смерть существует — но только я могу в этом присягнуть!..

.....  
.....

Без сомнения, меня тщательно искали после преступления. Тщетно... Я не оставил следов. Я исчез, как легенда.

Странное ощущение безопасности: я никогда не боялся, что меня поймают. Я даже ни разу не испугался, что когда-нибудь меня осудят за мое преступление. Все было так, словно я его никогда не совершал.

По крайней мере, я больше не читал газет.

Хотя... один-единственный раз — не знаю, в каком городе — мой взгляд внезапно остановился на раскрытой попутчиком иностранной газете. Большими буквами, я только разглядел, невольно:

«Тайна Города...»

В тот же миг незнакомец перевернул страницу...  
— Быть может, это моя Загадка?..

Впрочем, буквы не прыгали огненными зигзагами у меня в глазах...

**20 ФЕВРАЛЯ.**

Иногда под утро, еще при звездах, меня окутывает нежность камелий: невыносимая тоска по плоти только одной ночи поцелуев — и бешеные колыхания тех возбужденных грудей...

.....

Моя безумная, как ты должна быть прекрасна — новой красотой, другими прелестями...

Я убил тебя. Я отрекся от тебя, не зная тебя... Ты видишь: это было наивысшим доказательством любви!

**28 ФЕВРАЛЯ.**

Дорога...

Рассеянные отблески мягких цветов, водянистых, поднимаются в высоких движениях, чтобы охладить воздух вокруг меня — разноцветные следы сплетаются — скручиваются ароматные свитки — львиные вершины вдалеке расходятся призматически — улетучиваются потерянные звуки синевы, в свинцовом отзвуке — возвращаются ощущения филиграней — откликаются эхом из слоновой кости...

Вот пейзаж тонкости, воспоминания о других мирах, которые меня замыкают сейчас!

Все покрыло меня в мерцании. Все меня заманило в Невесомость.

Я знаю, я знаю. Дело в том, что, по правде говоря, начиная с великого Часа, мое существование стало чувствительным к другим измерениям. Именно в них протекает сейчас моя замершая жизнь...

Лунный свет, эмблемоносный!



# XI

ДЕКАБРЬ 1912 г.

В первый раз после Чуда начинаю различать реальные события вокруг себя. Наверное. Я нахожусь в Венеции — синхронная чувствительность моей нынешней Души.

Ликование меня не парализовало. С тех пор как я погрузился в Тень, наоборот, как никогда раньше я блуждаю — чтобы более сосредоточенной стала моя неуверенность; более гибкой и колеблющейся.

Сейчас я нахожу, однако, что лучше мне остаться здесь, навсегда, в этом пейзаже-миниатюре, преображенном Тайной.

Каким бы неясным ни было мое возбуждение, нет ничего более обманчивого для меня, чем пребывание в этом лазурном городе, запечатленном в мраморе Времени — навсегда остановленной клепсидрой...

.....

Венеция!

О, священный город воображения, парчовая столица глубокого забвения в волшебной полутени — сумеречная радуга, предрассветный анемон...

Остаточный свет Золота, бронзовый и мертвый, спускается сумраками на Площади — в анфилады королевских Дворцов, можно сказать, мозаичных, когда здания встают вокруг скульптурными стенами, — а тени колышутся подвешенными гардинами...

Венецию я представляю всегда целиком, через огромное отполированное стекло, а в перспективе, как художественную панораму — с театральной подсветкой.

Я становлюсь другим, когда впитываю ее атмосферу Прошлого, в мятых кружевах, — опьяняющую и позабытую, легендарную, архитектурную...

И по набережным дворцов, по набережным города — безумный сын Дожа, быть может, — командует процессией мертвых беглецов, в масках помпезности...

Все звенит... все озвучивается вокруг... Навечно остались и проглядывают в зеркалах улыбки ушедших времен... в воздухе залов все так же шуршит шепот легкомысленных балов былых эпох...

Сквозь убранство проступают разноцветные танцы...

Покрываются пеплом маски.

В каналах черными гондолами плывут изысканные традиции. И я не могу поверить, что ими управляют весла гребцов — нет, похоронные марши органов Собора.

Колокольни и купола, размытые вдалеке...

Все дышит очарованием. Сам горизонт — как фильтр любви...

— Венеция! О, город-Принцесса — спящая сказка, неуверенная в лилиях, тоскующая в миражах, исчезающая в новолуние...

.....

С тобой я должен слиться навсегда.

Так я теперь ощущаю тебя все тоньше и ритмичней...

Перешла на тебя моя тайна — расширяя тебя  
в Окулльном...

Кружу по твоим площадям, захожу в твои дворцы,  
преклоняю колена в твоих Соборах — понимаю, что  
я — часть твоей архитектуры.

Спускаюсь по парадным лестницам — теряюсь  
в галереях...

Смешиваюсь с твоими памятниками, твоим мрамором,  
позолотой — твоими потайными комнатами,  
зловещими мостами.

Мы скрываем одинаковые намерения.

— Кто знает, быть может, я уже был когда-то  
твоей душой?..

## XII

23 января 1913 г.

Вчера, в ресторане «Флориан», я не смог избежать  
встречи.

Где-то далеко, реальность, точно, уже проглядывает,  
еще безобидная, но тревожащая.

Это был один из моих редких знакомых — случайный  
друг из Парижа.

В общем, мне даже не удалось скрыть свое недовольство,  
когда он представил мне своего друга-англичанина:  
лорд Роналд Невил...

( — Ах... забыть бы мне это имя... )

**28 ЯНВАРЯ.**

Странно. Я начинаю с опаской исследовать изменения в своем сознании. Надо мной витает некая ясность. Пожалуй, я снова слышу свои шаги. Неужели я снова обманываюсь?..

**2 ФЕВРАЛЯ.**

Сейчас неизбежно следуют подряд все дни, когда мы встречаемся с моим другом и лордом Роналдом.

Я должен успокоиться. Несомненно, это всего лишь маслянистые часы реальности действуют на мое сознание.

Я пытаюсь убежать. Но тщетно. Город слишком мал.

Куда бы я ни пошел, все время встречаю их. *По крайней мере, всегда встречаю лорда...*

**3 ФЕВРАЛЯ.**

Англичанин — персонаж заносчивый и интригующий.

Его импозантная фигура внушительна, но слегка размыта — некой дистанцией изысканности, аристократических манер и лаконичности.

Он высокий и стройный. Кожа очень светлая, беловатая на длинных руках; его лицо мягко окутано какой-то сомнамбулической бледностью. Выразительные синие жесткие глаза сверкают таким глубоким блеском, что кажется, он существует не в них самих, но позади них, проходя в зрачки, как в линзы.

На его лице аккуратно вырезан двусмысленный рот — с по-женски подвижными губами, с идущими треугольником к уголкам губ агрессивными тенями носогубных складок. Светлые волосы — неопределенного цвета, возможно, медного?

Его худощавое лицо всегда гладко выбрито, и — зловещая деталь — таинственные зеленые царапины исчертили его *широкоскулые* щеки.

Но самое необычное — это его движения, все они выстраивают изогнутые линии, твердые и холодные. Действительно холодные — холодные на ощупь, физически. Всегда, находясь со мной рядом, лорд выдавал жест, принимая позу, и я по-настоящему ощущал дуновение холода — холода кислого, судорожного, *безмолвного*...

Не менее странный у него голос. Голос звонкий и молодой — но при разговоре звучит хрипло, среди черных шелковых крепов.

Его шаги — из перламутра.

.....

**5 ФЕВРАЛЯ.**

Ясность прибавилась вокруг меня.

День за днем я ее чувствую — Чудо все дальше.

Постепенно рассеиваются искусственные декорации, которые покрывали меня Империями и Неясностью.

Больше не бьются вокруг меня другие ускользящие плоскости, уносящие Уверенность.

Моя жизнь, кажется, возвращается к прежним измерениям.

О! но нужно быть сильным, не давать растворить упадок!

Все это — непосредственное влияние контакта с типичными иностранцами. *Иначе и быть не может!*

Срочно положить конец нашим встречам.

**8 ФЕВРАЛЯ.**

Тщетные усилия!

Я решительно запираюсь в доме. Клянусь не выходить... И вдруг, не знаю зачем, иду по улицам — без дела, зевая...

Я хорошо знаю, что меня ждет. Нет, не допущу встречи с ним...

**9 ФЕВРАЛЯ.**

Но правдив ли этот свет, реальный свет, который сегодня меня окружает? Не есть ли это, Боже мой, что-то более опасное, чего я уже не смогу выразить — что-то мрачное, в отдаленных глубинах?..

**12 ФЕВРАЛЯ.**

Как бы там ни было, не могу забыть лорда.

Больше всего меня беспокоит этот нелепый факт: когда я вспоминаю его лицо, оно всегда предстает в нездоровой бледности — и обязательно изрытое странными зелеными царапинами, — необъяснимыми. Дело в том, что *этих царапин не существует!* То есть: тщетно, стоя перед ним, пытаться отыскать их

на его лице, я никогда их не видел на самом деле. Но я не могу припоминать его лицо без этих загадочных зеленых царапин...

.....

.....

**16 ФЕВРАЛЯ.**

Наконец-то!

Я снова могу заключить себя в свою Тайну — вернуться к Чуду.

Мой друг и лорд сегодня уехали.

*Я проводил их до вокзала!*

## XIII

**22 ФЕВРАЛЯ.**

На самом деле, меня оплело фиолетовое колдовство. Тяжкие гнойные истечения дрожащих Золотых тонов втекают в меня и околдовывают Душу и тело. Я живу только в половине себя — бронзовая, невообразимая рука неведомого великана сжатым кулаком ударила меня в затылок. И, ошеломленный, я пускаюсь в путающие, сложные, вязкие блуждания.

Странная, удвоенная сила проникла в мое подсознание и оттуда меня направляет. Размоталась черная нить рядом со мной, которая ведет меня — неосязаемая, но роковая.

А иначе как по-другому объяснить тягостное блуждание?..

Я решил, весьма самонадеянно решил остаться надолго в Венеции, чтобы проникнуть в нерешительное и инкрустированное — и, таким образом, вернуть, скрытно, в свое эгоистичное отчуждение-Статую.

Крик облегчения вырвался у меня, как у сумасшедшего, когда я увидел, как исчез поезд, который увозил далеко «это» неведомое и, возможно, тривиальное, но то, что моя восприимчивость тогда тайно предчувствовала.

Свободный, одинокий, самодовлеющий, — утонченно совершенный, прославленный, я, без сомнения, буду продолжать пребывать в себе, лелеять свое превосходство.

Между тем, спустя несколько дней, утром — не думая, не видя себя (именно так: *не видя себя*) — я собрал чемоданы, побежал на вокзал, вскочил в скорый поезд... не зная, куда он поедет, хотя сам же и покупал билет...

Но самое чудное, самое пугающее: несмотря на то, что все так и было, именно так, — я знал — ах! в глубине души я очень хорошо знал! — куда направляюсь, почему отправляюсь и что заставило меня внезапно сорваться с места...

На вокзале в Ницце, разумеется, я сошел. На платформе кто-то меня ждал... Лорд, действительно, подбежал ко мне — подхватил под руку, не удивляясь, словно знал, что я должен прибыть на этом поезде. Он отвез меня к себе в отель...

*О своем отъезде из Италии я никому не писал.*



# XIV

27 ФЕВРАЛЯ.

Как никогда прежде, чувствую себя в пепельных пеленах. Депрессия продолжается — но она другая, непонятная. Более строптивая, возможно — даже агрессивная; но никак не ласковая.

Дни идут, и я живу в странном представлении, что они — это я, ... я — это время, через которое они утекают.

Разгораются желтые светильники, треугольные, забавные, перед моими глазами, которые отражают далекие, но упорные две точки грязно-красного цвета, скучного...

Видения лепных медальонов — только их самих, овальных, без портретов — иной раз танцуют предо мной: главным образом, в мерцающие часы перед сном.

В итоге, мной завладела болезненная сонливость. Меня никогда не беспокоили кошмары нечистой совести. Наоборот, я сплю глубоким сном — и именно эта глубина моего сна меня удручает и размягчает. Лишь к концу дня я чувствую себя исцеленным от бодрости.

1 МАРТА.

Я уже вижу себя, за эти несколько дней, в большом круге взаимоотношений благодаря моему эксцентричному спутнику.

Лорда принимают повсюду — с большим уважением. Мне, правда, представляется, не знаю почему — с раздражительным уважением.

Он обильно тратит деньги. Все заискивают перед ним; все его знают. По крайней мере, когда он проходит, обращают на него внимание — указывают на него, перешептываются...

Только он, кажется, никого не знает — *даже тех людей, которым представляет меня.*

Я часто его сопровождаю. Я остановился в его гостинице. Сразу же утром он зашел ко мне в номер... Мы едим за одним столом. Проводим все дни вместе. Так что у меня нет свободной минуты. В конце концов, мне иногда претит его постоянное присутствие.

Впрочем, он очень любезен. Похоже, он меня высоко ценит. Расспрашивает меня о моем творчестве. Все время говорит. Но в его фразах есть внезапные паузы.

Он не позволяет мне платить по счетам. Меня начинает угнетать его внимание.

.....

Центр нашей светской жизни — особняк маркизы де Санто-Стефано, которая живет на роскошной вилле де Симье. Каждый вечер она устраивает великолепные приемы. Именно там и возникла большая часть моих знакомств. Странный факт: меня всегда представляет только лорд.

Маркиза де Санто-Стефано — женщина дивной красоты. Я слышал, что ее муж парализован и никогда не выходит из своего замка в Абруццо. Точно не знаю. Во всяком случае, я его еще не видел.

Лучшее общество посещает ее салон.

**2 МАРТА.**

В садах виллы маркизы нет ни одного павильона.

**4 МАРТА.**

Иду по сверкающим золотым залам. Пáры кружатся, тысячецветные. Вальсы напоминают розы. И все же, как никогда раньше, меня знобит от страха. Я весь дрожу... Зубы скрипят... Из последних сил стараюсь не показывать свое беспокойство...

Иду другими залами... Ощущение, будто золотые мосты разводятся у меня на пути... Хрустальные подвески бичуются головокружительно... И я чувствую себя таким же хрусталем, готовым разбиться...

Мой мозг изламывается. Прислоняюсь к стенам, чтобы не упасть...

Лорд еще не подошел. Он условился встретиться со мной вечером в доме маркизы...

Чего я опасаюсь? Его появления? Возможно. Однако, мне кажется, что, если я и дрожу, это скорее из-за его отсутствия.

— Где он может сейчас быть? Что он может сейчас делать?..

Эта последняя мысль мучает меня, словно, находясь вдали от меня, он может сделать мне плохо, вернее — *может сделать мне еще хуже...*

... Наконец-то, он пришел. Я немного успокаиваюсь. Он пришел еще более бледный. Цвет его волос изменился! Его шаги расходятся иными блестками...

**6 МАРТА.**

Как я могу так страдать...

И почему, Боже мой, почему?..

Что общего может иметь моя жизнь с жизнью этого странного субъекта?

Ничто не связывает меня с ним. *Никто меня не удерживает.* Я свободен, совершенно свободен. Если я захочу уехать завтра, или даже сегодня — я *могу уехать*. Никто мне в этом не воспрепятствует. И, возможно, именно поэтому я остаюсь на месте...

На самом деле, я не знаю, что меня влечет к этому человеку. Это ужасно: я не забываю о нем ни на минуту. Даже когда я рядом с ним, я не в состоянии забыть, что я — рядом с ним, именно так. Рядом с любым другим человеком мы забываем о его присутствии — *его присутствие вполне естественно*. Но не так происходит рядом с лордом — словно бы только благодаря чуду стало возможно, что мы стоим друг напротив друга...

Каждый раз я все больше сомневаюсь в том, что понимаю, куда я иду.

Меня посещает ощущение конца, в старинном серебре и фиолетовом цвете.

.....

**8 МАРТА.**

— Кто этот человек? Ах! кто этот человек?..

Ровным счетом, я ничего не знаю.

Я жажду расспросить его, во что бы то ни стало.

Но не осмеливаюсь задать ему прямой вопрос, что было бы естественным при нашей дружбе.

До сих пор моя единственная попытка была в присутствии парижского друга, который нас и познакомил. Я замер, ожидая ответа. Он только ответил мне, не задумываясь, что познакомился с ним случайно во время путешествия из Рима в Венецию — они ехали в одном купе...

#### 9 МАРТА.

Иногда я еще пытаюсь убедить себя, что все очень просто, вполне реально — что нет никакой тайны в этом персонаже — пусть и зловещем.

Ах, недолго длится обман...

И я начинаю замечать, что в его фразах, время от времени прерываемых, появляются, вот и сейчас, несвязанные слова, отдельные слова — напряженные, мертвые — которые выскакивают, как шлаки: тертые, сухо падающие...

Мало мне тревожных сомнений, удивления и страха — вот что еще я пережил сегодня вечером.

Мы поужинали в доме маркизы де Санто-Стефано.

Она представила нам некоторых гостей, которых мы не знали.

И я услышал, отчетливо расслышал, как маркиза, представляя, сказала:

— Лорд *Роланд* Невил.

Мой друг ничего не поправил.

Роланд и Роналд и в самом деле можно спутать в английском произношении. И все равно, мне не показалась естественной ошибка иностранки.

Казалось бы, чего проще мне подойти к другу и прояснить ситуацию. Я даже попытался. Тщетно... Готовясь указать ему *ошибку*, я почувствовал, что весь дрожу... и огненная печать сковала мне уста...

Таким образом, сегодня я даже не уверен в его настоящем имени.

— Куда я иду, Боже мой, куда я иду?..

#### 11 МАРТА.

Вчера после обеда мы оказались вдвоем на балконе отеля.

Внезапно лорд принялся рассказывать о чувстве тайны и страха... спрашивать меня о том, что и так меня пугало... Разговор плавно перешел на эту тему. Внезапно, смеясь во все горло, он сбивчиво попытожил:

— Эх! друг мой... эх! хэ-хэ!... может быть... друг мой... я уже испытал великую славу?.. Ночевать в огромном пустынном дворце... в темноте... и, перед тем, как заснуть, при силе концентрации... только при его желании... ха!-ха!.. населить фигурами пустые залы... во тьме... страшными фигурами...кесскррсссссс... уродливыми... хрипящими... шипящими... Прекрасно! Красота!.. Но я этого никогда бы не пожелал... Есть опасность... Что, будучи чрезвычайно реальными, личинки устремятся к нему... окружают его... и затопчут его... бледно-зеленые... скрюченные... rrrrrrrr...

Я смотрел на него в изумлении. Вокруг него был какой-то вязкий ореол...

Потом, уж не знаю сколько часов мы пробыли там вдвоем, не говоря ни слова — друг напротив друга...

.....

## XV

14 МАРТА.

Каждую ночь меня все сильнее охватывает ощущение «конца» — сейчас: огненными лучами. И я даже думаю, в шутку, что это уже не я, а если и я, то только мумия себя самого.

Я вращаюсь среди полихромных флюидов.

Весь я — обломки затонувших кораблей, украшенных черными флагами.

Тем не менее, среди этих чудес и моего страха, день ото дня все более наэлектризованного, вырывается радужный каприз собрать себя скорбно — но при этом прозрачно, окисленно, свежо...

Ах! но сегодня я услышал его; он не только потревожил меня — он также измучил меня: потому что его голос начинает действовать мне на нервы, как скрежет наждачной бумаги о железо — костный озноб, такой же, как от сильных кислот и холодных жидкостей на зубах...

Другая особенность: мы всегда беседуем на французском. В общем, я плохо знаю его язык. Сразу ясно —

это очевидно — что лорд не француз. Но у него нет английского акцента. Совершенно. И какого-либо другого иностранного акцента, который я бы знал: испанский, итальянский, русский, немецкий, восточный... Загадка в том, что он говорит, в общем, без всякого акцента. Известно, что он иностранец, но не по произношению... по чему-то другому; а его произношение более скрываемое, утерянное...

И я никогда не слышал, как он говорит не на французском — *даже со своими соотечественниками.*

Его голос напоминает мне тень.

В действительности, весь этот человек напоминает тень...

.....

## XVI

20 МАРТА.

О! могильный страх!..

Я пропал! Да, теперь у меня не осталось никаких иллюзий — я безвозвратно пропал.

Вчера вечером, когда электрическая вспышка внезапно осветила его лицо — обезумевший от страха, не в состоянии сдержать крик, я впервые заметил, что его подбородок кажется витой формы, тонким изгибом, мягким, неповторимым, схожим с тем подбородком смерти... *единственная черта, которую я увидел на лице девушки в маске...*



Что ждет меня, Боже мой, — всегда рядом с этим человеком, в осколках всех надежд, разбитых сегодня, — когда я однажды сбегу от него?..

## 22 МАРТА.

Этим утром он бросил мне, вскользь: не было ли мое преступление совершено раньше *им*...

## 23 МАРТА.

Точно — нет, но как точно: что-то ужасающее, галлюцинаторное привязывает меня к этому человеку. Я еще точно не знаю, что именно...

Я живу в непрекращающемся мучении. Я сам — мой надрыв. И мой страх, я встречаю его даже в жестях людей, которые разговаривают со мной, в глазах прохожих.

И какая победа в то же время! Моя боль перемешалась с Тайной — лепит меня из неизведанного, растягивает меня в непоправимое...

Вот сейчас перед моими глазами причудливо раскручиваются большие клейкие канаты из фиолетовой материи в капиллярные тончайшие волокна. И в часы моего наивысшего страха я чувствую — правда, чувствую — что в моей душе ездят маленькие поезда, их тянут за веревку — и что мои внутренности сократились до одной сложной системы колес из стекла и слоновой кости, маленькие разноцветные диски, заржавевшие стрелки — все крутится головокружительно, бесполезным движением часового механизма...

Время от времени среди зубчатых колесиков звучат острые звоночки электрических колокольчиков... загораются крошечные лампочки... смыкаются и замыкаются цепочки... и, что еще смешней, зажигаются — неожиданно, не знаю, откуда — тонкие струйки разноцветного спирта...

Я иду по улицам, рассеянный, обескураженный, заводя внутри себя, с трудом, этот смехотворный механизм — игрушку, да, детскую игрушку: но этого я и боюсь... боюсь и смеюсь саркастически...

И все мои нервы скрипят, как кости...

.....

Но почему я должен сожалеть? Мой Восторг, каким бы он ни был — пусть и проклятый — он же точно есть.

У меня есть чего хотеть: Тень.

**27 МАРТА.**

С каждым днем я все дольше нахожусь рядом с лордом. Так как в его присутствии мое мучение, в любом случае, уменьшается — я пленник его взгляда.

Вчера он поведал мне о своих владениях в Шотландии... огромный замок среди лесов...

И звук его голоса был таким зловещим при рассказе о своих владениях... Казалось, его гортань накрывает тень — возможно — тех вековых деревьев из его лесов...

Слушая его, я явственно увидел мое Королевство, появившееся давным-давно.

**29 МАРТА.**

Все больше и больше туман меня обволакивает — туман ненастья, угроза грома.

Я уже вижу, неописуемо, как, издалека, надвигается на меня тень — великая тень, острая, треугольная, с неожиданными вершинами...

**30 МАРТА.**

Возвращаются навязчивые образы лепных медальонов — позолоченных тусклым золотом, в которых сейчас, однако, размещены холсты... только холсты... холсты без портретов...

**1 АПРЕЛЯ.**

Последним усилием я пытаюсь выпутаться. Не столько чтобы убежать от безумия — сколько чтобы лучше измерить силу моей Тайны.

Но тщетно я силюсь пролить свет. Во всем встречаю мельчайшие уверенности, реальные, безошибочные — которые подтверждают мои сомнения в наивысшей степени.

Я не обманываюсь! Я не обманываюсь! Заблуждение и Тень существуют во Мне.

В то же время я предвижу, что самое фантастическое, наивысшее, самое темное, еще мне не открылось.

Подождем...

Для себя я закончил. Я проживаю свой конец. Вот только сколь долго продлится мой конец?..

**2 АПРЕЛЯ.**

Видны зеленые следы на пустых золотистых холстах.

**4 АПРЕЛЯ.**

Нежно всплывают детские воспоминания — чтобы немного раскрасить мой внутренний мир. Я сплю спокойнее, если, как дети, — накрою голову простыней.

Но ко мне пришло новое опасение: страх лунного света. Боюсь луны. Проклинаю ее, не знаю, почему...

**6 АПРЕЛЯ.**

Содрогания, которые меня тревожили, объединились все в одно острие.

**8 АПРЕЛЯ.**

Вот уже две ночи мне снятся огромные пожары в руинах.

**9 АПРЕЛЯ.**

В золотистых рамах появились незнакомые портреты.

.....  
 .....  
 .....  
 .....

16 АПРЕЛЯ.

Наконец-то — я знаю всё!

Ах! вот поэтому я и проклиная лунный свет...

Правда открылась мне, когда мы оба, беседуя вчера, остановились в лунном свете.

Не знаю, как я ее увидел. Но, внезапно, тайна раскрылась мне в этой алой точности, освещенная струями — роковая, непреклонная...

Да и не могло быть иначе. Конечно, этот человек должен был иметь какое-то отношение к моему секрету!

— *ЛОРД — ЭТО СМЕРТЬ ДЕВУШКИ В МАСКЕ.*

## XVII

17 АПРЕЛЯ.

«Конец», в черном бархате и крепе — совершился — поэтому.

Я уже не дрожу.

Я выскочил из своего внутреннего мира.

Внутри меня остановились колесики и стрелки, смолкли звоночки, погасли лампочки.

Я знаю свой неизбежный путь...

Для чего пытаться убежать от него?

Мои шаги сегодня и навсегда могут быть только его шагами...

Я окончательно погрузился в себя.

Я приближаюсь к великой Тени.

— Но куда мы отправимся... куда?..

Это будет последняя Загадка.

Потому что мы должны уйти, усилием воли...

.....  
.....

В загадочных рамах, наконец-то спокойных (раньше они все время сверкали), неизвестные портреты обернулись *его* портретом — одинаковые, в зеленом. Это — приговор.

**18 АПРЕЛЯ.**

Как бы там ни было, какой безымянный страх!..

**19 АПРЕЛЯ.**

Вчера мы должны были ужинать в доме маркизы де Санто-Стефано.

Однако в последнюю минуту *он решил*, что мы остаемся в Отеле — а сегодня, на Английской набережной все наши знакомые поворачивались к нам спиной! Среди них был и друг из Парижа, который нас познакомил.

Но, кажется, лорд его не заметил...

Меня бросает из пропасти в пропасть.

**20 АПРЕЛЯ.**

*Он ушел* на рассвете.

Я был один в своем номере, когда метрдотель позвал меня.

Он сказал мне, что одна дама, иностранка, чрезвычайно взволнованная, ищет *КНЯЗЯ* — что незамедлительно должна поговорить с ним... Речь идет о жизни или смерти. Если его нет на месте, она умоляет, чтобы, по крайней мере, ее выслушал его друг.

Мы побежали вниз, в холл.

Незнакомка исчезла...

.....

— Князь!..

**21 АПРЕЛЯ.**

Вчера покончила с собой маркиза де Санто-Стефано. Он предупредил меня за обедом, что мы сегодня уезжаем. Мы сядем на поезд на станции Виль-Франш.

Есть еще одна сила, которая ведет меня.

.....  
.....

— *Его смерть! Его смерть! Его смерть!..*

## XVIII

.....

По морю мы не плыли. Наше путешествие полностью проходило по железной дороге. И я затрудняюсь сказать, сколько дней оно заняло.

Экспресс летел с головокружительной скоростью, останавливаясь на редких станциях — станции эти я, однако, так и не разглядел, всматриваясь через оконные стекла.

Дрожащий от слабости, рассеянный от предзнаменований; к тому же, меня поражало то, что поезд двигался не горизонтально, а вертикально, проваливаясь в облака, которые пропитывали его через узкие поры — как и все мое тело.

В итоге, лишившийся внутреннего мира, изгнанный из него навсегда, я издалека (и очень неопределенно) чувствовал — могу сейчас лишь очень приблизительно описать, что я чувствовал. Только *его* глаза поддерживали еще мою жизнь — мои чувства, мои воспоминания.

Мы всегда находились друг напротив друга.

Глубокой ночью мы прибыли на огромный вокзал — на этот раз реальный, хорошо различимый. Но вокзал необъяснимый: пустынный, без начальника. По крайней мере, я не увидел ни начальника, ни солдат, ни носильщиков...

Нас ждал огромный серебристый вытянутый автомобиль заостренной формы. Мы сели. Головокружительней экспресса автомобиль мчался несколько часов. Во время пути мы не проронили ни слова. Я даже думаю, что мы вообще не проронили ни слова.

Ночь такой густой темноты, что даже сопротивлялась нашей машине...

Наконец, автомобиль остановился. Вокруг — одна темнота. Тем не менее, рядом, чувствовалась —



не виднелась, а предугадывалась в истечении высоты — тень огромного здания с башнями.

Мы вышли. Прошли по дорожкам сада — я полагаю. На лестнице, очень широкой, из черного мрамора — лакей в белоснежной ливрее держал едва светивший старинный канделябр.

Мы вошли.

В гостиной с невообразимо высоким потолком стоял длинный стол, накрытый на много персон. Везде тусклый свет.

Мы сели. Но никто не появился.

Мы выпили хереса. Я надкусил какой-то фрукт.

Он исчез...

Тот же лакей, долговязый, молчаливый, проводил меня по нескончаемым лестницам и длинным коридорам в огромную сводчатую комнату, где я и пишу эти страницы — при колеблющемся свете большой восковой свечи...

.....  
.....

— Где я, Боже мой, где я?.. Куда меня привели... что будут со мной делать... чего хотят от меня... к чему меня принудят?..

В моей душе еще остались воспоминания страха — такая зловещая ночь, такая закрытая Тайна.

Мои волосы похищены колдовством.

Мгновения обернулись железными статуями.

.....  
.....

Я смотрю вокруг. Внимательно изучаю полумрак.

По всей комнате танцуют тени: тени ползучие, тяжелые, твердые, которые летают без крыльев — и грустное пламя церковной свечи не может их прогнать.

В глубине меня ждет кровать — глубокая, бездонная — под балдахином из пурпурной дамасской ткани. Простыни из Бретани; покрывала из Индии.

Справа огромный платяной шкаф с зеркалом. Но я вздрагиваю... скриплю зубами от предзнаменования... Зеркало треснуто... и повешено вверх ногами...

Есть еще двери, точно на чердак, которые я не осмеливаюсь открыть, в ознобе — так же как и большое окно в глубине, которое закрыто на непомерно огромный шпингалет...

Там, снаружи, в галереях, во всем дворце — монастырская тишина.

В комнате сырой воздух — пропитанный запахами заговора, тупо бьющими.

.....  
.....

Внезапно я решаюсь...

Открываю засов... распаиваю окно...

Порыв ветра — ветра и еще чего-то не такого ошутимого — хлещет меня по лицу... вот-вот погасит свечу...

Я выглядываю. Одна темнота... Тем не менее, я различаю, что огромная глубина разверзлась подо мной...

Должно быть, я в башне...

Вдалеке — шумит море... наверное, море... или шелестит лес... Это злобещий звук трубы, тусклый — который на таком расстоянии может быть как от океана, так и от берез.

— Что там впереди? Что там внизу?..

Ни одна звезда не блещит... забытый свет...

Но вполне ясно, что большое пространство раскрывается и расширяется вокруг меня.

Можно сказать, что я в полной синеве, подвешенный — как в корзине воздушного шара...

Долгие минуты стою у окна.

Все та же темнота, тот же шум...

.....  
.....

Концентрируюсь в запоздалом усилии ясности.

Действительно, никто никогда не проживал Лучших часов.

Торжественная тайна!

— Где я? Что существует вокруг меня? *Что не существует?*.. что было вчера? что будет завтра?..

Я окружил свое творчество Звездой. На что еще я могу надеяться?

Падаю на кровать.

И только сейчас, в темноте, я осознаю, что здесь росписи — огромные темные фрески, шедевры светотени — на стенах, которые меня окружают. Я чувствую их, чувствую, как изображенные на них лица отражаются на моем теле — объемно, влажно...

.....  
.....

— Неужели я тоже усну?..

.....  
.....

Чтобы писать, снова зажигаю свечу.

Ад! Хватит грезить!

Пора просыпаться и спасаться.

Как бы там ни было, как бы там ни было, кто бы ни был — остальное рассеется, и я буду вынужден признать себя: так как я живу, живу, несмотря на...

Ощупываю свое тело... нахожу его всё... И мое сердце сильно бьется.

Пришло время спасаться.

О, Иллюзия! Иллюзия!

Не будем мечтать, — давайте удостоверимся в Триумфе. Будь проклят тот, кто по растерянности упустит огромную победу.

Моя скоро засверкает. И я узнаю! Узнаю! Узнаю!..

Все, только не это!

Пусть даже очевидно, что он — Князь.

Упустить столько мертвого Золота... разрушить столько тени... Нет! Нет!.. Наоборот... Нырнуть в нее хоть как-то... смешать себя с ней... узнать ее... познать ее за больший Выкуп!..

— О, Горностаевые экстазы! Распятый лунный свет... Сфинксы из Глубин...

.....  
.....

Потом все испарится перед этим Чудом. Скоро именно его я должен поймать Серебряным бунтом.

Удержать его, да, заковать его в нефрит — опий испаряющийся... пророческое сладострастие...

.....  
.....

Со мной — эти страницы моей красной тетради, тоже тайные, доверенные Высоте...

.....  
.....

Ветер сам, рывком, настежь распахнул окно.

Тени выросли — и сейчас их процессия, волоча балдахины, триумфально проходит...

В пустынных галереях, в этот апофеоз — ах! настолько! — идут вперед образы фиолетового тумана... так же как колышутся парчи в соседних залах, позолоченные, позвякивая в воздухе... и бьются гобелены... раскрываются портьеры...

.....  
.....

Проходят погребальные обряды...

Я — похороны в Мемфисе...

.....  
.....

... И открытое окно, широкое, бездонное, над ночью — плюшевое озеро, потаенная орхидея моего Упорства...

.....  
.....

Иди! Львино — враз!..  
Огромный прыжок!.. к Тайне... в Тень... навсегда...  
и к Золоту!.. к Золоту!.. к Золоту!..

*Лиссабон-Париж,  
апрель-сентябрь 1914 г.*

Перевод Марии Мазняк

Посвящается Жозе Пашеку<sup>1</sup>

# I

Боль была так сильна, что, прикладывая руку ко лбу, он ощущал весь свой скелет.

По широкому Проспекту его вез дребезжащий омнибус, и этот скрипящий шум, вместе с огнями фонарей, которые хлестали полосами света по трепещущему стеклу, повторял ритм метаний его души. Сегодня вся душа его состояла из битого стекла и ржавого металла.

Мастер рассеянно посмотрел вокруг. Он окинул взглядом окружающую его панораму, стараясь не упустить ни одной из ее многочисленных форм. Внутренняя обстановка омнибуса постоянно менялась в зависимости от внешнего пейзажа. На поворотах большие здания и деревья скользили мимо него полукругом, огни склоняющихся фонарей переплетались и, кружась, проникали в окна.

Затем в омнибус прямо на ходу запрыгнул какой-то господин с вывеской в руках. Следом появилась ми-

ловидная девушка, занявшая соседнее место. Лунный свет трепетал на ее коже, отражаясь в бусинках, проступивших на теле от бега, ведь она только что удрала от подружек, которые, смеясь, поедали испанские апельсины. Они были уже далеко, тоскующая декабрьская луна покрывала их фигуры платиновым светом.

Приглядевшись, во всем этом движении он смог различить воздушные потоки, которые сталкивались водопадами и тонули друг в друге, оттенки света на головах и цветных беретах, образы, которые то кружились, то замирали, приходя в странную гармонию. И все эти образы, то статичные, то сменяющиеся один другим, составляли новую красоту, несомненно, достойную кисти какого-нибудь бессмертного художника.

Перенося свое внимание на окружавшие его предметы, мастер видел ярко-красные кресла пустого первого класса, многочисленные физиономии пассажиров, которые постоянно смешивались с ускользающими лицами прохожих на улице, а когда движение прекращалось, он ощущал свою собственную дрожь...

Движение! Движение! — великое обновление, все умножающее, волнующее, сводящее с ума...

Почему так велико было его отчаяние? Именно потому, что жизнь представляла собой остановившееся существование души и тела, существование, где никогда ничего не происходило. *Его жизни как будто бы вовсе не существовало.* Поэтому в один из тревожных вечеров мастер принял пылкое решение не жалея сил искать ее, создать ее собственными руками, выкрасть ее из небытия. Тогда, жадно бросившись в мир, в раз-



нообразии жизни, он начал жадно искать ее повсюду... Но до сего дня так и не смог ничего для себя построить. Казалось, его характерной чертой было умение отдалять время, способом, противоположным тому, каким магнит притягивает железо. Вокруг него все кружилось и исчезало, в то время как он одиноко стоял в эпицентре. Когда его душа или тело перемещались, стремясь приблизиться к тому, что его привлекало — его место оставалось неизменным относительно окружающего, которое ускользало от него в далеком головокругении. Он был из тех, кто не хранит в ящиках стола ценные бумаги и не прячет свой бумажник. Творец. Кто знает, может, именно поэтому жизни для него и не существовало.

Гордость! Гордость! Но в любом случае избавление, сухая агония...

Он вышел на большой площади. Воззвав к самому себе, чтобы усилить боль, он наконец, увидел себя с полной ясностью.

Какое уныние! Его душа походила на огромный дом, загроможденный мебелью, обитой грубой тканью, — куда сквозь открытые окна врывался свистящий зимний ветер... и пыль покрывала стопки книг и рукописи.

Ничто его уже не привлекало и не будоражило. Он избегал вещей, которых не имел, а если вдруг приближался к ним, то бежал с разочарованием, как сбежал этим утром от светловолосой девушки, с которой обедал.

Затем — последнее мучение — душевное поражение, которое он ощущал уже физически, выражавшее-

ся в постоянной апатии, непреодолимой сонливости, постоянном желании жить с закрытыми глазами. Эта дремота, наполняя собой все его существо, разрушала его, как алкоголь: парализовала ум, опьяняла тело. Всем нутром он ощущал эту сонливость, подчиняющую себе его волю. Все тело его хотело закрыть глаза.

Ураган мыслей, разбуженный каким-то пустяком, пронеслся, словно вихрь, в его душе, и даже когда он на самом деле ни о чем не думал, он ощущал лихорадочную работу своего мозга. Этот жар не достигал лишь его слуха. Невыразимое мучение! Невыразимое мучение!

Ах, если бы он мог, наконец, отдохнуть! Он заранее видел себя в белоснежной больничной палате, где, чтобы больше никогда не вставать, он лег бы на большую кровать с чистой простыней.

Иной раз его бичевали неуместные мысли, в особенности смутные воспоминания и мельчайшие отголоски прошлого, проникавшие в его сознание без какой-либо причины. Именно так, внезапно, ему в подробностях вспомнился один из дождливых дней его детства, которое он провел на северном побережье — у себя на родине. Весь день хлестал страшный проливной дождь. В ночном небе отражались молнии, слышался гром, дул ветер, отчаянно свистящий в саду маленького домика и пробирающийся до мурашек. Это было на пороге осени. Сухие, уже мертвые желтые листья долго кружились, безжалостно стуча в оконные стекла. Но к середине следующего дня ненастье стихло. Иссяк ветер, закончился дождь, прояснилось небо. И солнце, грустное ностальгическое солнце осенних

вечеров, показалось мягким и нежно-золотым. Тогда со старой служанкой отца он пошел покупать кукурузный хлеб, тот самый горячий белый хлеб, который достают из большой деревенской печи. Ему вспоминались длинные узкие улицы серого цвета, едва освещаемые солнцем, и холодный запах, отдающий сыростью...

Но отчего же, по какой причине вспомнился ему этот обычный день из детства, дождливого и сырого? Почему? Потому что — с ужасом понял он — сейчас в нем было то же ощущение постоянного беспокойства. Да, сейчас в его душе была та же всепроникающая сырость, обрезающая крылья, внушившая ему отчаяние в один из холодных дней детства...

Слабым голосом какой-то нищий стал молить его о монетке. Это был старый человек с густой бородой, высокий, статный, дрожащий от холода. Мастер поднес руку к карману. Достал пару медных монет и протянул ему. Старик поблагодарил. Как много раз он оплакивал детство пожилых людей, которых уважал, так и теперь бесконечная жалость начала терзать его, жалость ко всем страдающим: счастливым, жалким, всем. Он чувствовал, что почти умирает от нахлынувшей нежности.

Погруженный в эти изматывающие мысли, он вернулся домой. Он жил в дорогой гостинице, в просторном, устланном коврами номере. Номер был удобным, но при всяком удобном случае, он пытался оттуда сбежать. Каждый раз, когда он оставался в этой комнате, особенно днем, ему казалось, что непристойные гримасы с картин выталкивают его, а стены вырастают вокруг, чтобы раздавить. Однажды ночью он проснулся в ужасе: вся комната сошла с ума, и если бы он не убе-

жал в коридор, то в яростном безумии стулья и шкафы красного дерева придушили бы его. Было понятно, что это всего лишь кошмар, и при всем ужасе такой нелепый, что, придя в себя, он расхохотался.

Вернувшись в номер, он сразу лег и, прежде чем заснуть, подумал: «Все мое страдание отсюда: я как лодка без швартовых канатов, плывущая по течению. Если бы я смог бросить якорь... Но где, где?..»

На следующее утро, проспав десять часов кряду, он очнулся, мертвенно уставший ото сна, чтобы прожить очередной такой же пустой день своей жизни...

Поутру он сразу вспомнил: «Какое странное было чувство вчера, когда я приложил руку ко лбу... Я ощутил весь свой скелет. Но это было особенное чувство. Я ощутил его тень. Так и есть: поднеся руку ко лбу, я понял, что тень, обволакивающая мой скелет изнутри, исчезла. Это было оно — ощущение сильнейшей боли, я понял. Но почему? Почему? А что если я сошел с ума?..»

Мастер часто думал о самоубийстве как о средстве излечиться от своей тоски. И тогда его терзала бесконечная нежность, безграничная жалость к самому себе. Должен ли он сам себя уничтожить?.. Возможно, это и было решением... Как грустно! Он видел себя человеком, несущим драгоценный груз по мосту и в отчаянии и бессилии бросающим этот груз в реку в двух шагах от конца пути.

Неоднократно и каждый раз окончательно он принимал решение пустить себе пулю в сердце. Даже купил пистолет. Но, в конце концов, всякий раз с радостью отказывался от этой идеи, впрочем, эта радость быстро рассеивалась при мысли о том, что, даже не убивая

себя сейчас, он должен будет умереть позже. *Может, по крайней мере, не совершая самоубийство, он избавлялся от смерти...*

## II

Да, нужно было цепляться за жизнь, жить ради своих творений.

Совсем недавно он получил письмо от одного близкого друга. В ответ на стенания и жалобы на одиночество его друг писал, сперва долго извиняясь за такое банальное средство для такой гениальной души, что, возможно — даже несомненно — трудные времена пройдут, если он захочет найти себе нежную и ласковую подругу, которая будет его хоть немного понимать и оживать рядом с ним. Одним словом, которая станет смыслом его мучительного существования.

Это правда: до сего дня его жизнь сопровождалась падениями и стенаниями. Обоженный, внутренне измученный, видевший все и ничего до конца не познавший, он чувствовал себя ребенком, который, в стремлении поиграть разом во все оказавшиеся в его распоряжении игрушки, набрасывается на них, едва касается каждой, тут же устает, разочаровывается, и, зная, что с каждой из них можно делать, ни с одной не играет по-настоящему.

Какую-нибудь подругу... подругу... Может быть, невесту... Иногда, в часы нежности, он переживал тос-

ку по белым рукам, которые сжали бы его пальцы... и по влажным губам, склонившимся над ним... и по белокурым косам, пахнущим юностью и любовью...

...Дорожки большого поместья, здоровый, бодрящий воздух, доверие, искренность, покой...

Поэтому он ответил другу, что незачем просить прощения за этот совет. Ах, если бы такая подруга существовала... если бы он ее встретил... Да, да, видимо, это и было бы спасение...

Искать ее?..

Но для чего ее искать?

Если бы он был, как все... Но нет. От любви он требовал, чтобы это была именно любовь. А любви не существует.

Не было ни порывов страсти, ни удивительной утонченности, ни скрытой безнравственности, о которых он мечтал. Лишь одно требовалось: душа, которую он знал бы во всей полноте, и которая абсолютно знала его. В таком случае их бы объединяла величайшая привязанность. И он принимался воображать призрачное существование: он, Мастер, создающий свои бессмертные шедевры, выстраивающий одну за другой свои мечты; и, оглядываясь с высоты назад, он видел свою жизнь, освещенную тихой зарей: искреннюю подругу, маленькую блондинку, которая дополняет и согревает его существование. Нежные руки и распустившиеся белые розы.

В глубине души ему очень хотелось жизни. Ах, только не нужно воображать его блуждающим по чужим землям или закрытым в какой-то заоблачно высокой башне из слоновой кости. Он просто любил жизнь,

очищенную от всего, что вызывало у него тошноту. Впрочем, что ему действительно опротивело, так это повседневность...

Нет, решено, он не создан для счастья.

Средство было только одно: сдаться и жить, либо выиграть и умереть.

Он уже пытался несколько раз, хоть и смутно, искать себе такую нежную подругу. Но всегда в ужасе убегал, едва приблизившись, осознав пропасть, что отделяла его от любой очаровательной женщины. Фразу, которую он написал одной из них, можно было бы применить ко всем: «В твоей жизни, любовь моя, я не был даже тем, кто прошел, кто возник — я был исчезнувшим».

Непонимание!

Оно было препятствием, на которое он все время наткался и которого не мог избежать, оно было необратимо и слишком хорошо ему известно.

Впрочем, это происходило со всеми людьми — вечными изгнанниками. *Большинству* людей хватало взгляда, смутного сигнала с каждого из краев пропасти. И никто не пытался хотя бы приблизиться к тому, что существовало помимо пропасти! *Как будто это было невозможно.*

Если пожилые супруги, пройдя вместе многие годы повседневного совместного существования, ни разу ничем не омраченного, осмелятся присмотреться друг к другу — произойдет судьбоносное знакомство двух чужих людей, разделенных тысячью пустяков: тысячью маленьких неправд, незначительных преда-

тельств. Их души никогда не знали друг друга, пусть они и искренне верили в свою дружбу и любовь.

...Ведь в нормальной жизни дружба — не более чем фальшивая идея, предрассудок, который мы малопомалу приняли. А любовь... Всего лишь дешевая литература и влажные спазмы страсти, которые будоражат наше тело и облегчают ношу жизни.

Впрочем, мастер был согласен с тем, что открыть душу другому — чрезвычайно сложно. Даже когда мы хотим облечь ее в слова перед близким другом, от нас всегда ускользают неуловимые детали, которые мы не можем объяснить, вероятно, в силу недостатка слов, которые, как нам кажется, могли бы ее описать. Мы вздрагиваем под густой вуалью, которую не осмеливаемся приподнять, *чтобы не тревожить собеседника, который мог бы нас понять иначе — без слов.*

Вот почему мастер иногда опасался: «А не тайна ли — сама душа?»

Ах, если бы он хотя бы страдал... Да, возможно, в страдании он нашел бы смысл жизни, ее истоки. Он почувствовал это однажды ночью, шагая в одиночестве по узкой улочке, полный грусти, вдруг осознав себя намного более счастливым, чем совсем недавно, а свою жизнь — полной и прекрасной. И, может статься, именно поэтому, непреднамеренно, но утонченно, он прези-  
рал те редкие моменты, которые, умножившись, могли бы наполнить его жизнь золотым светом. Он предпочитал морщиться от страданий и оттого становиться более чувствительным. Так и в этот вечер: исполненный нежности и волнения, жаловавшийся, что в его жизни



никогда ничего не происходит, он отверг милую девушку, которая так приветливо улыбалась ему на бульваре. Вместо того, чтобы пожать ее руку, он наговорил всяких небылиц, безжалостно попрощался с ней и потерял ее навсегда...

Но на самом деле он даже не страдал. В его душе все изменялось; растворялось в литературе. Из своей реальной боли и беспричинной грусти он создавал шедевры. Чудесные чувства, которые пробуждали в нем и боль и грусть, уже не причиняли страданий, и он благословлял их и восхищался ими.

Во многом, его боль была грустью, которая остается нам после прочтения какой-нибудь бессмертной и печальной книги.

Этим прекрасным зимним вечером он испытывал всю полноту чувств. Толпа наполняла бульвары великой европейской столицы — толпа современная, латинская и абсолютно цивилизованная. И художник, который с таким удовольствием плыл по волнам современной жизни, подхваченный ее течением, был почти счастлив. Словно алкогольный экстаз, его захлестнула городская суета...

Растворившись в безоблачном энтузиазме, в жажде приключений, он оказался в полусне, в смутном опиумном тумане. Наконец, он нашел себе подругу — в лучах малинового заката, в чудесном саду большого королевского дворца, древнего, похожего на замок. Все было призрачно... Он познакомился с ней случайно, и сразу, с первых слов, в нем затрепетало узнавание... Затем, с течением нежных вечеров, постепенно,

она дошла до его души — тенью, нереальностью... Нет, это не было ошибкой! Он нашел ЕЕ, рядом с ним, наконец, была ОНА!.. Ее душа могла мечтать вместе с ним и больше не имела от него секретов... Начало! Начало!

И он жил, создавая тысячу нежных моментов, банально повседневных, вплоть до полного осуществления своего стремления. Он блуждал по сельским пейзажам, где его счастье расцветало, обрисовывал ее чарующий профиль, косы, драгоценности, босые ступни в холодной воде ручья, румянец, поцелуи и улыбки, вуаль, цепкие пальцы и блестящие красные ногти...

Но внезапно резкий звук заставил его проснуться, и тут же неудержимая ярость овладела его сердцем. Как могло с ним случиться подобное, если он все это вообразил? Довольно было однажды представить сценарий, сюжет, образ, чтобы никогда потом не покинуть эту панораму, чтобы прожить этот эпизод и познакомиться с персонажем. Мечты не сбываются. Да, это был всего лишь сон...

Для него не существовало морального отвращения, лишь отвращение физическое, в каком-то смысле, самое сильное. Он считал, что способен украсть, но не убить.

Наверное, это и был секрет его одинокой жизни. Вот, вероятно, почему его жизнь сводилась к моральному, то есть — нереальному.

Его беспокоило то, что из всего этого он в действительности носил в себе лишь непреодолимую тоску, а над собой — золоченый нимб гордости, гордости такой невероятной и завидной, что, возможно, именно она и была причиной безысходности, которую он видел повсюду.

Внезапно, не понимая, как именно, он оказался в большом, старинном романтическом саду. Он шел по дорожкам сада и умилялся, ощущая влажность воздуха, вдыхая здоровый запах цветущих деревьев и разглядывая детей, которые бегали босиком по небольшим полянам, и белокурых девушек, читавших стихи, или, рука в руке, беседовавших со своими кавалерами, такими же молодыми, как они. Простые, счастливые люди...

Дети...

Вокруг теперь была целая стайка. Неподалеку издавала скрипучую музыку шарманка. Приблизившись, он остановился перед детской каруселью... Она вертелась и кружила голову ярмарочной радостью, неся рой хохочущих и уверенных в себе детишек на слонах и голубках, львах и пчелах, пантерах и лебедях.

Вспоминая свое детство, художник переживал такую тоску, такое умиление и смущение... Только в то далекое время он и был счастлив — у него было все. Но почему? Он ясно понял в этот миг — у него перед глазами был пример: у детей нет чувства невозможного, *они могут прокатиться и на льве, и на пчеле...*

### III

Каждую ночь его тоска становилась все острее. Сильнее, чем когда-либо, он ощущал жгучую необходимость причалить к берегу. Когда он с отвращением

оглядывался на свое существование, к нему приходило бессвязное и странное чувство, что время волочит его за собой в стремительном беге, но при этом вокруг него ничего не меняется...

Если он делал шаг назад и трезво оценивал свою жизнь, то испытывал жгучую горечь и не мог справиться с этим ощущением. Он соглашался — вот оно, его будущее: миг за мигом он приучал себя к мысли о самоубийстве. В один роковой час к нему должны были прийти силы уничтожить себя, стать, наконец, поверженным, раз уж победить было невозможно. Положить конец этому невыносимому, склизкому, застоному, липкому...

С тех пор это было его единственной надеждой. Но надеждой печальной, к которой он прибегал ради забвения, забывая себя самого и обезболивая себя повседневной жизнью...

Как обычно в конце дня он одиноко блуждал по городским улицам...

Внезапно, широким жестом, кто-то протянул ему руку... Это был какой-то знакомый, с которым его ничто не связывало, давно уже не попадавший на глаза, с которым он до тех пор едва перекинулся парой слов...

.....

... Ночью, по дороге домой, мастер вспоминал приятные часы, проведенные с этим иностранцем. Какую открытую, широкую и глубокую душу он в нем нашел...

Они мало говорили об искусстве, быстро соскользнув в порыве откровенности к описанию собственных душ. И сколько общего они нашли друг в друге! Как и мастер, иностранец бредил великими идеями — и так же впадал в апатию и отвращение. Он даже сознался, что порой его охватывало горячее желание обезуметь до такой степени, чтобы покончить со своей жизнью, каким угодно способом, только бы не думать больше о ней. Самоубийство вызывало у него омерзение — он жаждал жизни... Безумный, он существовал бы — умерший для стремлений, успокоенный морфином, но, при всей сокрушительности безумия, оно бы никогда не было настолько разрушительным, как его стремления. Мастер с ним согласился. Сойти с ума — какая победа!.. И принялся говорить о себе. Рассказал, как ощущает, что плывет по течению в лодке без якоря, опьяненный золотым отсветом глубокой воды, влекущей его в неизвестность. Описал свою тоску. Поведал вечный секрет души. Иностранец заметил:

— Это ужасно, это ввергает в отчаяние. Две преданные и сплоченные души разделяет вихрь мелочей, со временем превращающихся в тучу, темную и неотвратимую. *Но, кто знает, может именно для этого они и существуют...*

Итак, в конце концов, он нашел себе замечательного приятеля — он, кто так долго не мог встретить близкого человека. С этого началась их дружба ...

Неделю его нового друга не было видно. В течение этого времени тоска была еще пронзительнее, чем обычно. Казалось, мастер действительно дошел до предела.

Сойти с ума! — ах, если бы это было возможно! Безумие стало бы его победой!

Его мозг, склонный к воображению, принялся неустанно трудиться над этой идеей. Он быстро вообразил субъекта, который, в стремлении обезуметь, вышел бы на улицу и внезапно выстрелил в первого встреченного им человека, которого бы даже не знал. Конечно, этим человеком оказалась бы миловидная блондинка, одна из тех которым всегда и во всем отдается предпочтение. Так в трагедии появилось бы немного нежности. Ведь человек, убивая кого-то, прежде никогда им не виденного, совершил бы неоправданное действие, то есть, акт безумия. Его бы арестовали. Он бы объяснил свое преступление так: это было для того, чтобы сойти с ума, совершив необъяснимую вещь — убийство, и потом прибавил бы как смягчающее обстоятельство причину выбора жертвы. На первый взгляд, этот человек мог и не показаться безумным — у его преступления был мотив — желание сойти с ума. Но, видит Бог, такой мотив, как ничто иное, доказал бы его безумие: лишь безумцу мог прийти на ум подобный замысел. В конце концов, убийца не понес бы наказания и, конечно, его бы отправили в сумасшедший дом...

Но на самом деле, находясь в таком пограничном положении, был или не был этот человек безумным? Тайна. Ведь он пришел к этой очевидно безумной ситуации путем логичного рассуждения, добровольно и целенаправленно.

Так, поставив себя на место собственного персонажа, мастер сразу заключил, что человек этот, *еще даже не будучи безумным*, должен был, несомненно,

сойти с ума — по меньшей мере, после заключения его в сумасшедший дом: от желания освободиться и понять, достиг ли он своей цели.

Да, подобное лихорадочное головокружение, должно быть, оглушило его, роковые идеи роились и вызывали беспокойство, особенно когда сгущались сумерки...

...И от этой странной мечты мастеру, конечно, осталась лишь тема для одной из запутанных новелл. Впрочем, с ним всегда происходило одно и то же — и с его безумием, и с его грустью, и с его болью. *Поэтому он никогда не воспринимал себя всерьез.*

Физические страдания, к которым его привело отчаяние, сейчас особенно мучили мастера: все то же опьянение, та же сонливость в теле. Раньше и это непреодолимое желание спать, и лихорадка изможденной души, распространялись по всему его организму, однако сейчас в сонном теле были небольшие участки, ясные и вполне проснувшиеся области. То, что больше всего наводило тоску, странным образом также погружало в оцепенение и вызывало этот ужасный упадок сил.

Прошло несколько дней. Он вновь встретил иностранца.

Теперь друзья почти не расставались, каждый день они проводили вместе по несколько часов, и однажды друг пригласил мастера к себе домой — на ужин. Он жил с семьей: отцом и двумя сестрами, в прекрасном поместье в окрестностях мрачной столицы.

Новый друг хотел прочитать мастеру свое стихотворение, показать книги и цветы в своем саду. Он так настаивал, что, даже предпочитая отказаться, мастер принял приглашение.

Возвращаясь к себе, он вспомнил, что это был первый раз, когда кто-то звал его на ужин — в свой дом, в свою семью...

## IV

...И теперь он постоянно пересматривал наяву прежний сон, полными ароматов вечерами, в компании любящей подруги, в нехитром саду уединенного поместья, куда переехали молодожены, в южной стране — на родине мастера, на земле, щедро одаренной солнечным светом.

Чудо! Чудо!

Когда друг представил ему старшую сестру, кто бы мог сказать, что в ее прекрасном и легком маленьком теле воплотятся его мечты?.. Но затем, постепенно, переходя от одного восторга к другому, он узнавал в ее душе ТУ, кого никогда не надеялся встретить — какой тонкий и пытливый ум! Призраки, наконец, рассеялись, он не предстал перед реальностью, он был спасен. Прекрасная победа! — у него был *кто-то*, кого он почти полностью знал, кто не был ему чужим, странным незнакомцем. Тот, кто, в свою очередь, понимал его, и от кого у него не было секретов.



Свет! Свет! Она перебросила мосты над непреодолимой бездной — лучезарный победитель тьмы, и впервые две души были там, лицом к лицу, освобожденные от тайны!..

Усилие, чтобы оборвать тонкую золотую паутинку, и будет вечной его слава...

.....

Ах, как же ослепительно счастлив он был сегодня...

В округлые и здоровые ладони он вкладывал свои нетерпеливые пальцы, ему хотелось целовать блестящие губы, блуждать руками по нежному телу. Он чувствовал жизнь внутри себя, тот, кто всегда жил в смерти. У него, наконец, появилось то, чего никогда не было прежде. Теперь, когда он проникал в тело юной возлюбленной, молодой супруги, которая отдавалась ему всем существом и пылала от смущения, бесконечная гордость зажигалась в нем, потому что в его руках, от восторга и удовольствия трепетало, именно трепетало, не только тело — как раньше — но и душа. И с трепетом ее тела смягчалась его душа, ведь он обладал ею телесно, ослепленный желанием в лунном свете, влекущей агонией, дрожью в золотых отблесках, бессловесной и прозрачной нежностью...

Ночь за ночью, триумф становился все отчетливее, чувственнее. Но все еще чего-то не хватало — слабого света — чтобы подойти к концу, выйти за пределы; он смутно предвидел движение на Восток, отраженное эхом стройных запахов и звуков.

Да! Да! Он воспрял! Он перестал быть чужим, больше ничто не отделяло его от родной души! Идеаль-

ные, героические и близкие товарищи взаимно узнали друг друга в этих двух душах. Намного больше нежности вызывала у него та душа, от которой у него не было секретов, чем все остальные, сокрытые тайной.

Ах, как страдал он когда-то, в моменты боли и нежности, в желании упасть в объятия кого-то, кто без слов понял бы его хоть немного, почувствовал бы, пусть лишь отчасти, его боль. И пред лицом полнейшего непонимания даже со стороны немногих верных друзей, которые ценили его, но, несмотря на это, так по-детски ранили, сколько раз его душило яростное желание, желание извращенное, бросить в них свою душу, словно золотой шар, переливающийся огнями... И пусть бы они ее измазали грязью, разбили, ах, пусть бы растоптали!..

Но сегодня он победил. Нереальность! — у него было то, о чем он мечтал! У него была нежная подруга, чьим мягким рукам он мог молчаливо довериться, которая в тишине могла угадать секреты его души — мельчайшие невыразимые вещи; у него была она, та, что чувствовала всю его душу так, как чувствуют гениальное произведение искусства.

В первый раз он был не один. На самом деле, так как никогда прежде у него не было ни с кем отношений, он всегда ходил в одиночестве, даже в компании друзей он ощущал себя отсутствующим. Разве что за границей жил немного более оживленно, но в длительные периоды одиночества, из-за постоянной погруженности в самого себя, которая была тем интенсивнее, чем меньше его затрагивала повседневная жизнь, он лучше понимал происходившее в нем и жил замкнуто.

Теперь, в общении с другой душой, он, казалось, нашел свой идеал, жил по-настоящему не один.

Он часто ощущал, что ему не хватало чего-то, чем обладали другие. Он не знал, чего. Впрочем, что бы это ни было, он был уверен, в какой-то момент это станет известно. И да: сегодня он заполнил эту пустоту. Всё.

Действительно, только сейчас он познакомился с собой — обладая тем, кто его знал. Он ликовал. Он перестал быть одиночкой — но истинно, а не лицемерно, как другие.

В этой теплой и ласковой атмосфере его тело стало свободным, тело, которое прежде, казалось, постоянно было опутано, скручено, оплетено чем-то невидимым.

Иногда, очнувшись от задумчивости, он с воодушевлением замечал перемены в своей судьбе. Как будто кто-то изменил сценарий его жизни. В нем взошло победное рассветное солнце. Все тучи рассеялись, и заблестело золотом светило. Серый полумрак растворился в голубом свете. Так бывает, когда люди, вернувшись домой после долгой поездки, снимают чехлы с мебели, и заново расставляют на комодах и в сервантах серебряные часы и золотую посуду...

Теперь внутри себя он проходил по широким проспектам, в то время как прежде натыкался лишь на дворы и тупики.

Ему больше не хотелось растянуться во весь рост прямо на улице в какой-нибудь европейской столице, и застыть в том же положении, в каком лежат под землей мертвецы.

Его душа всегда была узким каналом, липким и зловонным, иногда превращалась в болото, а сейчас стала белой башней, возведенной посреди моря.

Наконец, его жизнь бросила якорь в светлой просторной гавани, полной солнца, флагов и гомона, огромной, с покачивающимися мачтами и парусами.

Так представлялось ему и будущее.

Поместье, куда они переселились, прекрасно дополняло их безоблачное счастье. Оно напоминало благородный английский коттедж, покрытый пологом глициний. Молодой, зеленый сад, заросший травой и наполненный ароматами, дышал свежестью и здоровьем. А вокруг — огромное пустое пространство. По соседству с ними было лишь одно поместье, где жил безумный поэт и его слуга. Садовник и старая служанка заботились о молодых.

Впрочем, столица угадывалась вдалеке беспокойными огнями и смутным эхом движения и цивилизации, которое острее позволяло почувствовать спокойствие и отдаленность их волшебной обители.

.....

Да, да! — теперь в его жизни был смысл.

Отныне все его будущее будет благословенно: новые ароматы, новые звуки, иные цвета на бесконечном золотом и лазурном фоне. Теперь его произведения создавались спокойно, без метаний, в мире, при идеальной температуре — и никогда он не останется больше без нежного плеча, к которому можно склониться в трудную минуту.

Он был готов ликовать в последней победе — абсолютном единстве двух душ. И так велико было счастье мастера, так полно воплотились его мечты, что его даже посещало странное желание умереть вместе с розовощекой возлюбленной. Но это желание быстро развеивалось страстью жизни, восторгом от холодных рук, коснувшихся его пальцев.

Однако вместе с мыслями о смерти посещало его также и одно сомнение — тревожный вопрос: *Могут ли на самом деле пасть все преграды между двумя душами?..*

Той ночью он решил найти ответ. Да, ночью — решено — он выйдет за пределы собственного счастья: тонкая золотая паутинка, пусть и прозрачная, но разделявшая две души, должна была, наконец, исчезнуть.

Его триумф был безграничен, когда, поднявшись к себе, он обхватил тело сияющей возлюбленной и впился в ее губы... и тени их слились воедино...

## V

Безумие поэта, который жил по соседству, было тихим и эфемерным, кораблекрушением посреди нереальности. Друзья, из сострадания, избавили его от сумасшедшего дома, изолировав его в тихом и приятном жилище.

Но эту ночь он провел в крайнем беспокойстве. В какой-то момент он вдруг захотел выйти на балкон.

Оказавшись там, он облокотился о перила, оглядывая пространство. Затем вернулся в комнату.

Было около трех часов ночи, когда он поднялся с постели и снова выбежал на балкон. Вдруг — как на другой день рассказывал слуга — его глаза закатились, тело затряслось, и, указывая на соседнее поместье, на окно в комнате молодоженов, он издал пронзительный вопль. Потом, в бреду, он увидел, как из этого окна извергается пламя, странная огненная волна, или, скорее, светящаяся субстанция, которая отскочила от подоконника, изогнулась дугой, разошлась волной и, поднявшись, полетела...

.....

На следующее утро старая служанка пошла их будить, так как было уже одиннадцать часов, а хозяева всё не спускались — они, такие ранние пташки. Она стучала в дверь, звала их, кричала... Не получив ответа, решила войти. Но, — странное дело — дверь была заперта изнутри, в то время как обычно они оставляли ее приоткрытой, чтобы в комнате было прохладней. Служанка испугалась и побежала рассказать об этой странности садовнику, который, тоже поднялся к комнате молодых. Позвал. Никто не откликнулся, и тогда он решился, наконец, выломать дверь, ключ от которой оставался в замке с внутренней стороны...

.....

.....

На большой кровати безмятежно спали влюбленные. Мирно спали, только тела их были твердыми и холодными... и никаких следов насилия или борьбы.

В комнате — ничто не указывало на преступление. Все на своих местах. Драгоценности на туалетном столике. Никакого оружия. Никакого флакончика, который мог бы содержать яд. Ничего, совсем ничего. Ни следа, ни отпечатка. Дверь закрыта изнутри. Только окно приоткрыто. Но окно находилось на уровне третьего этажа, и невозможно было приставить к нему лестницу, не оставив следов и не помяв глициний.

В ходе расследования выяснилось только то, что безумный поэт провел ту ночь в необычном возбуждении и утверждал, что видел, как из окна комнаты извергается пламя, огненная волна, или скорее, светящаяся субстанция, которая отскочила от подоконника, изогнулась дугой, разошлась волной и, поднявшись в воздух, полетела...

Триумф? Колдовство?

— Тайна, волнующая тайна...

*Лиссабон — август 1913 г.*

Перевод Маргариты Козарович

Посвящается

Жозе Паулину де Са Карнейру<sup>1</sup>

Я никогда не знал его имени. Полагаю, он был русским, хотя и не уверен в этом. Я, невезучий студент медицинского факультета, познакомился с ним в Париже, в роскошном ресторане Шартье на бульваре Сен-Мишель.

Вечерами мы сидели, каждый за своим столиком, пока однажды не завязался разговор.

Он был оригинален и очень интересен: необычные суждения, странные идеи. Слова его были небанальны, жесты — экстравагантны. Этот человек казался мне загадочным. И, как подтвердилось позднее, я не ошибся: *это был счастливый человек*. Да, именно так: совершенно счастливый человек, настолько, что ничто не могло омрачить его чувства. Я даже говорю иногда своим друзьям, что самым невероятным случаем в моей жизни стало знакомство со счастливым человеком.

Эта тайна открылась мне в один из дождливых дней, беспокойных и зябких. Я начал проклинать



жизнь, и он, не свойственным ему тоном, поддержал меня:

— Вы правы, совершенно правы! Жуткая штука — жизнь, причем, настолько, что прекрасной стать не может! Взгляните на человека, у которого есть все — здоровье, деньги, признание, любовь. Невозможно пожелать ему большего, ведь всем прекрасным, что существует, он уже обладает. Нельзя быть более удачливым, и это — несчастье. Ведь нет ничего хуже, чем невозможность желать!..

«И поверьте, чтобы достичь этого бедственного положения, нужно не так уж много. Жизнь, на самом деле, так бедна и однообразна... И так во всем. Скажите, разве вас еще не тошнит от еды, которую вам подают с тех пор, как вы родились? Конечно, тошнит. Однако вы не можете отказаться принимать пищу, не подвергая опасности свою жизнь, которая и без того хрупка и зависит не от вас. Пригласите лучших поваров. Все дадут вам мяса и овощей — полдюжины видов растений, полдюжины видов животных. Ведь все земное разнообразие ограничивается растениями, животными и минералами. Вот, что наглядно доказывает непостижимую скудность Природы!

«А чувства? Назовите мне хоть одно, которое, в конечном итоге, не сводилось бы к любви или ненависти. А ощущения? Их тоже всего два: радость и боль. В жизни, очевидно, всё парами — как мужчины и женщины. *Кстати, знаете ли вы что-нибудь более прискорбное, чем это деление на два пола?*

«Но вернемся к материальному миру. Придумайте мне какое-нибудь развлечение, помимо религии, искусства, театра и спорта. Уверю вас, не найдете.

«Несомненно, лучшее, что существует в жизни — движение, ведь когда оно идет со скоростью времени, мы забываем о времени. Идущий поезд — это машина, поглощающая мгновения, и — лучшее из того, что придумано людьми.

«Путешествовать — это проживать движение. Но, спустя некоторое время, нас настигает ощущение монотонности земного путешествия, и мы начинаем зевать. Со всех сторон один и тот же вид, одни и те же пейзажи: горы или равнины, моря, леса, луга. Одни и те же цвета: синий, зеленый и серо-коричневый. На севере — безграничная, слепящая белизна — чистейшее воплощение монотонности. У меня был друг, который покончил с собой от невозможности познать другие цвета, иные пейзажи, кроме существующих. И я, на его месте, сделал бы то же самое.

Я улыбнулся и иронично заметил:

— Но не сделали...

— Ах, за кого вы меня принимаете?.. Я ведь знаю другие цвета и иные пейзажи. *Я знаю то, что хочу! У меня есть то, чего я желаю!*

Его удивительные голубые глаза горели, он приблизился ко мне и прокричал:

— Я не такой, как все! Я счастлив, поймите это, *я счастлив.*

Его поведение было таким необычным, а тон таким странным, что я почувствовал неодолимое желание положить конец этому разговору, полагая, что слушаю сумасшедшего. Но не было повода. Мне пришлось остаться, и тогда незнакомец сделал мне следующее внезапное признание:

— Так и есть. Я счастлив. Я никогда не рассказывал никому своей тайны. Но сегодня, не знаю, почему, вам я ее открою. Представьте, как бы я влачил жизнь? Грустное подобие самого себя! Я полагал бы себя на хорошем счету. Если бы я жил, я бы давно умер для жизни. Моя гордость безгранична, для меня высший стыд — существовать для жизни. Я неустанно кричу об этом: человеческая жизнь невозможна, в ней нет разнообразия, оригинальности. Я сравниваю ее с меню в ресторане, где все блюда одни и те же, что на вид, что на вкус.

«Впрочем, пусть! Я смог разнообразить существование, и делаю это ежедневно. У меня есть не только то, что существует, понимаете? У меня также есть все, чего не существует. (Ведь только несуществующее прекрасно!) Я проживаю часы, которых до меня не проживал никто, время, созданное мной, чувства, придуманные мной, мои собственные желания. Я путешествую по дальним странам, к загадочным народам, живущим только для меня, *не потому, что я их нашел*, а потому, что я их создал. Я создаю все. Однажды я приду к идеалу — но не получу его, а построю. Я уже предвижу его — фантастическим... изящным... возвышающимся в синеве неба... созданным из побед... блестящим, как золото... нет, не золото, какой-то более таинственный металл...

«Очевидно, однако, что мне не хватает слов, чтобы описать чудеса, которых не существует. Ах, идеал... Идеал... Сегодня ночью он приснится мне... Ведь именно в сновидениях я и живу... Понимаете? *Я научился управлять снами*. Я вижу то, что хочу. Проживаю, что хочу.

«Мои прекрасные путешествия! Я расскажу вам о некоторых из них... Самым фантастическим было то, которого я больше всего опасался.

«Я очень устал от света. Все страны, в которых я побывал, все пейзажи, которые созерцал, были полны либо дневного света, либо, по ночам, света звезд. Ах, как беспокоил меня этот постоянный свет, утомительный, все время один и тот же, *постоянно отбирающий у вещей их тайну*... Итак, я отправился к затерявшейся в нереальном мире и неизведанной земле, где города и леса постоянно погружены в густую тьму... Нет слов, способных описать красоту этого особенного места. *Потому что я видел мрак*. Ваш ум, как и ум других людей, конечно, не может это понять...

«Огромная столица... Длинные бульвары, *поднимающиеся все время вверх*, окаймленные высокими деревьями... Тысячи людей шли по ним в тишине, транспорт — поезда, большие omnibusы, автомобили — проезжал с мрачным гулом. *И все это сливалось в музыку!* Ах, какой страшный озноб охватил меня, сладостный и неведомый, словно все мое тело растворилось в этой музыке! Моим глазам открывалась таинственная жизнь, в которую не проникал свет! Величественное и ужасающее зрелище! Я видел тьму! Я видел мрак! В каком-то потерянном закоулке я видел целующихся влюбленных. Ах, какими прекрасными должны быть страстные поцелуи в темноте и сгустившемся мраке! Чуть дальше я наблюдал кровавую сцену: удары, крики боли... Никогда больше я не переживал столь страшных минут... В окрестностях я видел лозы с налившимися гроздьями, поля спелой пшеницы, луга и фрукто-

вые сады, в которых танцевал ветер... Вся жизнь, вся полнота жизни в крошечной темноте!.. Какая победа! Какой триумф!..

«Но лучшим достижением было путешествие в идеальный мир, где люди не были разделены на всего лишь два пола... Я наблюдал лабиринты сплетенных тел, обладающих друг другом, и цепь непрерывных су-  
дорог страсти, последовательных, постоянных, которые распространялись, рождаясь одна из другой... Бес-  
конечность! Бесконечность! Это был торжественный гимн пылающей плоти, нежная партитура желания, от которого трепетали множества тел, превращая вибра-  
цию в вихрь... Жизнь как волна... Жизнь как волна!

«Было бы невозможно пересказать вам все мои путешествия. Однако я хочу поведать еще об одной стране.

«Как необычна эта страна... Вся она такого цвета, который я не могу описать словами, потому что его не существует — *цвета, который не является цветом...* Именно в этом и заключается его высшая красота. В атмосфере этой страны не было ни воздуха, ни како-  
го-либо другого газа — это вообще была не атмосфе-  
ра, это была музыка. *В этой стране дышали музыкой.* Но самым странным был народ, населявший ее. Как и у землян, у этих людей были душа и тело. Однако, именно души имели видимые очертания. А тела были невидимы, непонятны и загадочны, так же невидимы, непонятны и загадочны, как наши души. Может их и вовсе не существовало, как, возможно, не сущест-  
вует наших душ...

«Ах, какие божественные ощущения пережил я в этой стране!.. Мой дух расширился... Я получил представление о том, что неподвластно разуму... Однажды я должен туда вернуться, в эту необычайную страну, страну Души...

«В целом, друг мой, я путешествую, куда хочу. Для меня всегда существуют новые горизонты. Если мне хочется в горы, я не еду в Швейцарию, я еду туда, где горы выше, а ледники блестят ярче. Для меня бесконечны горные пейзажи, и все они различаются, для меня существуют моря, которые морями не являются, а еще — обширные пространства, не горы и не равнины, а нечто более прекрасное — и *более осязаемое!* Мир для меня перерос свои границы — это вселенная, которая непрерывно расширяется и растет. То есть, это не просто вселенная, это нечто большее.

«Что до чувств, для меня здесь таюже нет преград: я ощущаю, помимо любви и ненависти, то, чему невозможно дать определение. И понятно почему, ведь один лишь я проживаю это, и нет средства, которое позволило бы остальным понять, что именно я чувствую — ни слово, ни сравнение здесь не помогут. Я единственный, в ком живут эти чувства. Поэтому было бы бессмысленно изобретать язык, который мог бы их передать, ведь никто не умел бы на нем говорить. Впрочем, это относится и к лучшим моментам, которые я пережил. Я могу только указать на те, которые отдаленно напоминают ситуации реальной жизни, но они наименее интересны.

«Но это не все, о чем я хотел бы вам рассказать.

Женское тело, без сомнения, удивительная вещь — обладание прекрасным обнаженным телом — это почти нечеловеческое удовольствие, мечта. Ах! огненное таинство сжатых грудей, покрытых поцелуями, и светлое острие ее сосков, ранящее нашу плоть в мраморных экстазах... упругие, напряженные ноги — далекие содрогания царственной оргии... Губы, созданные для того, чтобы ранить любовью... Зубы, сжавшиеся от неземного удовольствия... Да, это красиво. Это прекрасно! Жаль лишь, что так мало форм существует для обладания этой красотой. Сплетение тел, нетерпеливые поцелуи, кровь, приливающая к... Всегда два пола будут ласкать и поглощать друг друга, сплетаться, и все это будет заканчиваться все той же страстной судорогой!..

«Впрочем, пусть так! Я обладаю женщинами множеством разных способов, я наслаждаюсь разными видами ощущений во всех органах.

«Ах, как прекрасно обладать взглядом... Наша плоть даже мельком не касается тела обнаженной возлюбленной. Наши глаза, лишь глаза, целуют ее губы и ласкают грудь... По венам текут обжигающие ручьи, нервы дрожат, как струны лиры, напрягаются мускулы... Глаза издали поглощают всю красоту, до тех пор, пока зрение ни расширяется, все наше существо ни начинает видеть, и бесконечная судорога страсти ни начинает сотрясать все наше тело, освобождая нас от пережитого желания... Мы достигаем высшего наслаждения! Мы обладаем телом женщины одним лишь взглядом. Обладаем физически, полностью, как будто любим самой душой. И страсть, охватывающая нас,

становятся более нежной, спокойной, но при этом не менее сладостной.

«Есть еще одно наслаждение, которое мне хотелось бы вам описать: это полное обладание женским телом лишь через прикосновение к ее груди.

«Итак, поймите меня, друг мой: я счастлив, потому что у меня есть все, чего бы мне хотелось, и потому что мои желания никогда не закончатся. Я сделал вселенную безграничной. Так говорят все, но для них вселенная — это всего лишь ровное поле, окруженное стеной.

В нашем разговоре возникла пауза. А в моей голове бушевал тайфун. Фантастические образы, которые подарил мне незнакомец, будоражили мое сознание, и мне хотелось облечь их в более реальные черты. Однако, как только они начинали казаться прочными, тотчас же лопались, как мыльные пузыри...

Мой собеседник добавил:

— Жизнь — это общее место. Я сумел избежать общих мест. Вот и всё.

И заказал коньяк.

Два дня я не видел его. Когда мы снова встретились, в ресторане, я отметил новое выражение на его лице. Он признался:

— Я познал идеал. Он оказался менее прекрасным, чем я себе представлял... А вы, мой друг, чем занимались?

Мы разговаривали о банальных вещах. Я хотел снова подвести разговор к его снам, но все мои усилия оказались тщетны.



Мы закончили ужин и вышли из ресторана. Он проводил меня до дома. Пожелал доброй ночи. И больше я никогда его не видел.

\* \* \*

Я долго размышлял об этом необычном человеке, несколько месяцев воспоминания о нем беспокоили меня. Я тоже хотел овладеть секретом управления снами. Но напрасно. Я не смог подчинить их и вскоре отказался от этого призрачного желания.

Я сходил с ума от стремления пролить свет, хотя бы сумеречный, на эту удивительную тайну.

И однажды я, наконец, почувствовал правду, и это был день триумфа.

Кем был этот человек? Загадка! Тайна! Я совершенно ничего о нем не знал. Он часто провожал меня домой, но я так и не узнал, где жил он сам. Я думал, что он русский, но он никогда мне этого не говорил.

Высокий, очень высокий и худой. Волнистые волосы, светлого, грустного, *ускользающего* цвета. И фантастические голубые глаза, самые удивительные, какие я когда-либо видел. Я могу объяснить их только одним бессвязным сочетанием слов: они ослепляли, *но не блестели*.

Его дрожащий голос, дрожащий и звонкий, казалось, исходит из уст, которых не было на его лице. Когда он вставал, ходил, его легкие, тихие и широкие шаги создавали впечатление, что ноги его идут не по земле, а по воздуху. Что странно, даже походка его была нерешительной, такая же, как и его видения — зыбкие

и туманные. Черты лица его казались непостоянными, было практически невозможно охватить их полностью одним взглядом: великому художнику было бы сложно запечатлеть на холсте подвижное лицо этого человека из снов. Тот, кто провел бы напротив него много часов, так и не узнал бы его — это ускользающее лицо запомнить невозможно.

Выражение его лица, походка, жесты, голос, создавали впечатление таинственного, туманного, смутного и нереального создания. *Создание из снов!* — эта мысль озарила меня, как молния. Да, этот человек очень походил на персонажей, которые возникают во сне, а мы после пробуждения, утром, как бы ни старались, не можем воссоздать их в памяти, потому что нам не хватает деталей их облика: если вспоминаются глаза, забывается рисунок губ; если мы помним необычный цвет волос, то ускользает удивительный цвет глаз. В итоге, невозможно выстроить целостный образ персонажа, с которым мы говорили во сне. Черты его ускользают от нас, и так же ускользали черты этого таинственного человека.

*Чудесный незнакомец был человеком из сновидений*, но, при этом, человеком реальным.

Но именно тогда, когда я загордился от того, что пришел к этой мысли, она стала в моем сознании навязчивой идеей. Я боялся сойти с ума, и не знаю, что бы было с моим бедным мозгом, которого коснулось крыло тайны, если бы я не смог еще глубже проникнуть в эту пропасть.

Если этот человек был из сновидений, но, при этом, реальным существом, у него должна была быть

реальная жизнь. Наша жизнь, моя, жизнь каждого из нас. Невероятно. И, по его признанию, он не мог сопротивляться этому презренному существованию. Более того, в том, что касается этого существования, его отношение было отношением персонажа из сновидений. Да, как у фигуры нереальной, неопределенной, с нереальными и неопределенными чертами. Поэтому я понял, что чудесный незнакомец жил не нашей жизнью. *Но если он не проживал ее, а лишь появлялся смутными очертаниями, то это происходило оттого, что она ему снилась.*

И вот как я открыл тайну бесконечного: странный незнакомец спал наяву, проживал сон. Мы проживаем то, что существует. У нас есть способность видеть во сне прекрасные вещи. А у него не было. Он перевернул реальность и ограничил ее сном. Он проживал нереальное.

Эфемерная пыль поднимается в воздух...

Золотые крылья! Золотые крылья!

Париж — март 1913 г.

Перевод Маргариты Козарович

Посвящается Алфреду Педру Гизаду<sup>1</sup>

## I

Раз и навсегда мне врезался в память тот экстравагантный персонаж, которого однажды ночью, в кафе, Инасиу де Говейя безучастно представил мне.

Да-да, с того момента, когда я впервые увидел его ранним утром вблизи Нотр-Дам, я так и не смог больше забыть это непонятное долговязое создание с длинными секущимися волосами, вдохновенным лицом и беспокойным взглядом, одинокое и восторженное.

Как все было бы объяснимо, созерцай он Собор в лиловой дымке осеннего предрасветного утра — но нет, наоборот, странно — он стоял спиной к нему, и смотрел в небо, потерянный, словно зачарованный...

Я остановился на несколько минут, рассматривая этого чудака. Его лицо было перекошено; глаза моргали вразнобой, смешно; его тело резко дергалось — словно он присутствовал при некой эмоциональной сцене в воздухе!

Спустя несколько дней я снова встретил его — на Вандомской площади.

Мой незнакомец продолжал исследовать атмосферу; на этот раз в более спокойном состоянии, смягченном розовым цветом. Так как это было во время пятичасового оживления, он поминутно опускал расслабленный взгляд на роскошных женщин, выходивших из автомобилей...

В последний перед знакомством раз я увидел его в Люксембургском саду; он пристально следил за бегом детей.

Знакомясь, я с неподдельным интересом поприветствовал его всегда уместной фразой «очень приятно познакомиться с Вами».

Тогда я и узнал, что он — свободный русский художник, далекий знакомый Говейи: «Петр Иванович Загорянский, если не ошибаюсь», сообщил мне по-португальски друг-писатель.

Инасиу, кстати, вскоре откланялся — и мы остались вдвоем.

Беседа наша началась чудесно — нам обоим показалось, что мы давно знаем друг друга. И всю ночь я слушал, замороженный, рассказы русского.

Какой пестрый напор, какой золотой синтез!

Я глядел на него, содрогаясь от красоты его *новых* фраз; меня не покидало ощущение, что писатель говорит не только ртом, но всем своим телом...

С того момента наши встречи участились. Они стали ежедневным ритуалом. И сегодня, вспоминая этот совсем недавний период своей жизни, я представ-

ляю его мазками грез, красоты и спазмов — загадочным и будоражащим.

Я не пишу роман — только записываю вполне реальный эпизод, тайный и волнующий. Поэтому я даже не буду пытаться придать драматизм своему повествованию. Оно будет развиваться абсолютно свободно, раскрепощенно — являясь почти точным пересказом наших бесед.

В самом начале я признался иностранцу, что уже познакомился с ним — заочно, и что меня особенно удивил его торжественный вид и его странная манера, когда он смотрел в пространство у Собора Парижской Богоматери и на Вандомской площади.

Помню, что в тот раз Загорянский только улыбнулся своей незабываемой *треугольной* улыбкой и добавил что-то, чего я не разобрал — нечто вроде напряженного звукоподражания: наверное, какое-то русское слово.

Но, спустя несколько дней, когда я подробно говорил о своем Искусстве и пересказал ему замыслы нескольких романов — мой знакомый, изменившись в лице, опустил, наконец, глаза, и заговорил, не дожидаясь, пока я закончу:

— Это торжественно, это восхитительно. Я уже не надеялся встретить кого-нибудь, кто бы сам об этом думал. В общем, вы, мой друг — поэт, художник — настоящий Художник! Всё это — то, что недавно мне самому приходило в голову — я вас заверяю — это Гимн моим трепетаниям. Какое Торжество! Первый раз я встречаю

человека, с которым я могу поговорить о своем Искусстве, подробно. Я не говорю, что Вы меня поймете. Вовсе нет. Но Вы немного почувствуете меня. Это уже хорошо. Смотрите же...

И он принялся, еще с опаской, рассказывать мне о своих целях, о своих последних теориях:

«Нервы! Нервы!.. О, ужас Повторения пройденного! Для чего все время делать одинаково, если нас окружает столько Иного?.. Устремимся к избытку и к разнообразию — к Инкрустации и Огню!..

Ты вспоминаешь случай, — продолжал он мне, — когда я зачарованно, как сумасшедший, смотрел в небо... Как раз тогда я обдумывал одно из своих Новых стихотворений, где бы выразилась вся беспристрастная красота Воздуха. Да, именно Воздуха, другой мой, — Великого Обманщика, который все обволакивает и все распространяет, подрагивая...

Нотр-Дам — средневековая инкрустация! Храмовые своды, розаны витражей, карнизы и крыши — всё, всё в пространстве... Но есть нескончаемые ступени трона — похожие соборы, спроецированные в атмосферу: непрерывный ряд, в Бесконечность! Атмосфера — зеркало Видений! И каждая фигура, каждый свод, каждый узор — переходит туда, расплываясь; проектируется туда неотчетливо, спутанными контурами. Ведь воздух всё крутит, лепит и расплавляет, завивает, выпускает... Помимо нашего реального существования, вливается, существует другое — мягкое: воздушные формы, которые мы непрерывно оттуда выхватываем и воплощаем. Кто знает, перестают ли они существо-

вать, преодолевая Безвоздушное пространство — тонкие, летучие души тел иных миров?..

Вот — нечто такое моя Тоска и стремилась поймать!.. Полупрозрачность-Призрак... Видения Нас-самих... и храмов... дворцов... башен... аркад... Ах! я только не беру памятники в их неизменных линиях, изначальных, грубых — это камень. Я давно стал воспринимать их не только как Царственные строения, но в их бестелесных оболочках воздуха — перенесенных, подвижных, насыщенных...

Великие соборы! Нотр-Дам... Какие горельефы Пространства... Какие удивительные переплетения граней... Множащиеся и свободные поверхности, развернутые, которые чередуются, переносятся, погружаются, кружатся!..

*Я желаю такое Искусство, которое бы переплетало идеи, как эти грани!*

Слушай внимательно! Слушай внимательно! Я желаю Искусство перехватывающее, расходящееся, изменяющееся... Искусство с центробежной силой... Искусство, которое невозможно было бы записать арифметикой... Искусство — геометрия в пространстве... Да! Да! Трехмерное Искусство... в пространстве... в пространстве... *Воздух и Объем!*»

Сбиваясь и возвращаясь, с трудом подвел он меня, в итоге, к этому бурлящему истоку. И обрушил его на меня. Вот оно! — все это было новым Воображением...

Однако была в его фразах возбужденная бессвязность, неуловимая противоречивость, в его глазах — дымчатый блеск, а его рот кривился темной гримасой.



Он продолжал:

— И еще, мой друг, нужно чтобы гениальный Поэт мог индивидуализировать, одушевить Атмосферу... когда ее разрывают громадные экспрессы, и вытянутые в цепь дирижабли, винты, пропеллеры, колеса цехов, стрелы подъемных кранов — бесчисленная жесткая красота!— ... и когда ее осторожно прорезают базилики, памятники, руины Египта... и когда ее гладят легкие женские руки и белокурая беготня детворы в парках...

Мне уже не терпелось высказать свое полное согласие...

— Поверь мне, с каждым разом я все больше убеждаюсь, что атмосфера есть неисчерпаемый источник бесчисленной красоты. Нам, художникам, следует научиться шаг за шагом впитывать ее... Понимать Расстояние! Понимать Воздух... пространство, которое непрерывно изменяется — и постоянно вибрирует, постоянно извивается... Малейшее содрогание само по себе становится предметом Искусства — это новая красота: пестрая, скрипящая, разрозненная и погруженная... Представь обнаженное тело, прекрасное, распростершееся на индийских покрывалах в какой-нибудь роскошной мастерской живописца... Ведь вокруг него, мой друг, все будет этим телом — только красота, очищенная этой наготой!... Она поглотит все остальное, разойдется вокруг, захватывая интерьер в это торжество — лепнина сближения!.. Затем само тело, которое было сконцентрировано, обрушится водопадами беспрерывных колебаний, светлых, порочных... Раскроются судорожные воздушные бутоны груди, ноги ра-

зобьют колоннады — встряхнутся многочисленными гирляндами руки; губы нащупают инкрустации поцелуев... Всё превратится в Красоту! А само тело станет уже грудой обломков, развалин воздуха, которые колыхаются, свободные, в вихре — и запутываются, переплетаются, умножаются, содрогаются... *Сам воздух оживит это нагое тело!*

А в крупных мануфактурах... кислотное вращение колес... рычаги... поршни... приводные ремни... колебание сложных механизмов... Там другие бесчисленные движения воздуха — фейерверки, да, фейерверки Воздуха!.. Винты, спирали, ветви параболы, звезды, мертвые петли — вихрясь, изгибаясь, переплетаясь... Магия современности! Европа! Европа!

В театрах, когда разноцветная балерина кружится на сцене — заметь — вся атмосфера расцвечивается кругами, исчезая в многоцветных пятнах, раскрасивших наши ладони, лица зрителей — словно шорох стекла...

Так как всё это, всё это, вместе (и отклонения лучей), мы должны — Сейчас! — предвидеть и взрастить в Душе.

Тут я, как в прошлый раз, восторженно выразил ему свое изумление и свое полное приятие этих возвышенных теорий. Он удивился, что я смог понять их так широко — несмотря на мой темперамент и мой талант. Но вскоре он убедился в моей искренности — и с каждым днем убеждался все больше.



Десять лет тому назад после смерти отца Петр Иванович вместе со своей семьей — матерью и сестрой — покинул Москву и обосновался в Париже.

С самого начала нашей дружбы он захотел обязательно показать мне свой дом, где, кстати, чуть позже я познакомился с Сергеем Варгинским и снова был представлен его жене — все так же очень красивой — с которой ранее уже познакомился в Лиссабоне при совершенно иных обстоятельствах.

От первого посещения у меня не могло не остаться ощущения восторга, так как сразу по приходе я окунулся в атмосферу нежности и внимания, окружавших Поэта. Сразу было видно, насколько преданы и заботливы его спутницы — мать и сестра: София Дмитриевна, дама с аристократической статью и роскошными белыми волосами и Марфа Ивановна, прекрасная девушка, полная жизни — высокая, крепкая, полнокровная. Совершенный тип здоровой красоты.

Несколько месяцев спустя обе дамы, заметив, как Петр ценит мое общество, стали просить меня высказать свое мнение по поводу беспокоившего их слабого здоровья Петра и, еще больше, чрезмерной интенсивности его воображения, сложностей его сознания, всей странности его поведения. И однажды они рассказали мне, что мой друг раньше испытывал загадочные приступы, страшные, природу которых врачи так и не сумели определить: они напоминали странную и ужасающую новую форму эпилепсии. Правда, уже шесть лет приступы не повторялись. Но именно сейчас на-

блюдается значительная неуравновешенность во всех поступках Поэта — во всех его словах, во всех его суждениях.

Я постоянно пытался успокоить их. Только сегодня я понимаю, какие глубокие корни имела эта тревога.

Действительно, не только в своих рассуждениях об искусстве Загорянский представал неуравновешенным: понятно, что в чудесах, — но и в вещах реальных, хоть там это было и не столь очевидно. Когда он говорил мне, случайно, о какой-нибудь особенности своей души, в его словах всегда присутствовали странность и неясность. Поэтому, в наших беседах мы никогда не касались этой темы. Этот вопрос — для глубокого обсуждения. Но когда русский Поэт раскрывался передо мной — его поведение было отмечено такой же необычностью, как и его эстетические теории (неповторимость — наиболее подходящая характеристика его натуры).

К примеру, однажды ночью он клятвенно поведал мне:

— Если бы я захотел, друг мой, рассказать о своей жизни, вслух, самому себе — я бы сам не поверил. Увы! мое существование все время развивалось ошибочно... Если бы я передавал все подробности, это походило бы на «литературу». И, тем не менее, это — смехотворная правда... Но еще менее вероятно то, что все соучастники моей жизни — даже самые незначительные — двигались, в итоге, всегда согласуясь с моей жизнью. Я всегда встречал тех, кого должен был встретить. Никто никогда не поступал со мной так, как поступил бы с другими — даже те, кто меня не знал... Постоянно

я пытаюсь вспоминать, как было на самом деле: *а может быть, я — это не только я, но многие, иными словами, все персонажи моей жизни...*

На его лице отпечаталась глубокая боль, хотя и пропитанная иронией, — такая огромная печаль проникла в его голос и в блестящие глаза — что я задрожал от искреннего сострадания, сопровождаемого, возможно, неясным опасением...

Я сразу отметил паузы, которые появлялись в его фразах, внезапные потерянные взгляды, *отстраненные*, которые очень часто во время разговора, не замолкая, он бросал вокруг — и эта внезапная невнимательность была необъяснимой и пугающей.

Время от времени, от него можно было услышать экстравагантные заявления:

— Ты уже обратил внимание на запах нефти? Он очень забавный... Помнишь?... Говорят, это запах *земных недр*... Да, двойной запах: густой ароматный тон, спрятанный в более острый, сферический тон...

А в другой раз:

— Я никогда не любил. Но я уверен, что, если бы однажды я полюбил, моя любовь обернулась бы глубоким сновидением. И тогда я бы сказал женщине, которую возжелал: «Любовь моя, любовь моя, ты — мой сон».

— Каждый раз мне вспоминаются вкусы, которых я никогда не ощущал... Механические вкусы с шарнирами в сложных вращениях... Вкусы — это преобразования энергии, хочется верить...

— В моей жизни был период, когда я только изобретал наваждения. *Изобретал*, но не испытывал. Са-

мое опасное было в том, что, возвращаясь, я уже не мог понять, были ли эти наваждения только искусственными, созданными моим воображением Художника — или настоящими безумствами, которые когда-нибудь, должно быть, разорвут мой мозг, а сегодня лишь нерешительно обнаруживают себя... Я хорошо помню свою неуверенность относительно этого двойного наваждения (находясь в здравом уме, я считал его не более чем изысканным сюжетом какого-нибудь романа, который я пытался написать): человек, который, с одной стороны, убежден, что его мысли полупрозрачны, и потому все знают, — *даже животные*, — о чем он думает, о его тревогах, его разочарованиях... а, с другой стороны, в нарастающем беспокойстве постепенно проступает, на всех лицах, одно и то же выражение: одинаковые подергивания, похожая мимика... Тщетно я убегал бы, закрыв глаза, в тошнотворном страхе... И это неотступное выражение, слепящее, надоедливое, всегда одно и то же — в конце концов, я обнаруживал бы и на самих вещах, неодушевленных предметах — *и даже в запахах*.

Но гораздо более скорбной, глубинной и тревожащей из-за боли и интимности была скупая исповедь одним лихорадочным утром.

Мы вместе с ним наведались к некоему, с позволения сказать, живописцу, который обитал в маленькой каморке, ютящейся на последнем этаже отеля в Одеоне. И, выйдя на улицу:

— Как я ему завидую... — протянул Поэт. — Мне никогда не доведется жить в подобной комнате... Вот от этого, быть может, и сгущается вся моя боль... Моя

участь была другой... В моей судьбе всегда были ковры... Я никогда не смогу жить... Больно — *всегда знать, где проведешь ночь!*.. Сомневаюсь, чтобы ты об этом думал... Но как бы я хотел быть этой комнатой... Ты заметил?... Эта комната — как парижская девка... Мне так и не удалось выработать в себе любезность... Я никогда не получал письма, которого бы не ждал... Сухость! Сухость! Если, хотя бы, как один мой друг, я любил умершую... Тщетно... И вот я брожу одиноко вместе со своими воображаемыми борзыми... Иногда я даже думаю, что этот эпизод останется со мной, что мне его рассказали, без сомнения... Пустота! Пустота!.. Она бы стояла босая, лунной ночью на берегу озера и попросила бы меня побрызгать ей на ладони, на голые руки... Затем мы бы сплели наши пальцы в воде... А сегодня — какая нежность! — мне даже показалось, что эта вода была единственным нашим поцелуем... Мой прекрасный шелковый гений, весь покрытый розовым цветом... Но даже эта осень — иллюзия!..

Я слушал его беспокойно. Мне никогда раньше так отчетливо не бросался в глаза беспорядок его фраз — вполне правдоподобных, к несчастью: в каком-то роде — притворство «позера» — столь скорбное и мучительное выражение.

Однако мы быстро сменили тему, и его идеи снова обрели блеск ясности.

Со своей стороны, уже успев привыкнуть к его мыслям, я отогнал от себя это эгоистическое заключение: огромное расстройство, возможно — но, при таком избыточном дисбалансе, крепкий дух. И, без зазрения совести, я успокаивал его семью.

Но дело было, уже не помню, очень давно, я уже позабыл о своих смутных опасениях, даже об их, возможно, угрожающих, причинах, из-за моего обычного скептицизма, — когда однажды утром он ворвался в мой дом с криками:

— Друг мой! Друг мой! Думаю, что сегодня я раскрыл, наконец, секрет своего существования: *Я весь — стройные женские руки с накрашенными ногтями!*..

«Шутником» он не был — поэтому эту фразу должен был произнести сумасшедший, теперешний или будущий.

Но это было так красиво, так светло и волнующе — что я тут же забыл об опасности, и, по правде говоря, лишь восхитился Поэтом...

## II

Только в последнее время Петр Иванович, спокойно, беспристрастно, рассказал мне о своих тревогах Художника — о своем творчестве, конечно. До этого, сказать по правде, он рассуждал лишь общими, теоретическими положениями — но никогда не говорил о своих стихах, за исключением отдельных намеков.

Лично я нисколько не сомневался в его гениальности — представление о нем возрастало во мне неуклонно. Тем не менее, моя уверенность основывалась только на незабываемом проявлении работы его сознания — на его пламенных фразах, на его жестах,



на блеске его глаз — на всем его облике, разумеется. В итоге, все это в гораздо большей степени делает Художника бессмертным, чем самое совершенное Творение. Так что, на самом деле, еще до того, как ко мне вернулось хладнокровие, я укрепился во впечатлении, что уже слышал многие из его стихов.

О своих произведениях он впервые рассказал мне, когда я перевел на французский отрывки из моих книг и из прекрасных произведений Фернанду Пассуша — специально, чтобы он их оценил. Загорянский восхитился. Его поразило, как в стране, столь отличной от его родины, появилось что-то отдаленно схожее — заверял он — с облачным духом его собственных творений. Некоторые фразы Фернанду Пассуша особенно взволновали его. Он выразил огромное желание когда-нибудь познакомиться с Автором. Но я мог только показать ему его портрет.

Затем он поведал мне о своей поэме — книге, над которой работал несколько лет.

У книги не было названия:

— Ее название, — признался он, — будет, не больше, чем, взаимодействие музыки и некоторых цветowych штрихов.

— Быть может, она будет разделена, — добавил он, — на несколько частей, на несколько композиций. Но все они, отдельные, соединятся астрально, гипнотически (он употребил этот термин) в едином собрании.

Тем вечером он больше ничего мне не сказал.

По прошествии нескольких недель он объявил, что, кажется, уже приближается к завершению своей

книги. Разумеется, он не опубликует ее, пока не достигнет Совершенства — «парения».

Он пожаловался мне:

— До сих пор еще не существует совершенное Произведение Искусства. Самые превосходные — это лишь выдержки. А я хочу сделать свою Поэму цельной! Такой непоправимо устойчивой, чтобы невозможно было убрать из нее и буквы, не разрушив ее.

Я робко заметил:

— Но, друг мой, мы не должны множить страдания. Совершенство — понятие относительное; более того, узкое, субъективное.

— Нет субъективных суждений. Есть Золото! — запротестовал русский.

— Ну, хорошо! — настаивал я. — Даже если это так, остается непонятным, как ты поймешь, что достиг Совершенства?

Ответ последовал незамедлительно:

— Пока я не могу тебе этого гарантировать. Но — я в это верю — настанет мгновение, когда я ухвачу, возможно, почувствую это *физически*. Вода, когда закипает, поднимается пеной. Тогда мы понимаем, что она достигла точки кипения. Так и здесь: нечто подобное, я думаю, появится на той большой ступени абстракции, которой я хочу достичь. Да, мне представляется, отчетливо представляется, что в момент достижения совершенства, какое-то физическое явление, возможно, как неожиданное *сцепление*, произойдет перед моими глазами... в атмосфере... или, кто знает, даже на страницах, на которых написаны мои стихи...

— Прекрасный сюжет для романа! — пожал я плечами, улыбаясь, и заказал еще кофе.

.....  
 .....

— Флюидное искусство, друг мой, газообразное искусство... А лучше, даже так — кричал Загорянский в своем кабинете, где впервые принимал меня — *искусство, неподдающееся тяготению!*.. Мои стихи... мои стихи... Но еще не все мне понятно! Что-то удерживает мои стихи... Я хочу, чтобы они колыхались в воздухе, свободные, перетекающие — прозрачные для света, для всех цветов — тонкие, невесомые!.. И я этого добьюсь!.. Пока я еще не достиг Совершенства... Я знаю, остались шлаки в моих стихах... Поэтому тяготение все еще действует на них... Но скоро... скоро... а!

Вдруг, успокоившись, он сел в большое малиновое кресло.

— Я так и не назвал тебе основные характеристики своего Творчества. Однако сегодня, полагаю, я должен открыться; мне и самому лестно раскрыть тебе свои секреты... Думаю, время пришло — и ты уже подготовлен своим сознанием и моим влиянием, чтобы *узнать*... Так слушай: я не пишу только одними смыслами; я пишу звуками. Мои стихи наполнены звуками и намеками на смысл — а также *интервалами*. Когда я прочитаю тебе свои стихи, друг мой, то, не понимая ни слова, *ты почувствуешь их*, пусть и не во всей полноте. Ты найдешь их похожими на свои, как глухой, который может прочитать — *но не может услышать*. Полное понимание моих стихов достигает-

ся только путем чтения вслух, слушания и восприятия *с открытыми глазами*. Мои стихи написаны для того, чтобы быть воспринятыми всеми чувствами... У них есть цвет, есть звук и запах — а может быть, и вкус, как знать... Каждая моя фраза имеет цветовой или ароматический букет, относительный, *синхронный* с движением каждого «обстоятельства». Так я называю нерегулярные строфы, на которые подразделяются мои стихи: невесомые, автоматические, обладающие собственной скоростью — но все связанные между собой флюидными сцеплениями, газообразными элементами; уж точно не твердыми, последовательными мыслями... Постараюсь пояснить. Подожди... как бы это выразить по-другому?.. Возможно... Мое Творчество — не просто идеографическое воплощение в словах — не просто письменное выражение. Но еще кое-что: это одновременно воплощение музыкальное, хроматическое — живописное, если угодно — и даже, самое летучее, *ароматическое*. Да, да, мое творчество может передавать запахи!.. Сможет передавать, ты поймешь, когда я закончу... В конце концов, возвращаясь к твоему случаю: слушать мои сочинения, не понимая языка, на котором они написаны, то же самое примерно, что познакомиться с театральной пьесой только по книге — не принимая во внимание ее сценическую трактовку...

Мой друг говорил прерывисто, было видно, что речь дается ему не легко... Я слушал его, замороженный волшебными, вихреобразными словами, — содрогающимися в Золоте. Но мне, конечно, не удалось скрыть пробивающееся сомнение, некоторое недоверие, так

как Поэт, внезапно обернувшись, подбежал к огромному письменному столу из гваякового дерева, стоявшему в глубине кабинета, выдвинул ящик и извлек оттуда синюю тетрадку, которой потряс у меня перед глазами:

— Вот доказательство! — воскликнул он. — Я прочитаю несколько своих стихотворений, *по-русски*! А потом ты расскажешь мне искренне свое впечатление от услышанного.

И он принялся нервно листать тетрадь. Помню, я еще удивился, что такой утонченный, такой изысканный Поэт записывает свои произведения в банальнейшую ученическую тетрадку с глянцевою обложкой, которые продаются в галереях Одеона по девяносто сантимов.

— Сначала я прочитаю тебе одно из моих самых простых сочинений: только для демонстрации ритма.

Я слушал...

Дивно! Легко сталкивались причудливые диссонансы, и звучали другие узорчатые аккорды, растекающиеся тысячью обертонов — на неизменном фиолетовом тоне, в призыве шелковых, гладких ароматов...

И, действительно, не нужно знать слова, чтобы откликнуться на колдовство этого маленького шедевра!

Я выразил все свое изумление, все свое приятие...

С возрастающим воодушевлением Петр Иванович прочитал мне множество стихотворений. Во всех я нашел красоту, в одних больше, в других меньше, разумеется. И потом Поэт добавил, что самыми сложными были те, которые меня особенно вдохновили.

Более того, я помню то изумление, которое вызвала у меня одна часть, где были многочисленные кру-

ги — в изматывающем кружении цвета, в запутанном и судорожном движении, и где я, пораженный, обнаруживал элегантнейшие элементы кривизны — винты, спирали, ветви гиперболы — высвобожденные, свободно выпущенные, в фейерверке звуков, в огненном фонтане. Все это было, воистину, точнейшим механизмом, движимым магической силой — загадочно, с внезапными прозрачными горделивыми выбросами ... хрустальным треском...

В конце Загорянский остановился. Он собирался уже закрыть тетрадку. Но решился, возбужденно объяснив:

— Бриллиантовая поэма.

Ах! ничего подобного я еще не слышал! Мое восхищение перед другими стихами померкло ... Однако я легко могу описать это чудо одной фразой, абсолютно четкой. Вот она:

— Мне пришлось зажмуриться с первых же звуков.

Я не смог перенести — правда! — сверкающий блеск, волшебные вспышки, вызываемые загадочными словами, которые доносились до моих ушей. Это не бред. Я отдаю себе отчет в том, что говорю. Чистое внушение, возможно. Но так и было: мои глаза сами собой закрылись. И я бы поспорил с тем, что нельзя услышать Чудо с закрытыми глазами.

Все это было Искусством новым — коронованным и предельным, пылким и скрытым, дурманящим, необратимым, а его божественный создатель стоял передо мной!

Я встал в полубреду, весь во власти услышанного. Поцеловал Автора... И Петр, сияя ореолом, закричал мне с пафосом:

— Смотри... смотри... Я тебе говорил!... Газообразное Искусство... стихотворения без опоры... гибкие... способные перетекать по всем чувствам... Искусство без швов и сочленений!.. *Искусство, соответствующее воздушным формам, заполняемым реальностями!..* Переплетенные звуки, срезанные грани, множащиеся смыслы, изменчивые мысли, внезапные расхождения... Все будет переходить, все будет возноситься, постоянно изменяясь, волнообразно — *но, в итоге, всегда образуя единство!*.. Да, да, я хочу воплотить в своих стихах — и особенно в их общем сборнике — сумму произвольных факторов. *Полную их совокупность!*

И, для примера, он тут же прочитал мне небольшой фрагмент, который я привожу далее. В этом фрагменте, как он пояснил, Поэт только пытался внушить неопределенное представление о Пространном среди тончайших опор в реальности. Что-то невозможное для охвата, ускользающее, как ртуть: слой зыбкой воды, разбитая золотая амфора — неизбежно жалкие признаки Запредельного. А уверенность всегда перед нами — достигаемая...

Простой подстрочный перевод этого отрывка, который он сделал специально для меня, настолько подавил меня, что, обессиленный, я не попрощался, пока ни вырвал у него разрешение перевести его — или, лучше, переложить — на португальский язык.

В итоге, с большими трудностями, следуя его указаниям, спустя несколько дней я завершил перевод, который публикую далее. В этом переводе почти нет слов оригинала, но он, тем не менее, воспроизводит, насколько это возможно на иностранном языке, за-

мысел русского текста: одинаковыми звуками и движениями, схожими цветовыми мазками, подобными созвучиями...

Хотя автор оказался доволен моим опытом, позднее мои настойчивые предложения перевести его произведения Петр Иванович каждый раз отклонял. Он позволил только переложить мне одно раннее сочинение — «Балет» — не входившее в этот сборник и написанное им еще восемнадцатилетним студентом юридического факультета, когда он жил один в Париже, в гостинице на Рю дез Эколь. Вот откуда странный и завораживающий финал стихотворения.

Начиная с того вечера, я часто спрашивал о его книге — предлагая положить конец бесконечным мучениям. Он считал поспешной публикацию этого шедевра, который неизбежно произвел бы революцию во всем Искусстве.

Он почти всегда, то с горечью, то с возбуждением, возражал мне:

— Еще рано... еще рано... Я еще не победил... Тяготение еще действует на мои стихи... В общем, думаю, осталось немного... Многие из моих стихов уже вполне «совершенны» — может, даже все, взятые в отдельности. Но сумма еще не ясна... Есть еще шлаки в композиции...

Однажды вечером, после трехдневного перерыва, я заметил новое выражение на его лице — и лихорадочный вид во всем его облике. Можно было сказать, что он заметно похудел за эти немногие часы.

Я стал расспрашивать его. Он признался:

— Ах! друг мой... друг мой... Я сильно продвинулся с нашей последней встречи... Сегодня, да, я верю



в свои предчувствия! Я уверен, что вскоре достигну Совершенства — невозможного из Заблуждения! Но вот что странно. Мой триумф изнутри покалывает некое подозрение...

— Это нервы.

— Будем надеяться...

Следующая неделя прошла относительно спокойно, я старался не затрагивать тему его Творчества. Только один раз, вечером, намеками, он поведал мне о своих опасениях Творца, о том, что был вынужден все время придерживать мощь своего гения. И рассказал мне, что часто отводил глаза, чтобы тот не дрожал — успокаивал его, целуя себя в зеркало, — наедине разговаривал с ним — называл его «любовь моя» — и даже лелеял его с заботой, с какой матери встают глубокой ночью, зимой, чтобы поправить одеяльца своих детей...

Он также описал мне утраченную страсть фиксировать все богатство, которое появлялось в его сознании — и одновременно возникшую ревность к ускользающему, к невозможности сосредоточиться только на одной мысли:

— Смотри... смотри, как это ужасно, мой дорогой!.. Ревность мужчины, который даже никогда не пытался обнять женщину — потому что в момент обладания у него резко всплывают, переплетаясь, воспоминания о другой, о многих других... Ужас... ужас...

И впервые он попросил принести абсент — он, кто не пил ничего, кроме микстуры...

... Пришло время, он стал проводить все ночи напролет в кафе, где обычно проходили наши встречи...

А я-то мчался к нему домой, чтобы увидеть, не заболел ли он...

Его мать и сестра встречали меня, все в слезах: «Болен? Нет, точно нет. Но он запирается часами в кабинете, отказывается обедать — беспокойно мечется по комнате, как зверь в клетке...»

Даже уговоры Марфы, к которым он всегда прислушивался, были теперь бесполезны. Он кричал ей в ответ из-за двери:

— Я работаю! Я работаю!.. Осталось немного!..

Только однажды мне удалось прервать его заточение.

Я ожидал, что встреча будет холодной, и может быть, мне даже придется быть свидетелем одного из его скорбных приступов гнева, которые я уже имел удовольствие наблюдать... но он восторженно принял меня...

Он воскликнул:

— Да! Да! Это правда! Я быстро продвигаюсь к цели... Я не ошибся... Я не ошибся... Я чувствую это материально, отчетливо... Я уже предвижу, какое-то очень неясное изменение — *молекулярное*, полагаю... Еще несколько дней и — наконец!.. Совершенство!

Затем он несколько минут поговорил со мной — нормально. Я умолял Петра не пренебрегать своим здоровьем — но оставил его перед большой чашкой очень крепкого кофе, куда на моих глазах было вылито полпузырька странной фиолетовой пахучей жидкости...

Я предупредил его сестру. Она вздохнула и, казалось, не придавала большого значения данному обстоя-

тельству. Но в то же самое время я заметил на ее лице мгновенную бледность...какую-то принужденность во всей ее позе...

Признаюсь, когда я прощался с Марфой, мне было очень беспокойно. Однако вскоре, из-за своего вечного эгоизма, это беспокойство рассеялось. И, по правде говоря, в течение недели, проведенной вне Парижа, я лишь изредка вспоминал о своем последнем посещении Поэта и о его опасном положении.

На следующий день после моего возвращения, я еще спал, когда кто-то сильно постучал в дверь моей комнаты.

Я пошел открыть, готовый проучить незваного гостя... и, ошеломленный, наткнулся на Загорянского! — вид его был ужасен: растрепанные волосы, сверкающий взгляд, развязавшийся галстук; он тряс в руке тетрадкой в синей обложке, где была его Поэма.

В слезах и резких криках — едва я открыл дверь — он начал, задыхаясь:

— Безумие... безумие... Совершенство!.. Предел бессвязности... Но это так... это так... Я достиг Его! Сила притяжения больше не действует на мои стихи... Зачем я жалуюсь?... Безумный... безумец... Это бесконечное мгновение!.. Я тебе еще не говорил?... Я должен был испытывать его постоянно... я должен был его предвидеть!.. Поэтому так и было — мой бедный друг — так всё и было!.. Когда я дописывал последнее слово, раздался сухой треск, глухой удар — и шорох скольжения... еле заметный... Я взглянул на листы... *Все мои стихи, наконец-то освобожденные, ускользнули из моей тетрадки — улетели, влекомые волшебством!..*

И он пролистал на моих глазах тетрадь...

Меня, остолбеневшего, вдруг обдало холодом... Листы белые... Остался только фронтиспис, где было написано имя Поэта и дата. На остальных страницах только номер и какие-то красные пятна, которые, необъяснимым образом, пачкали местами текст, написанный очень бледными чернилами.

— Друг мой... друг мой... В пространстве!.. Мои стихи... в космосе... ах! ах!... среди планет!...

А затем последовало извержение пенящегося хохота, горячечного, пугающего...

.....  
 .....  
 .....

Пять дней спустя, обезумевший от припадков гнева, Петр Иванович, несмотря на огромную скорбь его семьи, был помещен в лечебницу, недалеко от Медона, где его согласились принять с большим трудом из-за странных приступов — конвульсий и спазмов, причины которых были не известны ни одному врачу-психиатру: что-то сродни средневековой магии... ритуалам черной мессы...

По всему дому, по всему саду мы искали тетрадь, в которой Поэт записал свою Поэму. Тщетно... Осталась только эта другая, такая же — *но с чистыми листами...*

Долгие часы мы с Марфой склонялись над ней, изучали ее, пытаясь убедить себя, что это другая тетрадь — что безумец, где-то купил ее, после того как уничтожил первую, в которой было его Творение... Мы убеждали себя... как будто не замечая очевидного...

А между тем пятна сырости, которые должны были быть на обложке первой тетради, проступили также в этой — в виде красных клякс... одни из самых расплывшихся были на двадцать второй странице, где был записан отрывок, тот, который я перевел под названием «Вне»... И это все, что осталось от гениального труда...

... Беспокойными ночами, смущенными — повторяю — я и Марфа страдали, глядя, перед собой... эта пустая тетрадь, бесполезно открытая... заставляя себя поверить, *но тщетно*...

.....

Сон что ли... наваждение...

*Камарате — Кинта да Витория*  
октябрь 1914.

**«Вне» и «Балет»**  
**Петра Ивановича Загорянского**  
(фрагменты)

273

*Мадемуазель Марфе Ивановне  
Загорянской, сестре Поэта,  
трепетно посвящаются эти  
португальские переложения.*

# I.

## ВНЕ

### 1.

В воздухе носились тем светлым вечером пурпурные испарения души и вожделения небытия.

Святые руки королевы, обезумевшие от изумрудов, источали аромат и сладострастие сумеречному ветерку.

Воздух в тот вечер был Томление и Запредельность.

.....

И крылья химеры, взмахивая вдалеке, смазывали его ирреальным.

.....

Круговерть павших листьев, пахнущих тенью...

.....

Воздух, что знал свет и резал его хрусталь...  
.....

А очень далеко, очень далеко — белые дома...<sup>2</sup>

2.

В тени огромного победоносного балдахина над  
нагой и пылающей я все же овладел ею на фантасти-  
ческом ложе Цвета.

Прекрасная спираль необузданной плоти — самая  
красивая — наполняла для меня таинственные глаза,  
зная, что мне нравятся волны удивления...

А ее нервные руки были кошулями...  
А ее пунцовые губы были болью...  
.....

Подсолнухи сада отвернулись от Солнца...  
.....

Я весь навис над ней...  
Час бледнел...  
Воздух стал еще нереальнее...  
Появилась вереница звезд...  
.....

Взирая на эту славу, которая возбуждалась так  
близко и в конце собиралась благословить меня, мои  
глаза становились усилием — а моя душа — золотым  
диском!..

.....  
.....

Безумная оттачивала соски грудей, чтобы стали они еще острее, чтобы больнее ранить меня.

А мои заждавшиеся губы уже страдали, предвкушая ее поцелуи...

.....

Вдали, как и прежде, — белые дома...

### 3.

... И именно когда я уже чувствовал себя окутанным Золотом, принесенным в жертву потустороннего Цвета, когда весь я млеял в обрывках бесконечности — внезапное мгновение пронзило меня, и я разочаровался...

Над ее балансирующим телом — ужасные стоны! ужасные стоны! — ужимками развевался хватательный узел острых углов, пронзительно высмеивая изгибы и округлости...

Брутальные лезвия, свистящие вихри, разрушительные ломаные линии — бороздили всё! высасывали всё!.. Чистота! Чистота...

— Неназываемый страх!..

И разноцветная ромбовидная клетка спустилась глотком, оголяя ее обнаженное тело — всех цветов, всех звуков, всех запахов; заточая ее, очерчивая ее ужающими коловращением изгибающихся невозможных кругов!..

Вся красота, осколками, кричала мне о спасении...

А мой взгляд — вот в чем печаль! — не мог ее оценить...

.....

Белые дома не пускают! Белые дома не пускают!..



4.

Печалась по себе, не чувствуя боли, блестящий, всё еще дрожащий... я хотел бы обмануть самого себя, я и хотел бы вернуться — но всё меня останавливало...

Подчиняясь иллюзии, я обернулся в огромную ложь: я был Принцем без короля, освещающим фальшивым светом — светом, который не гремел, и был тусклым, пустынным, посредственным...

— Зачем? Зачем?..

Тут же мое тело упало на твердь; в сумрачной Душе — всё рушилось вокруг: крылья бессонницы, позолоченные галеоны, серебряные башни, золотые купола... Всё рушилось — но рушилось в колдовстве, превращаясь в другие руины: золото — в потерянные груди; серебро — в покинутую славу...

.....

Только руины белых домов были руинами белых домов!

*Париж — январь 1913*

## II.

### БАЛЕТ

1.

Кругом — горизонт... один горизонт...

.....

Резкий звук тишины...

— Горизонт — это Форма, что окропляет...

Приложили к моей лихорадке компрессы рассвета...

Прохладная вода! Прохладная вода!<sup>3</sup>

---

Как скрипит тишина... и звенит... и звенит... ове-  
вая змеистыми полосками Золота...

Эфемерное Золото, которое оборачивается мятущимися языками пламени...

Апофеоз!

Огненные лебеди в море Звука зебристыми полосами вздымают море...

Море — это вздымающаяся грудь...

(И эта грудь безумно колышется.)

Восток! Восток!

Там, вдалеке — шлемы...

Идут под парусами миражные замки...

Поднимаются завихрения... кружатся завитки...

Поворачиваются хрустальные знаки...

И море уходит в свет, который Чувствует...

(Единственный свет!

Это свет, что я источаю!)

Уношусь в поэзию, излучаясь...

2.

Огромный платиновый сфинкс отбрасывает тень-  
Статую от солнечного света.

Душа возникает во мне...

... Сейчас идет потерянная ночь синего неотчет-  
ливого страха...

Звучат ароматы далекой страны...

Вокруг сфинкса всё в непокое...

Втягиваются когти...

Хоронятся клинья...

И ломаются шпаги...

.....

Внезапно со свистом мелькнул метеор...

.....

Взгляни на Триумфальную колесницу, поднимаю-  
щуюся на Капитолий...

Взгляни на львиный след...

Взгляни на королевскую бригантину...

.....

Взгляни на своды, взгляни на портик...

Взгляни на крест над собором...

.....

( — От чего цепенеет огромная Бестия?  
— Эта Бестия уже не Обманет.)

---

Потоками крыльев возрастает просвирник святого  
органа...

Главный алтарь трепещет от красоты...

Кадило окропляет Звук...

— Богоматерь Цвета!

Зал благословляется в экстазе...

Вздымается чаша Сияющая...

И просфорá причастия причащает нас к безумным  
грудям...

.....

Император благословлен!

(Празднества коронации).

3.

Лебедки света...

— Размалеванный свет... —

Крылья, потерянные в Закатном луче...

... Потом — всё стихло, и ветви пальм качаются  
белокуро под музыку в воздухе...

Оазис...

Разбегающиеся прожилки...

Вероломные пряди...

4.

Стремительно возвращается Золото, всё тигрино  
запятнано Гордостью.

Пламя истончается, и полумрак — как зеркало...

(Победа!

— Лед не сжимает меня).

.....

Алеющий горизонт угрожает мне привкусом Битвы...

Густой туман... мгла...

Крещение Астральной скорби...

.....

И дымка начинает комкаться в складки...

Дымка вращается...

Дымка бурлит...

— Дымка не прячет!

Дымка Обнажает!..

5.

Знаки Души, там, далеко, над бичуемым Золотом...

Сложенные руки... Возрождение...

.....

А сейчас я спускаюсь по лестнице, поднимающей  
в запредельную Тень...

Но спуск меня лишь возвышает:

Есть — я, Только я — и распыление!

.....

В тоске-Пологом,  
 Моя ностальгия-Пекин,  
 Воспоминанья-Парча...  
 Подходит большая Мистерия...  
 Подставляюсь цвету и звуку...  
 Доспехи, копыя, Рожериу!..<sup>4</sup>

.....

Но, увы, мечта реальна: отчетливо проявляется!  
 И раз она существует... она прошла!..

.....

.....

Печаль, наполняющая меня, верни мгновенье назад!

— Моя душа Озвончена!...

.....

(Рю дез Эколь, пятьдесят).

*март 1913 года — Париж*

Перевод Марии Мазняк

## Я сам — Другой

Посвящается Карлушу Франку<sup>1</sup>

**12 октября 1907 — Лиссабон.**

Я — золотой кинжал, лезвие которого затупилось.  
Моя душа текучая — меняет форму, чтобы истончиться.  
Тяжелое только мое тело. Моя душа заточена в прихожей.

Я не боюсь при виде страха. Боюсь лишь увидеть  
себя самого. Ах, если бы я был красивый...

Стыжусь себя, того величия, что чувствую в себе.

Я настолько велик, что только сам себе могу рас-  
крыть свои секреты.

Я никогда не чувствовал сомнения. Всегда чувст-  
вовал холод.

**1 ноября.**

Открытые окна остаются закрытыми...

### 13 НОЯБРЯ.

Как жаль, что я постоянно заблуждаюсь. В себе и в других.

Я всегда оставался, никогда не двигался, даже когда я потерял себя.

Иногда я решаю уйти. И ухожу. Но я никогда не смогу прийти. И если это не по моей вине, то по вине других, кто меня поманил.

Они сами, поманив меня, сделали это, чтобы убедиться, что я бы никогда за ними не пошел — *и они бы страдали*. А так как я пошел на их приманку, они разочаровались во мне и убежали, дразня меня. И я их отбросил.

Только мне позволено быть счастливым, при условии, что это не так.

### 2 ДЕКАБРЯ.

Невероятно!

Почти все довольны собой — *себя им себе достаточно*. Они живут и процветают. Создают семьи. И кто-то их целует.

Какая пошлость! Какая пошлость! *У них нет даже смелости хотеть осмелиться!..*

Ничтожества!

### 30 ДЕКАБРЯ.

... А открытые окна, все время... все время закрыты...

Я застрял внутри себя.

Я больше себя не созидая.



**20 июня 1908 — Рим.**

Города! Города!

Истязая себя переездами. Только так я могу лучше закрыть глаза.

Уже шесть месяцев мотаюсь по Европе... Нигде не бываю больше недели. Так мне удастся себя опередить...

.....

Но, увы, я тут же себя догоняю...

**12 октября 1908 — Париж.**

Пепельные руины золотых статуй; пурпурные слепые сфинксы; троны без ступенек и большая мраморная лестница, устланная рогожей!..

— Но зачем я так смотрю на себя, зачем?.. Эта жажда спуститься в себя задерживает меня. И всё же я так горжусь, что вышел из себя...

Если бы я только был тем, кто я есть... Это была бы победа!..

**13 октября.**

В итоге, только одно: *я непомерен себе.*

**15 ноября.**

Может быть, я целый народ? Мог бы я охватить всю страну?

Может быть.

Одно скажу определенно: я ощущаю Площади внутри себя.

**16 НОЯБРЯ.**

Точно! Точно!

Я стал народом...

Широкие пустынные дороги... деревья... реки...  
башни... мосты... много мостов...

Я не могу себя заполнить. Я непомерен себе.  
Я болтаюсь внутри себя.

**14 ДЕКАБРЯ.**

Мой дух ускользнул.

Я перешел черту.

Смотрю хладнокровно в лицо себе, и я почти  
счастлив.

**22 ДЕКАБРЯ.**

Покой... покой...

**5 ЯНВАРЯ 1909 — ПАРИЖ.**

Сегодня я впервые его встретил.

Это было в Кафе. Я вдруг увидел, что он сидит напротив меня... Все места в Кафе были заняты. Вот почему он сел за мой столик.

Но я не видел, как он садился. Когда я его заметил, он уже сидел напротив меня. Никто нас не представил, а мы уже беседовали друг с другом...

Какой он красивый!

А какой победный взгляд, что освещает его худое, изможденное лицо?... Кольцами спадают локоны его длинных волос. Он — яркий блондин. Мне захотелось впиться в него губами...

Да, он, кажется, смог бы стать мной.

10 января.

Теперь мы встречаемся каждый вечер. Долгие часы проводим вместе.

Я не знаю, ни кто он, ни откуда он появился.

Мы плохо понимаем друг друга. Никогда не приходим к согласию. Раз за разом он задевает меня, унижает меня. В итоге *он ставит меня на мое место.*

Он ни о чем не думает так, как думаю об этом я.

Он весь из другого цвета.

Его общество мне невыносимо. И всё же я повсюду ищу его. Когда он не приходит на назначенные встречи — а это случается очень часто — меня наполняет бесконечная печаль.

Странно, однако, то, что я до сих пор не видел, как он *приходит*. Когда я замечаю его присутствие, он уже стоит напротив меня.

Иногда он приходит очень поздно. Когда он наконец появляется, я чувствую себя усталым, истощенным, — словно только что совершил невероятное усилие.

Я никогда не слышал его шагов.

Он сказал мне, что он русский. Но я ему не верю.

**18 ЯНВАРЯ.**

В наших беседах мы касались всех тем. Но говорили мы только о наших душах. Я полностью открыл ему свою. Кажется, он поверил мне.

У него такие длинные, длинные пальцы...

**27 ФЕВРАЛЯ.**

Первый раз, с тех пор как я познакомился с ним, я не видел его целую неделю.

Только тогда я смог по-настоящему почувствовать, что связывает меня с ним.

Это не влечение, хотя я и испытал желание поцеловать его. Это ненависть. Бесконечная ненависть. Но это достославная ненависть. Вот почему я ищу его. И живу только, когда он рядом. Да, это правда: сейчас я живу только, когда он рядом.

**12 МАРТА.**

Мой друг становится поистине невыносимым. Он делает из меня свою игрушку. При каждом случае он высказывает мне свое презрение.

С каждым днем его суждения всё более извращенные и более прекрасные.

**28 МАРТА.**

Сегодня мне пересказали гнусные вещи о моем друге.

**3 АПРЕЛЯ.**

Тем не менее, как он велик!

Пусть даже он порочен — но он сто́ит больше, чем  
все остальные.

Он — весь напряжение, весь огонь.

Когда я рядом с ним, я понимаю, каким бы я хотел  
быть: и *кто я есть по ошибке*.

Будь я им, я не был бы чрезмерен себе.

В сущности, все его суждения — мои.

Просто, я не хочу поддаваться тому, о чем думаю.  
У меня есть гордость. Пожалуй, этого ему не хватает.

Я значительнее, чем он. *А он — красивый.*

Он прекрасный, как золото и великий, как тень.

Открытые окна открылись мне в нем.

**15 АПРЕЛЯ.**

Должен ли я убить его?

**30 АПРЕЛЯ.**

Я должен действовать. Чувствую, как моя лич-  
ность низвергается.

Шаг за шагом моя душа уподобляется его.

У меня хватает духу восхищаться им. Так я могу  
потерять себя.

По крайней мере, пусть мы будем самими собой.

А я уже не верю в свои страдания...

**5 мая.**

Он часто рассказывает мне о своих любовницах.  
Но я никогда не видел его любовниц.  
Я не знаю, где он живет.

**18 мая.**

Я никогда не смогу забыть его. Всегда буду помнить его слова.  
Только никак не вспомнить мне звук его голоса.  
А вот его шагов я еще ни разу не слышал.

**12 июня.**

Я определенно намерен сбежать от него.

**19 июня.**

Наконец! Ушло очарование...Уезжаю сегодня утром.

**20 июня 1909 — Лиссабон.**

Я вернулся. Но как все изменилось вокруг меня...

**22 июня.**

Мои друзья считают, что я сильно изменился. Они говорят, что теперь у меня другой голос, другие манеры, другое выражение лица.

Возвращаюсь домой, исполненный страха.

Смотрю на себя в зеркало...

Ужас!

Вижу на своем лице, как насмешку, гримасу презрения его лица.

Что-то громко говорю...

И в первый раз вспоминаю звук его голоса...

Расхаживаю по комнате...

Я весь дрожу!

В первый раз я слышу его шаги...

**30 июня.**

Мне необходимо излечиться от этого наваждения.

**1 июля.**

Боже мой! Боже мой! У меня больше нет моих жестов и моих прежних мыслей. Я весь изменился. Я весь звучу фальшиво...

И все сторонятся меня... все бегут от меня...

Все... Как я их ненавижу... Какими низкими я их считаю...

Он, да, он — велик! *Он превосходит всех.*

**20 июля.**

Что за невыносимая галлюцинация!

Я больше не могу защищаться.

Я говорю. И внезапно мои слова распадаются.

То, что я говорю, это значит, что он это думает...

**25 июля.**

Сажусь за рабочий стол.

Собираюсь начать работу, над которой давно размышляю.

Пишу первые строки.

Встаю из-за стола недовольный.

Не могу принять свои мысли.

Они кажутся мне пошлыми.

Не верю в то, что пишу.

Сомневаюсь, что у меня есть талант.

Прав Другой.

Если бы у меня был талант, я был бы красивым.

И у меня были бы длинные пальцы.

И я был бы бледным.

И я никогда не знал бы, который час.

Рву все, что написал.

Меня тошнит от самого себя.

**26 июля.**

Раньше я целовал себя в зеркале.

**2 августа.**

Сегодня я написал несколько страниц.

В них я верю.

Они — настоящее произведение искусства.

Читаю их вслух и сияю от гордости...

.....



Но тут же впадаю в ярость.  
Рву их тоже.  
Они не мои.  
Если бы я его не знал, я никогда бы их не написал...

**6 АВГУСТА.**

Он носил странное золотое кольцо на левой руке.  
Однажды он рассказал мне, что нашел его в море,  
когда был ребенком.  
И что был похищен моряками.

**20 АВГУСТА.**

Всё вокруг меня одни мои обломки.  
Золотые нити тянут меня в пропасть.

**25 АВГУСТА.**

Но я не хочу! не хочу! не хочу!..

**2 СЕНТЯБРЯ.**

Вот правда, страшная правда: Час за часом я усколь-  
заю от себя. Я переполняюсь.  
Как я страдаю...

**8 СЕНТЯБРЯ.**

Загадка!

Я не давал ему свой адрес; и не сказал, куда пойду, а сегодня — сегодня, да, у себя дома! — я получил от него телеграмму. Он приезжает завтра.

Будь он проклят!

**9 СЕНТЯБРЯ.**

Вот что было дальше:

Я решил запереться дома, приказал слугам никого не впускать.

Но меня охватил жуткий страх.

Я вышел...

И вдруг он шел рядом со мной!..

**10 СЕНТЯБРЯ.**

Что со мной будет? Что со мной будет?

**15 СЕНТЯБРЯ.**

Он никогда не оставит меня...

**18 СЕНТЯБРЯ.**

Мои чувства стали меняться. Звуки скрежещут мне в других ароматах. Я чувствую цвета иными путями. Свет пронзает меня.

**26 СЕНТЯБРЯ.**

Как я боролся!

**27 СЕНТЯБРЯ.**

Ах!..

**28 СЕНТЯБРЯ.**

Конец!..

Я больше не существую. Я устремился в него.

Я весь запутался.

Мы перестали быть собой. Теперь мы едины.

Я это предвидел; это было неизбежно...

Как же я его ненавижу!..

Он постепенно засасывает меня.

У него пористое тело. Он впитал меня.

Я больше не существую.

Я исчез из жизни.

Я застрял внутри него.

Осколки!

**2 ОКТЯБРЯ.**

Больно от того, что он даже не знает, что поглотил  
меня, потому что никогда не восхищался мной.

*Если бы он мной восхищался, тогда бы я его поглотил.*

**6 ОКТЯБРЯ.**

Я хочу убежать, я хочу убежать!..

Может ли быть больше мучений?

Я есть, но это не я!..

Я сам — другой... Я — другой... Другой!..

.....

**8 ОКТЯБРЯ.**

Куда идет он, иду и я. Но я никогда не знаю, куда он идет...

Его экстазы — мои экстазы. Но только он ощущает.

Его мечты — мои мечты. Но только он их не воплощает.

Как мне освободиться?..

**12 ОКТЯБРЯ.**

Негодяй!..

**17 ОКТЯБРЯ.**

Только не это! Только не это!

.....  
.....  
.....

**13 ЯНВАРЯ 1910 — С.-ПЕТЕРБУРГ.**

Наконец — победа!

Я решился!

Убью его сегодня ночью... пока Он будет спать...

.....  
.....

*Лиссабон — ноябрь 1913.*

Перевод Марии Мазняк

## Загадочная смерть профессора Антенy

Посвящается Кортеш-Родригешу<sup>1</sup>

Даже среди самой обычной публики смерть профессора Домингуша Антенy произвела настоящую сенсацию. Не потому, конечно, что она стала невосполнимой утратой для Науки, но по причине детективной интриги, которой была облечена эта история.

Призрачный автомобиль, появившийся неизвестно откуда, сделал головокружительный вираж и таинственным образом исчез непонятно куда. Несмотря на все старания, было невозможно найти ни единого следа и не помогли даже допросы некоторых шоферов, у каждого из которых оказалось неоспоримое алиби. Конечно, такой сюжет тотчас же стал находкой для ежедневных газет, которые, по странному совпадению, в то время как раз нуждались в подобного рода происшествиях.

К тому же фигура профессора Антенy была довольно популярной. Неизменно гладко выбритое бледное лицо с утонченными чертами и неопределенно странным выражением; глаза, всегда скрытые за си-

ними квадратными линзами солнцезащитных очков, черное пальто — и зимой и летом — которое подошло бы скорее художнику, чем ученому, длинные волосы и шелковый галстук, завязанный большим бантом — все это выделяло фигуру профессора в глазах недалекой толпы. При всем этом ни единого грубого слова, ни одной привычной для нас даже на улицах главного города — Лиссабона — типичной португальской сальности профессор никогда ни от кого не услышал в свой адрес. А ведь, в отличие от ученых, поработанных условностями, и художников-кастратов, в панике бегущих от толпы, от Европы, от прогресса — профессор любил движение и волнение человеческого потока — особенно в благословенные часы созидательного труда. Ведь и действительно — творческое воображение присуще ученому не меньше, а, может быть, даже больше, чем Художнику. Наука — это, вероятно, величайшее из искусств, она стремится к сверхъестественному, к ирреальному, к Потустороннему. Художник — предчувствует. Творить — значит предвидеть. Поэтому можно сказать, что Ньютон и Шекспир — равны в своем творческом порыве.

Ничто не делает человека столь привлекательным — как легенда, и фигуру профессора Антенны давно окружал ореол Тайны. Ученые традиции, продолжателем которых стал профессор, были столь загадочны, столь возвышенны были цели его изысканий, что лаборатория профессора со всеми ее приборами и аппаратами больше напоминала грот волшебника, чем кабинет ученого. Газеты неустанно героизировали образ профессора, рассказывая о чудесных исцелениях,

которые происходили после его вмешательства в лечение некоторых больных при помощи своего метода ультрафиолетовых лучей, так что со временем его гуманитарная миссия, облеклась в глазах простого народа ореолом святости.

Поэтому трагическая смерть профессора встретила и взволновала многих. Во всем городе, более того — во всей стране это происшествие стало самой громкой и обсуждаемой новостью на несколько недель.

Как же могло получиться, что я, любимый ученик, а теперь, увы, и наследник профессора, единственный свидетель его трагической гибели, не видел ничего, не сохранил в своей памяти ни одной детали, которая могла бы помочь идентифицировать автомобиль, который сбил профессора?.. Стоит заметить, что трагедия произошла у поворота дороги, и часть дорожного покрытия оказалась серьезно повреждена. А значит автомобиль никак не мог промчаться по тому участку дороги со скоростью болида... На все эти замечания я возражал, что многое могло ускользнуть от моего сознания, скованного ужасом. Этот довод, несомненно был принят во внимание. Однако, несмотря на то, что мое доброе имя никогда не было запятнано никаким преступлением, несмотря на тесные, почти родственные, узы, которые связывали меня с Мастером, я, признаться, не уверен в том, что подозрения не пали бы на меня, если бы раны, нанесенные сбившим его автомобилем, не были столь очевидны. Раны эти были не только очевидными, но еще и весьма странными: кроме раздробленного черепа, сломанных ног, этих впол-

не реальных, пусть и ставших следствием чудовищного насилия увечий, было и еще одно — едва поддающееся разумному объяснению: глубокая проникающая рана конической формы в центре живота, нанесенная, судя по всему, большим сверлом с треугольным алмазным наконечником, которое с огромной силой вонзили в тело профессора.

Некоторые предполагали, что роковой автомобиль принадлежал каким-нибудь бандитам вроде банды Бонно<sup>2</sup>, которые в тот день и час, спасались от погони после очередного преступления. Но никаких серьезных преступлений, как выяснилось, в тот день замечено не было, и эту гипотезу в духе рассказов о Шерлоке Холмсе быстро забыли. В итоге, поскольку необъяснимое объяснению не поддается, и может быть только принято или отвергнуто, странную смерть профессора Антенны пришлось принять в качестве обычной автокатастрофы. В скором времени об этом происшествии постепенно начали забывать, и оно так и осталось неразгаданной тайной...

Некоторое время мое имя не сходило со страниц желтой прессы. Многие репортеры, в том числе иностранные, искали меня, чтобы взять интервью. Но на все вопросы я мог ответить им только горестным сожалением, только скорбными слезами и всегда одинаковым кратким рассказом о происшествии: огромный автомобиль внезапно на немыслимой скорости возник из-за поворота... потом железный скрежет тормозов, облако пыли... и труп Мастера, изувеченный и распластаный на дороге...

.....



Теперь, когда с момента катастрофы прошел год, я, наконец, решил прервать молчание. Это решение я принял только теперь, потому что только теперь я обладаю документами, которые могут подтвердить мои слова или, по крайней мере, делают мою гипотезу более правдоподобной и более убедительной. Сразу после трагедии я не мог рассказать правду, и думаю, все поймут почему, дочитав до конца то, что я сейчас пишу. Только безумец мог бы тогда начать говорить. Это было бы — равносильно диагнозу. Поэтому я молчал. Ведь высшим проявлением разумности является стремление скрыть неправдоподобные стороны реальных фактов. Правду без изъятий говорят только в особых случаях. Это можно считать аксиомой.

Перейдем, однако, к делу.

Сейчас я хотел бы изложить самым точным образом обстоятельства смерти профессора и дать этому событию объяснение в соответствии с документами, обнаруженными мною среди его бумаг. Разумеется, тому, кто захочет ознакомиться с этими документами более подробно, я готов их предоставить. К сожалению, в них, очевидно, очень много лакун. Обладая поразительной памятью и будучи еще более, чем какой-либо художник, ревнивым к секретам своего мастерства, профессор Антена ограничивался в большинстве случаев формулами, беглыми набросками, телеграфно краткими заметками, иногда не поддающимися расшифровке, в которых он заключал свои идеи и размышления, приведшие его к определенным выводам. На основании этих заметок профессор написал целый ряд популярных трудов о тех областях, в которых он проводил свои

исследования, и сами эти исследования были основаны на дневниковых записях. Книги профессора стали для всех нас восхитительным и увлекательным чтением, но последняя из этих книг — Фантастическая — так и осталась не написанной. Случись иначе, и теперь человечество шагнуло бы на тысячу веков вперед и, кто знает, вероятно, и самая великая Тайна — была бы сейчас разгадана...

Теперь я постараюсь быть ясным и лаконичным.

Повествование свое для большей наглядности я решил построить следующим образом: сначала я восстановлю правдивую картину трагического происшествия; и уже потом в предельно кратком изложении союдиню заметки профессора, которые рассеяны в его бумагах, и, будучи собраны, построены, и осмыслены, в общей своей совокупности, не только приоткроют для нас некоторые таинственные явления, но еще и дадут нам, если не однозначное объяснение, то, по крайней мере, достаточно устойчивую гипотезу странной смерти профессора Антенны.

\* \* \*

В апреле прошлого года, если быть более точным — двадцатого числа — когда я, по обыкновению, пришел к профессору, его служанка передала мне записку. Я развернул сложенный вдвое листок и был крайне удивлен содержанием этого послания:

*«Не ищи меня, пока я сам тебя не позову. Мне нужно побыть одному, на некоторое время остаться в полном уединении. Не беспокойся. Ты будешь первым, с кем*

*я поделюсь новостями. Прощай и извини меня. Помни, что даже эта записка — секрет.*

*P. S. Будь готов получить от меня известие в любую минуту, и как только я позову, не медля — отправляйся, куда я скажу».*

К странностям профессора я давно уже был привычен, поэтому, прочитав записку, я снова сложил ее вдвое, положил в карман и ушел...

Однако в последующие несколько дней я постоянно возвращался в мыслях к этой записке. Почти мучительное любопытство не давало мне покоя... Что означало это столь внезапное и столь необычное для профессора уединение? Должно быть, какое-то новое открытие... Я хорошо знал профессора, поэтому мне ничего другого не оставалось, как подчиниться и ждать...

Все указывало на то, что профессор был занят новым открытием. Задумавшись об этом, я припомнил, что в последнее время, и особенно с начала нового года, Учитель сосредоточенно работал над каким-то исследованием. Рассеянные движения, бессвязные ответы, а в самые последние дни — торжествующий вид, очевидное нетерпение и торопливость, все это свидетельствовало о том, что в скором времени его гений откроет перед нами новые грани чудесного...

И вот через две недели после того, как я прочитал записку профессора, ранним утром в моем доме раздался резкий, нетерпеливый звонок. Срочная телеграмма — от профессора: «Обязательно приходи к шести часам». До указанного часа времени оставалось мало, и мне самому хотелось поскорее увидеть профессора,

поэтому я быстро оделся, выпил чашку теплого молока и вышел из дома...

Ровно в шесть часов я постучал в дверь профессора. Дверь мне открыла старая служанка: «Сеньор просит Вас подождать в гостиной», — сказала она.

Еще одна странность. Ведь обычно, как только я приходил к профессору, даже не встречая и не спрашивая никого, я тотчас же шел в павильон, расположенный в центре сада, где находилась лаборатория.

Провожая меня, разговорчивая старушка шепнула: «Что творится, Господи Иисусе... он не выходит из этой пещеры уже вторую неделю». «Пещерой» старушка называла лабораторию. «Только, чтобы поесть. И то, он не позволяет мне заходить туда... приказал повесить там колокольчик. Вот — смотрите».

После этих слов она нажала на кнопку в небольшой прихожей лабораторного павильона.

Через минуту появился профессор, он стремительно подошел и крепко обнял меня.

Вид его меня удивил. За две недели, в течение которых я не видел профессора, он сильно изменился. Кажется, он заметно похудел, но главная перемена была не в этом... самым странным было то, что черты его лица *сместились*. Не изменились, а именно *сместились*. Это было очень странно... и в то же время — очевидно. А сквозь линзы его очков я видел, что изменился и блеск его глаз, он стал ярче и теперь его окружал светящийся ореол.

Как только служанка вышла, профессор воскликнул: — Наконец-то!.. Наконец-то!.. Пока еще неизвестно, точно сказать не могу, но при этом я — почти

уверен. Сейчас ты увидишь! Сейчас!.. Ты не представляешь... Все мои прежние работы пустяк по сравнению с этой... Самая волнующая загадка! Великая Тайна!.. Здесь я ничего рассказывать не буду... Пойдем... Хочу, чтобы ты был рядом во время этого Невиданного Открытия! Поэтому я и позвал тебя. Я же обещал, что ты будешь, первым, кто *узнает*. Первым!.. Подожди здесь немного.

Он вышел из прихожей, и, когда появился снова, на нем была шуба. Происходило это в мае. И хотя по утрам было еще довольно прохладно, я был удивлен, что вместо привычного черного пальто, профессор надел какую-то шубу, которую прежде я никогда на нем не видел. Кроме того, на руках профессора были большие серые перчатки на бобровом меху, а вокруг шеи был намотан странный широкий шарф, скрывающий подбородок.

Едва мы вышли на улицу, профессор остановился и внимательно осмотрелся. Что-то внушало ему беспокойство. Потом он достал из кармана предмет, похожий на часы, и посмотрел на него, как будто засекая время... И вдруг он резко схватил меня за руку и, не сказав ни слова, отстранил назад. Я вопросительно посмотрел на него, и только в тот момент заметил еще одну перемену: квадратные линзы его очков изменили цвет, теперь они были не синего, а грязно-желтого цвета. Этот цвет был отвратителен, от него становилось *страшно*. Да, именно страшно, особенно если приходилось смотреть на линзы этих очков немного дольше, чем обычно. И я никак не мог понять, что же это за цвет. Мои глаза не видели его, но скорее ощу-

щали. Да, ощущение было именно такое: как будто я осязал этот цвет. Не видел, а осязал, и он был похож на что-то липкое. Заметив это, я, наконец, понял, что именно от этих новых очков и происходила та странная перемена в лице Учителя: *именно они и сместили черты лица профессора.*

Пока мы шли по улицам города, профессор часто смотрел на свои часы, которые, как я в какой-то момент смог заметить, вовсе и не были часами. Рассмотреть как следует этот предмет я не успел, но достаточно ясно увидел, что циферблат этих часов — был красным, и вместо цифр на нем были цветные полоски. Спросить профессора об этом странном предмете я не решился, он заранее предупредил меня, что ничего на подобный вопрос не ответит. К тому же, я ведь и так должен был все узнать в самое ближайшее время?..

Судя по всему, эти загадочные часы служили профессору чем-то вроде компаса, по крайней мере, так казалось, поскольку каждый раз прежде чем куда-нибудь повернуть, он сверялся с часами.

Мы шли два часа и давно уже покинули пределы города, оказавшись в одном из тихих предместий. Тем не менее даже там нам встретилось два автомобиля. Учитель шел молча, только время от времени произнося что-нибудь односложное... Меня он держал за руку, так что мне приходилось идти немного позади него...

Душевное мое состояние во время этой прогулки сложно определить одним словом. Я шел вслед за профессором, точно загипнотизированный. Если бы я захотел остановиться по своей воле или пойти, куда

профессор не направлял меня, из этого ничего бы не получилось. Каждый мой шаг был как будто отражением шагов профессора. Дрожь пронзала все мое тело, точно я знал, что мы идем навстречу смертельной опасности. Я чувствовал, что нас влекла какая-то Таинственная сила...

Вдруг неожиданный холод пробежал по кончикам моих пальцев... И тотчас же после этого я ощутил тепло прекрасного майского утра...

.....

В какой-то момент мы свернули на одну из узких улочек предместья. Все вокруг было сковано тишиной... Такой глубокой, что где-то вдалеке мы могли слышать бой колоколов на деревенской колокольне... было десять часов... И вдруг — ужасное мгновение — Учитель застыл на месте... Я почувствовал, как тело его сотрясает сильная дрожь... А потом он поднял руку и указал на что-то... Его лицо исказила гримаса ужаса... Ладони нервно сжались... Он хотел бежать... Резким движением устремился вперед... Но не смог сделать и шага... И тотчас же после этой прерванной судороги профессор упал на мостовую с раздробленным черепом, переломанными ногами и странной конической раной в области живота...

Окаменевший от ужаса, я смотрел на все это, и не мог ни произнести ни единого слова, ни сделать ни единого жеста, ни шагнуть в сторону... Тело мое было точно сковано приступом удушья... Я чувствовал, что вот-вот упаду замертво, вслед за профессором... Но вдруг, через несколько мгновений, оцепенение мое ис-

чезло, и я закричал: это был даже не крик, а ужасный вой отчаяния...

.....

Первыми мне на помощь пришли двое рабочих, трудившихся где-то неподалеку, которые шумно, перебивая друг друга, тотчас же начали на все лады проклинать автомобили... Через некоторое время нас окружила небольшая группа людей, привлеченных шумом...

В конце концов, я все же собрался с силами, и самообладание вернулось ко мне. Было очевидно, что правду, невероятную правду, я сказать не мог, поэтому мне пришлось согласиться с той версией происшествия, которая возникла почти сразу — сама собой, тем более, что на дороге действительно были следы шин, оставленные, должно быть, автомобилями, которые проехали возле нас незадолго до катастрофы.

Кто-то позвал полицейского из ближайшего отделения, и я рассказал ему ту версию происшествия, которая и стала впоследствии общепринятой: огромный автомобиль на головокружительной скорости возник из-за поворота... оглушительный визг тормозов, облако пыли... и труп...

.....

Дальнейшее хорошо известно: морг, пышные похороны, шумная суeta прессы, безрезультатное расследование...

Публика, однако, узнала не все подробности этого дела. Вот некоторые из них. После того, как труп перевезли в морг, едва оправившись от пережитого ужаса,



я побежал к дому Учителя, чтобы сообщить старой служанке о случившейся трагедии и сказать, какие необходимо сделать приготовления перед погребением. Когда она открыла мне дверь, ее лицо было мертвенно-бледным — от ужаса... она дрожала... И, увидев меня, тотчас же сбивчиво начала рассказывать о том, что услышала в лаборатории громкий шум, хотела пойти посмотреть, что там происходит, но испугалась, потому что оттуда исходил страшный жар...

Не дослушав ее, я бросился в лабораторию. И действительно, там повсюду слышался странный шум, как будто множество невидимых пчел жужжало где-то поблизости. Я понял, что на размышление времени нет... Распахнул дверь, которая против обыкновения поддавалась не сразу... и вошел...

Посреди лаборатории на столе располагался аппарат, которого я никогда прежде не видел. Именно он издавал странное жужжание, и от него же исходило тепло. Аппарат бал похож на небольшой мотор, у которого вместо маховика был небольшой пропеллер, образованный тремя соединенными между собой стеклянными пробирками... В пробирках была какая-то фиолетовая субстанция, источавшая черное свечение и образующая вокруг себя темный ореол. Да, именно так. Исходящие от субстанции лучи — были черными. Постараюсь объяснить иначе: лаборатория была освещена электрическими лампами, поскольку все окна были закрыты черными гардинами. А вокруг аппарата был ореол другого света, *не тени, а именно света*, и по-другому я назвать его не могу — черного света. *Это было похоже на бестелесный поток, выпускаемый*

черным агатом. Да, думаю так будет точнее всего, поскольку этот камень — черный, в то же время — блестящий, и при этом ни в какой степени — не темный. И таким же был этот таинственный — *призрачный* — свет. В его ореоле, подобно искрам, мерцали фиолетово-золотистые корпускулы. Еще вращающиеся колбы этого Таинственного аппарата были не только светоносными. Кроме света, они источали густой, смутный, мелодичный запах и издавали едва слышный *дымящийся* звук. Вокруг аппарата воздух был напряжен, и время от времени где-то рядом раздавались звуки, похожие на хлопок небольшого взрыва, разносимые по лаборатории круговым эхом.

Тело мое было сковано паническим ужасом, я боялся, что еще немного, и этот аппарат испепелит меня своим жаром. Только вернувшееся самообладание спасло меня: я подбежал к рубильнику и выключил ток, который приводил аппарат в действие... Движение колб тотчас же остановилось... Я внимательно взгляделся в них; и заметил, что фиолетово-золотистая субстанция испаряется — *как будто прежде ее источником было движение.*

.....

Инструмент, который я сначала принял за часы и который служил нам компасом во время той роковой прогулки, был найден в одном из карманов профессора. Так же как и от очков с причудливыми линзами — от него остались одни осколки. Таким образом, из всех предметов, которые имели какое-либо отношение к трагическому происшествию, в моем распоряжении

остались только три пустые пробирки и аппарат, который сам по себе не казался чем-то необычным.

И все же я поклялся самому себе, что постараюсь напасть на верный след. И как только я вступил во владение наследством, которое мне оставил профессор, тотчас же все мои стремления обратились к тому, чтобы найти хотя бы тончайшую нить, способную привести к разгадке ужасной тайны.

Теперь, наконец, восстановив материалы со всей возможной тщательностью, я публикую результаты моих исследований, которые продемонстрируют возможность объяснить эту Тайну при помощи простых научных инструментов.

### \* \* \*

«Как мало мы знаем о самих себе. Вокруг нас — все молчит. Что есть жизнь? Что есть смерть?.. Где мы находимся, откуда приходим, куда идем?.. — Тайна. Туман. Смутная тень... Благоразумные люди не верят в призраков!.. Но не призраки ли мы сами?.. Тайна?.. Вглядимся в себя: Абсолютная Неизвестность, Величайшая Тайна — это мы сами... Ах! И отчего нас не сковывает ужас, каждый раз, когда мы смотримся в зеркало!.. Героические сновидцы Потустороннего, оставим будущее, забудем Завтра. Давайте попытаемся хотя бы понять прошлое, постичь его и узнать, кто мы здесь, по эту сторону времени».

Так профессор Антена, наряду с другими великими учеными, коснувшись магии и спиритизма, сосредоточился в своей работе на новом пути, который

был открыт его поразительно просветленным умом: не стремясь отвлечь наши стремления от познания будущего, от постижения Посмертного, он предложил — сначала познать прошлое, настоящее, здешнее. Действительно, и логичнее, и *проще* и даже интереснее сначала познать Минувшее и уже затем Грядущее, раз уж и то и другое нам в равной степени — не известно.

*То, что уже случилось — оставило следы.*

Приняв это положение в качестве аксиомы, Учитель начал искать следы.

— Где же их искать?

— Разумеется, в нас самих.

Во всеобъемлющей тайне нашего бытия — что нам видится самым загадочным? Разум, или точнее — воображение. Несомненно. Ведь что может быть более странным, чем тот факт, что наш мозг, категорически не желая признавать необъяснимое, в то же время столь же непрерывно, сколь невольно нагромождает одна на другую огромное множество фантазий. Если наш мозг способен воспринимать только то, что мы видим и чувствуем, а значит *то — что существует*, как же, таким образом, можно объяснить, что ему грезится несуществующее? Если, например, не существует ни фей, ни колдовства, ни богов, ни чудес, как же люди смогли *осуществить* их бытие в своем сознании?..

Что питает истинное искусство?

— Фантазия.

— Чем живет гений?

— Творческой силой. Иначе говоря — фантазией, раскрывшейся в полной мере.

Да, именно так. И если наш разум способен воспринимать только осязаемое, как же он может помыслить о том, к чему невозможно прикоснуться?

Такое положение вещей кажется поразительно непоследовательным...

Непоследовательным? Да. Но, может быть, только на первый взгляд. Представим: например, однажды мы увидели некий пейзаж и затем покинули это место. Поскольку увиденный пейзаж нам уже знаком, позднее, *вдали от него*, мы сможем, если захотим, вспомнить и представить его, то есть воссоздать нематериально, то материальное, что видели когда-то собственными глазами. Никакого другого способа воспринимать окружающий мир у нас нет. А если так, что мешает нам предположить и считать правдоподобным предположение, согласно которому подобную природу имеет и наше воображение?

Если развивать эту идею, то воображение нужно будет признать ни чем иным, как совокупностью воспоминаний. Воспоминаний очень отдаленных, о вещах, которые мы уже не помним, но все-таки когда-то видели, поскольку способны *увидеть снова*. Еще один аргумент в пользу этого предположения состоит в том, что *воображение не безгранично*. Художник, который хочет создать произведение, очевидно ограничен в выборе видов Искусства: он будет или живописцем, или поэтом, или скульптором, или музыкантом, или архитектором. И как бы высоко ни простирался его гений, он не сможет создать шедевр, который не был бы поэмой, зданием, партитурой, статуей или картиной. Если бы воображение было свободным, а точнее — если бы

оно было собственно воображением, а не воспоминанием, этих бы ограничений не существовало. Тогда Художник мог бы создавать иные произведения, иные Искусства и только то творение мы называли бы по-настоящему гениальным, которое открыло бы нам грани Нового Искусства.

В конце концов, и в той области жизни, которая не имеет отношения к искусству, все наши желания сводятся к довольно немногочисленным и понятным предметам. Кому-то, например, грезятся телесные наслаждения. Но даже самый выдающийся онанист никогда не достигнет высот, на которых сможет создать новый экстаз, который будет уже не экстазом, а чем-то иным, большим, всеобъемлющим. Чем-то пронзительным, чем-то другого цвета, которого прежде не существовало.

Итак, на основании сказанного выше, мы можем заключить, что: Фантазия является самым загадочным свойством человеческой природы, которое более, чем что-либо иное, отличает человека от других животных, воображение есть фактор любого явления, и, следовательно, оно должно быть и фактором воспоминаний. Это означает что:

*«Мы можем вообразить только то, что видели, или то, что помним. А если мы видели нечто, фантазия в этом случае будет названа памятью. Если же мы только воображаем, но не помним о том, что видим воображаемые предметы — это чистая фантазия.*

*Человек, сохранивший больше воспоминаний, чем другие, обладает более протяженной памятью. Поэтому гений — это тот, кто забывает меньше, чем другие».*

Если мы примем эту правдоподобную гипотезу, у нас будут все основания предположить, что до настоящей жизни — были и другие. А фантазия, таким образом, есть ни что иное как смутные, отдаленные, туманные воспоминания, которые сохранились в нашем сознании от минувшей жизни. И если так, то настоящая жизнь по отношению к предыдущей есть не более чем смерть или, скажем, «иной мир».

— Но как же в таком случае осуществляется переход от одной жизни к другой, при котором в последней сохраняются воспоминания о предыдущей.

Согласно теории Учителя, главный момент заключается в адаптации к особенностям той или иной среды. Органы, сформированные в нашей жизни А, с течением времени, или вследствие других воздействий, понемногу атрофируются в соответствии с другой жизнью, иначе говоря, *видоизменяются*. И так до тех пор пока не произойдет полное их изменение, которое станет границей, и окончанием жизни А. Адаптируясь к другому существованию, органы становятся все более чувствительными к нему. Когда этот процесс завершается, начинается наша жизнь В. Это означает, что:

*«Каждая душа имеет свой возраст. И множество жизней — ничто не дает нам основание думать, что их числу положен определенный предел — суть ни что иное как последовательное приспособление к тому или иному возрасту».*

В связи с этим вспомним вот о чем:

Нынешние земноводные, которые сейчас обитают преимущественно на земле, в состоянии зародыша

отличаются всеми признаками существ, приспособленных, прежде всего, к водной среде. Изменилась их форма, изменились их органы. Прежде у них были жабры, теперь легкие. И сейчас они живут — что со всей очевидностью мы можем констатировать — двумя разными жизнями в двух различных средах. Поэтому не будет неосмотрительной дерзостью с нашей стороны предположить, что:

«И в прошлой жизни и в настоящей мы есть не более, чем последовательно сменяющиеся адаптационные формы одного и того же астрального существа. Человек — это куколка, наделенная памятью».

Такова гипотеза. Попробуем если не доказать ее справедливость, то хотя бы *привести в ее пользу убедительные доводы*.

Найдем в самих себе наиболее загадочные и таинственные явления, и попробуем понять, *отвечают ли они этой гипотезе*. Без долгих и сложных поисков остановимся на сновидениях и эпилепсии. Есть ли, действительно, более тревожные явления в нашей жизни, чем реальные, или, точнее, безудержно реальные, видения, являющиеся нам во сне, и приступы эпилепсии, которые сродни временной смерти, погружению в инобытие?..

Сновидения...

Предположим, что человек сохраняет воспоминания о другой жизни, другой метаморфозе, предшествующей настоящей. Если сохранились воспоминания, это значит, что сохранились некие отблески чувств, рудименты *органов* из другой жизни. (Примером этого явления могут служить некоторые хвостатые земно-



водные, у которых сохранились рудименты примитивных жабр в виде жаберной перепонки и дыхательного отверстия, которые функционируют наряду с легкими, что позволяет этим видам живых существ удивительным образом быть приспособленными к двум жизням одновременно).

Когда мы спим, наши чувства притупляются. В то же время частицы органов чувств из нашей другой жизни остаются активными, поскольку к ним данное состояние сна — не имеет никакого отношения. Таким образом получается, что наши чувства в состоянии сна не производят изображений из этого бытия, но при этом они и не до конца «отключены». Однако интенсивность этих чувств не настолько велика, чтобы подавлять чувства, оставшиеся у нас из другой жизни, что происходит, когда мы бодрствуем, и поэтому оба спектра чувств — работают одновременно. Отсюда проистекает бессвязность снов, беспорядочность видений, каковы суть своего рода бледные проблески, проникающие в мозг через спящие, *зыбкие*, чувства нашего нынешнего воплощения. Проще говоря: во время сна наши органы чувств воспринимают образы из другой жизни. Поэтому в нашем сознании и возникает множество произвольных образов, являющих в своей совокупности бессвязный континуум, *лишенный привычной для нас меры*, фантасмагоричный, кошмарный.

Довольно часто во время сна мы отчетливо ощущаем, что спим, и если при этом нам снится что-то страшное, делаем усилие, чтобы проснуться. Это есть ни что иное как следствие противостояния наших спя-

щих чувств из этой жизни и чувств-призраков из жизни минувшей.

Припоминание образов из прошлой жизни происходит тем активнее, чем глубже погружены в сон наши нынешние чувства. Поэтому «не видеть снов» означает погрузиться в настолько глубокий сон, который сделает наши нынешние чувства совершенно невосприимчивыми к образам из другой жизни.

Подобного рода явлением представляется и эпилепсия.

У эпилептиков адаптация органов чувств к нынешнему существованию по какой-то причине имеет прерывистую структуру, своего рода лакуны. Во время приступов эпилептик как бы возвращается в прошлую жизнь, которую затем никаким образом не может припомнить (так же, как ничего не помнит о том, что во время приступа происходило с ним и в этой жизни), поскольку в этот момент полностью восстанавливается адаптация его прежних органов чувств, и полностью отключаются его нынешние органы. Поэтому он ровным счетом ничего не сможет сказать, о том, что происходит с ним в эти моменты — ни в этой жизни, ни в предыдущей.

Кроме того, у нас нет никаких оснований считать, что число жизней ограничивается двумя. Напротив: все указывает на то, что мы проживаем целый ряд жизней, бесконечный ряд, или, точнее — кругообразный замкнутый ряд жизней, чем и объясняется, без каких-либо противоречий бессмертие Души.

Что же касается, например, безумия, оно, согласно теории профессора, является преждевременной

адаптацией к предстоящей жизни. Кроме того, вполне вероятно, что в нас уже сейчас зреют частицы будущих чувств, так же, как в прежней жизни еще до ее окончания, пробивались ростки чувств жизни нынешней. Такое предположение могло бы объяснить феномен дежавю, заключающийся в том, что время от времени нам кажется, что *некогда*, мы уже находились в той или иной ситуации, в которой на самом деле оказались впервые.

Действительно, вполне возможно, что в нашем прошлом воплощении, и скорее всего — когда в той жизни мы были уже близки к старости, в нашем организме уже возникли эмбрионы будущих чувств, воспринимающие действительность следующей жизни и запоминающие отдельные ее картины, с которыми впоследствии мы встречаемся в жизни настоящей.

«Таким образом, — пишет Учитель, — оглядываясь назад, я совершенно отчетливо чувствую, я помню цвета некоторых эпох, и особенно живо помню цвет романтического периода, то есть того времени, которое совпадает с периодом старости в моей прошлой жизни».

Есть еще один пункт, который нам необходимо рассмотреть, чтобы построить понятную гипотезу в отношении некоторых обстоятельств предшествующей жизни.

Я имею в виду следующее:

Прежде всего, заметим, что в этой жизни существуем не мы одни. Однако фантазией наделен только человек. Это означает, что человек — единственное

существо, обладающее памятью, единственная куколка, способная помнить свое прошлое.

Отчего это так?

На мой взгляд, здесь возможны два предположения:

В предыдущей жизни существовали разные виды живых организмов, каждый из которых умирал по-разному, то есть по-разному утрачивал приспособленность к жизни А и по-разному начинал адаптацию к жизни В. Это означает, что в жизни А есть только один вид живых существ, который в последующей жизни В превращается в человека.

Второе предположение казалось профессору более убедительным и более интересным:

В предыдущей жизни был только один вид существ, *но все они умирали по-разному*. Умершие в жизни А, рождались для жизни В. Существо, которое в большей степени умерло в жизни А, становится менее совершенным в жизни В. А значит: *«посмертная судьба существ, умерших в жизни А — не одинакова»*.

На основании этого предположения становится понятным и возникновение идеи загробного воздаяния, образов Ада и Рая, рая — для тех, чья жизнь была праведной, и ада — для тех, кто совершал дурные поступки. Идея эта — есть ни что иное как интуитивная адаптация к знанию, приобретенному нами в другой жизни, о котором у нас сохранились смутные воспоминания. В прошлой жизни мы знали, что от наших поступков зависит то, какой будет следующая жизнь. И поэтому в настоящей жизни мы предполагаем, что будущая будет зависеть от нашего нынешнего выбора

между добром и злом. Таким образом, быть добрым или злым — это своего рода выбор способа адаптации наших органов к последующему существованию, и соответственно, способа развоплощения в жизни настоящей:

«В предыдущей жизни, что кажется весьма вероятным, был один вид существ. Степень умирания каждого из этих существ была различной, и в соответствии с этим показателем, а также с тем, как мы поступали в прошлой жизни, определяется наша настоящая жизнь. При этом «хорошие» и «дурные» поступки тогда не имели нынешнего смысла и содержания».

*Фантазия состоит из воспоминаний. Только человек представляет возможность различной посмертной судьбы, поскольку он помнит о том, что некогда уже стоял перед подобным выбором.*

В этой фразе заключены основания второй гипотезы профессора, которую он считал более убедительной.

Мы, однако, пока еще и не коснулись самой загадочной стороны рассматриваемой проблемы.

Если мы предположим, что гипотеза о последовательных воплощениях верна, и сосредоточимся только на двух жизнях, настоящей и предыдущей, как мы сумеем определить местонахождение этих жизней, как сможем исследовать среду каждой из них?..

«Жизни эти располагаются одна над другой», считает профессор. И только существа, приспособленные вполне к одной из них, становятся нечувствительными к другой. Они не могут ни видеть ее, ни чувствовать, не смотря на то, что соприкасаются и пересекаются с ней.

Возникает вопрос: имеют ли эти жизни отношение к другим планетам?

Вполне возможно. Однако профессор ставил под сомнение существование множества планет. Согласно его записям (к сожалению, теперь мы уже не узнаем, руководствуясь какими умозаключениями, наблюдениями или экспериментами Учитель создал такую модель мира), планеты и звезды являются разными состояниями одного и того же времени, или, иначе говоря, одной бесконечной стихии, а разные жизни являются своего рода возрастом, то есть различными метаморфозами одного существа, последовательно адаптирующегося к разным состояниям всеобщей стихии.

Наша фантазия не создает ничего нового. Каждый раз, оглядываясь вокруг себя, мы видим только то, что имеет соответствие в другом мире, вероятно, очень отдаленное соответствие, но тем не менее, нечто аналогичное. Действительно, разве не существуют в нашем мире три взаимосвязанных состояния: твердое, жидкое и газообразное? И разве нет в нашем мире существ, приспособленных одновременно к двум или трем средам обитания?

Да, все это имеет место. Теперь представим, что рыбы не имеют органов, способных взаимодействовать с миром, лежащим вне водной стихии, что когда они поднимаются на поверхность воды, их глаза не способны видеть ни мысы, ни отвесные скалы, что их тело стало пористым и проницаемым для всего, что не принадлежит их стихии. Представим вместе с тем, что подобное произошло со всеми земными существами по отношению к водному миру. Таким образом мы

получим две жизни, смешанные и переплетенные, но *существующие* отдельно для каждого вида живых организмов.

Именно так в сущности и происходит. Все мы — существа из разных областей мира — видим друг друга, хотя и не приспособлены ко всем средам в равной мере. Поэтому наиболее логичным будет предположить, что хотя разные среды обитания и отличаются друг от друга, они все же принадлежат к явлениям одного порядка, в то время как в иных сферах разница между средами обитания более существенна, и поэтому существа из разных стихий не приспособлены к восприятию друг друга. Такое предположение говорит в пользу теории профессора. Предположим также, для большей наглядности, что лягушка, которая в зародыше является водным существом, а во взрослом состоянии — сухопутным, в обеих формах имеет общее психическое ядро, которое во время жизни А приспособлено к среде  $\alpha$ , и так последовательно происходит с последующими жизнями В, С, D и соответствующими средами  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ ; каждая из этих сред начинает восприниматься в соответствии с адекватными им метаморфозами или, иначе говоря, в соответствии с возрастом каждого конкретного существа.

Можно привести и другой пример, еще более показательный: из жизни растений.

Растения *живут*. В то же время у них нет ни одного органа, подобного органам животных, более того, можно сказать, что и среда обитания у них — другая, поскольку они совершенно *иначе* взаимодействуют с этой средой. Растения не видят и не ощущают нашу

жизнь. Доказательство этого можно усмотреть в том, что у них полностью отсутствует инстинкт самосохранения. *Они не убегают, когда мы собираемся сорвать их.* Наша жизнь «пересекает» их жизнь, но они не замечают этого.

Итак — почему же тогда не предположить, что нечто подобное происходит и с нами.

Ведь вполне логичным представляется, что рядом с нами живут другие существа, наши родственники — наши предки, наши потомки — которые видят и чувствуют нас, оставаясь для нашего восприятия невидимыми и неосязаемыми.

Если продолжить исследование, вероятнее всего, это предположение подтвердится. (Ведь именно постоянно помня о том, как мало, как бесконечно мало мы знаем, нельзя исключать никакое предположение).

Следуя приведенной аналогии с растительным миром, мы можем предположить, что смертельные для нас болезни являются следствием обращенных на нас действий других существ, которых мы не можем избежать, поскольку не знаем об их существовании.

«Кроме того, — замечает в своих записях Учитель, — сравнение с царством растений можно было бы распространить и на минералы. У нас нет никаких доказательств того, что они не живут. Единственное, что мы можем сказать — это только то, что их жизнь не соответствует нашим представлениям о жизни. Они не живут индивидуально, но, вероятно, живут *во всей своей совокупности*, имеют общий возраст; и каждый «сезон» этого возраста выражается отдельной разновидностью минералов».



Заметим, что все это не более чем аналогии, и в целом довольно приблизительные сопоставления. Ведь если смотреть обобщенно, все мы — и животные, и растения, и минералы — находимся в одной общей среде, и только способы адаптации и взаимодействия с этой средой у нас существенно отличаются.

«Все мы образуем совокупность. Вполне возможно, что когда-нибудь все мы сможем видеть друг друга, или, по крайней мере, более развитые существа сумеют воспринимать менее развитых. Таким образом сформируется множество совокупностей, но ни одна из них не сможет, *естественно*, проникнуть в Тайну другой».

Однако именно такую неординарную задачу и поставил перед собой профессор Антена, несмотря на все препятствия!..

К сожалению, теперь мы не можем узнать, каким образом профессор достиг практического результата в решении этой задачи, однако сама его смерть есть свидетельство того, что результат был достигнут. Пусть и напрасно. Тем не менее из бумаг профессора мы узнаём, в чем заключалась теоретическая часть его исследования.

Признавая действительной систему последовательных и пересекающихся жизней, к среде каждой из которых чувствительна только известная совокупность существ, мы, тем не менее, имеем основания предположить, что можно искусственно настроить свои органы таким образом, чтобы они воспринимали другую жизнь, что позволит нам осознанно соприкоснуться с нею.

В таком случае с нами произойдет примерно то же, что произошло бы с растением, ставшим одновременно и животным. Мы не знаем, что такое жизнь дерева и не чувствуем этого. Если бы мы смогли почувствовать себя растением и *не забыть при этом о собственной идентичности*, мы познали бы жизнь растений. Именно так — «не забывая о самих себе», не переставая быть собой, поскольку если бы произошла полная трансформация, мы уже не могли бы жить иной жизнью, кроме как растительной.

Здесь уместно будет вспомнить, что эпилепсию профессор объяснял тем, что во время приступа человек погружается в другую реальность. И так как в эти моменты его органы полностью утрачивают приспособленность к нашему миру, он ничего не может рассказать нам о пережитом. *Потому что он побывал за гранью в бесчувственном состоянии.*

В общем, Учитель поставил перед собой цель — побывать в предыдущей жизни, сохранив при этом восприимчивость своих органов чувств. Поистине Божественный замысел!

Здесь я хотел бы почти дословно привести еще несколько записей из бумаг профессора:

«Предположим, что действительно существует множество планет, каждая из которых обладает своей собственной средой. Даже это предположение — не есть однозначное отрицание теории миров последовательно расположенных один над другим».

Как же так? — невольно возникает вопрос. Наличие множества планет само собой предполагает рассто-

яние, которое преодолевается движением... Простите. Но кто сказал, что движение существует? Можем ли мы быть уверены в его существовании? Ни в малейшей степени... И сомнения на этот счет возникли еще в древности: мы помним, что Зенон Элейский отрицал существование движения. В любом случае наиболее вероятным представляется, что и движение, и время, и расстояние (или точнее — единицы времени и расстояния) суть ничто иное как ощущения наших нынешних органов чувств, создающих эти ощущения, так же как и ощущение реальности и ирреальности. И поскольку в мире нет ничего ни реального, ни ирреального, *а есть только иное*, человек, который сумел бы не меняя своего *Возраста*, воспринимать другие жизни, отчетливо осознавая происходящее, поистине стал бы великим триумфатором и заслужил имя Бога.

Кроме того, не является ли подтверждением теории вертикально расположенных миров хорошо известный феномен *дежавю*. Если бы разные миры кристаллизовались в отдельности и в отдалении друг от друга, и если бы расстояние было реальностью, мы, вероятнее всего, не смогли бы ощущать нашими недооформившимися органами (даже туманно и смутно) явления другого мира, которые иногда являются нам в виде дымчатых пейзажей, теней и бессвязных воспоминаний.

«Когда я был маленьким, — далее пишет профессор, — стоя перед зеркалом, я иногда испытывал пугающее чувство оттого, что не узнавал себя. Теперь я понимаю, что, на самом деле, это было за чувство. На самом деле, мне казалось, что когда-то я уже знал,

кем был, но потом забыл это и никак не мог вспомнить, какие бы усилия к этому ни прилагал.

И это, на мой взгляд, еще раз подтверждает теорию фантазии-воспоминания, которая и позволяет нам объяснить бессмертие Души. Помимо сказанного, есть и другие подтверждения того, что с точки зрения духовной — мы бессмертны. На это указывает тот факт, что размышляя о душе, мы каждый раз испытываем ощущение, что даже если смерть является полным небытием, мы, тем не менее, и посмертно сохраняем способность знать, так же, как прежде нам *было известно и зримо некое ничто*».

.....

\*\*\*

Это все, что мне удалось извлечь из почти бессвязных в большинстве случаев заметок Учителя. Теперь нам остается только сделать несколько собственных предположений.

Эти заметки, начатые несколько лет назад, профессор делал в процессе своего *погружения* в другой мир, а не только в размышления. Несомненно, Учитель нашел убедительные доказательства своей теории, иначе он не стал бы делать никаких утверждений, поскольку ему ни в малейшей степени не была свойственна склонность к поверхностным и необоснованным высказываниям. Профессор всегда стремился как можно глубже погрузиться в исследуемый предмет — до тех пор, пока не достигал предела возможного исследования. Учитель делал записи в двух тетрадях, и по мере

того, как он углублялся к исследованию выбранной проблемы, ему порой приходили и другие идеи, с исследованной проблемой не связанные, поэтому в целом его заметки могут показаться беспорядочными.

Учитель стремился практически доказать свою теорию, то есть проникнуть в другую жизнь, а именно, вероятнее всего, в наше предыдущее существование. Каким образом он это достиг? Тайна...

В его черновиках, среди прочего, я нашел несколько уравнений и химических формул, которые, вероятно, имели какое-то отношение к этому исследованию. Уравнения эти, однако, в большинстве своем не поддаются расшифровке, так же, как и формулы, которые помимо известных символов, содержат также и никому неизвестные знаки. Формула, наиболее часто фигурирующая в записях, выглядит так:

$$W^3Y^2XN^4Ro . \alpha$$

Вне всяких сомнений, какое-то отношение к открытию профессора имели странные пробы, которые я обнаружил в его лаборатории, и загадочные часы, которые, как мне показалось, направляли его шаги во время той трагической прогулки. Больше ничего неизвестно.

Теперь, приведенными мною материалами, можно считать практически доказанной потустороннюю природу и причину таинственной смерти профессора Антены.

Попробую пояснить, что я имею в виду:

Трагическое происшествие можно объяснить достаточно просто, если мы согласимся в том, что профес-

сор действительно проник в великую Тайну, на что нам указывают, в частности, его записи.

Да. Сохраняя чувствительность к этой жизни, его органы могли воспринимать и другую. И в это Великое мгновение тело Учителя перестало быть пронизываемым, нечувствительным и невосприимчивым к другому существованию. Когда это произошло, любой предмет иного мира стал опасен для профессора, так же как опасным было бы для эпилептика стать невидимым в нашем мире, где его мог бы, например, сбить автомобиль.

Таким образом, вероятно лишь по причине трагического стечения обстоятельств, профессор Антена, *преодолев* грань между мирами, появился где-то посреди оживленной площади, или оказался в огромном цеху, один из гигантских механизмов которого раздробил его тело.

(Понятно, что слова, которыми я описываю эти обстоятельства — весьма приблизительны, и в том, ином мире не существует ни площадей, ни производственных цехов, но что-то подобное, там, видимо, существует. Существуют какие-то *новые* предметы, которые из нашей жизни сумел увидеть только великий Учитель).

Такова моя гипотеза. Каждый, кто готов выдвинуть другую, может это сделать, если только сумеет найти для нее подтверждение. Для этого я и публикую материалы профессора. Было бы преступно скрывать их, ибо они проникают сквозь тьму и заставляют испытывать трепет от приближения к Тайне. И оттого, что записи эти беспорядочны и фрагментарны, в них еще больше пугающего и влекущего...

... Память о профессоре Антене всегда будет внушать нам трепет, ибо Он, пусть всего лишь на несколько мгновений, — вероятно, стал Богом, и обрел воплощение подобно Богу, которого мы, люди, извечно стремимся сотворить.

*Лиссабон,  
декабрь 1913 и январь 1914.*

Перевод Антона Чернова

*Посвящается Гильерме де Санта-Рита<sup>1</sup>*

Мгновение! Мгновение!

Я не знаю, как другие, не знакомые с моим секретом, с моим искусством, могут проживать эту жизнь. Не знаю.

Я умирал от тоски, когда однажды ночью, полной химер, победил — на самом деле победил силой желания, отыскав самое прекрасное из утерянных искусств. Я не верю, что открыл это искусство. Я всего лишь его воссоздал. Это было далёкое смутное воспоминание — откуда, не знаю — из какого-то дальнего далека, по ту сторону снов, возможно, — оно мне раскрыло этот секрет. Я вспомнил его, но я не был им. И теперь у меня в руках — это точно, я могу кричать об этом — у меня в руках жизнь, которая утекает сквозь пальцы любого — даже самого счастливого, даже самого богатого, — утекает непоправимо, рассыпается с каждой новой болью.

Переживать лучезарные моменты, иметь золотое тело, имперский рот и сияющий ореол славы — это



и есть счастье? Ложь! Ибо всё преходяще и так же скоротечно, как и время. И мы страдаем от ностальгии — по минувшему (наименее безжалостной — поскольку всё прошло), по грядущему (которого не знаем) и по настоящему (его мы прекрасно осознаем — и поэтому чувствуем самую страшную, судорожную тоску).

Самый счастливый человек — это бедняк, который получает по счетам, но ежедневно собственными руками растрчивает миллионы — хотя видит, как его дети умирают от голода. Так сквозь пальцы счастливого утекает красота, обретенная им лишь на мгновение. И даже вернись она назад — если у этого человека есть душа, если он художник, — его сумрачный взгляд затуманится от ностальгии по прошедшему, которого не вернуть — *только потому, что оно уже прошло.*

Жизнь — да, жизнь, это заговоренная разноцветная звезда из волшебного фонаря моего детства. Мы растягивали простыню, и на ней отражался фантастический изменчивый метеор, разбрызгивая всё новые формы, новые цвета, и я, не в силах довериться его обману, вклинивал в белое полотно ослепленные руки в бесполезной попытке удержать на ткани, пощупать, вплести их в это чудо — которое головокружительно просачивалось сквозь, оставляя лишь свет; он окрашивал мне пальцы, этот зыбкий свет, иллюзия рассеивалась...

Так и жизнь. Ее нельзя потрогать — это лишь свечение, лишь ускользающий образ. Потому что прошедшее невозможно воспроизвести — ни теми же поцелуями, ни тем же солнцем, ни теми же метаниями. Секрет не повторяется.

Велик тот, кто сумеет *осуществить* жизнь! Придать форму, твердость всем прекрасным моментам, золотистым от тоски — в общем, величайшим, чувственным моментам, всем, которые когда-либо существовали!.. Для такого жизнь создаст новые измерения, появятся высота, головокружение, — жизнь, которая сама — не больше, чем только видимость...

Воздвигнуть жизнь, да, воздвигнуть, с крепостными зубцами из золота и бронзы, украсить венками из мирта, если угодно, и суметь, наконец-то суметь потрогать ее... Придать прочность пузырям фантастического газа, белокурой пене шампанского! Наивысшая слава! Апофеоз!

Ну что ж — полеты триумфа! — вот в чем таится мой секрет и мое искусство — потерянное искусство, над которым я чудом одержал победу!

Да! я возвожу замок жизни из увековеченных тревог. Строю то, что пережил, прекрасное или болезненное, реальное или поддельное!

И вот, когда в один прекрасный вечер меня пронзило беспощадное ощущение забытой большой любви, от которой я никогда не страдал — такое странное мгновение, тревожащее своей ошибочностью, — я смог зафиксировать его, высек из камня и теперь обладаю им. Я могу увидеть, снова почувствовать его — словно кто-то перелистывает уже прочитанную книгу, *которую может перечитать вновь.*

Благодаря своему секрету я листаю бытие — но листаю по-настоящему, а не только воскрешаю в памяти, умирая от тоски, его изорванные страницы. Ведь для многих дни жизни — это страницы, которые безжалостно рвут, едва прочитав.

— И как же построить мгновение, заставить его длиться?

Множеством способов — как художник, в котором живет гений, миллионом способов осуществляет свое искусство.

Художник, в ком живет гений — Бог, он творит. Итак, я с грустью подчеркиваю: хоть мое искусство и создает жизнь — но не умеет проживать ее. Золотое мгновение — я могу потрогать его, пересмотреть, снова поцеловать в огне — но, увы! — не могу, не могу заставить его снова отрастить огненные крылья. Едва ли не все потеряли всё — душу и брненное тело. Я же, хоть и терял души, но сохранил тела и могу вспоминать их со всеми изысканными подробностями. Я забальзамировал мгновение.

Вот и всё.

Я не воскрешаю. Я запечатлеваю.

Одна из моих наиболее тонких работ — не скажу, лучших — хотя в ней я преуспел больше всего — это фиксирование одного года большого столичного города внутри себя, навсегда.

Я чувствовал, я так ясно чувствовал эту сверхцивилизованную почву!

Если на меня спускалась великая печаль, смертная скука перед фактом непоправимой и окончательной потери своего существования — я направлял сосредоточенное внимание вовне и, стоя перед латинской рекой, ускользавшей под мостами в хаотичных бликах, слушая отдаленный городской шум, являвшийся партитурой движения, созерцая стройные

литургические фонари, освещавшие эту необъятную жизнь, — я переполнялся возвышенной гордостью и бесконечным ликованием — оттого, что тоже живу в этом грандиозном городе. Более того. Оттого, что в этом подъеме души — и я его переживал на самом деле — подъеме, размером с любовь, но в глубине, возможно, совсем ребяческом, — я сам ностальгически истончался от этой земли.

И поскольку было бы губительно однажды ночью взять и потерять всё — я тут же постарался выстроить этот город неизменным для себя и вечным.

Итак, я начал фиксировать всё, эмоция за эмоцией, мало-помалу — ибо город был огромен, — словно прикреплял булавками, медленно, осторожно, большой кусок льняного полотна.

Да, я обратил его в камень в своем сердце — этот город страстных желаний, — наполнил его золотыми следами чудес, чтобы лучше ориентироваться внутри себя! Я обладаю им! Обладаю им!

И вот мой путеводитель:

Неподалеку от одного старинного квартала жил мой друг, которого я часто навещал по вечерам.

В том же пансионе жили несколько девушек с севера — из тех светлых северных народов, которые мне так близки, — и среди них одна, рождавшая наибольшую ностальгию, светловолосая славянка из этой России — где, как ни странно, живет частица моей души.

Такие непохожие, мы вели банальную, непринужденную и в то же время сладостную беседу — благодаря именам одних и тех же любимых художников, названи-

ям одних и тех же восхитительных работ — которые, шаг за шагом, помогали нам узнать друг друга.

Это нежное создание, геральдически украшавшее мембрану моей души, было мне так же дорого, как и одна из многих вершин, на которых покоился божественный город. И вот, однажды ночью я дал ей почитать свои стихи: ее чарующий голос на мгновение зазвучал на таинственном для нее языке — южном языке, в ту минуту понятном мне одному...

*Она говорила только для меня, и никогда, никогда больше не повторит уже слов, которые шептала только мне.*

И мои стихи были золотыми... И ее губы были золотыми...

Но это не всё:

Однажды мой друг зашел ко мне с розой в руке. Он сказал, что проводил ее, что она уехала и больше я никогда ее не увижу. Уходя, он оставил цветок, который дала ему подруга, стройная и ловкая, запрыгивая в экспресс. Я поставил забытый цветок в графин с водой...

На следующий вечер, поскольку мой друг не вернулся за розой, я аккуратно срезал стебель — который, наверняка, сжимали ее славянские пальцы, — и несколько увядших лепестков. Я положил эти жалкие останки в большой конверт, поставил сургучную печать и написал на лицевой стороне ее звучное, огненно-рыжее имя.

Если бы кто-нибудь узнал эту историю, то непременно сказал бы: «Память о любви. Вы так поступили, дружище, из-за неосознанной нежности. Признайтесь,

в глубине души вы верили, что немного любите эту далекую девушку, мимолетную попутчицу вашей жизни. Умиление, едва уловимая печаль, ностальгия — и больше ничего, клянусь вам».

Заблуждение! Заблуждение! Для меня это создание было лишь персонажем — ласковым, это правда, но духовно анонимным прохожим в толпе, — одна из множества незнакомок. Для меня она имела ценность лишь как изящный статист в декорациях в период моей жизни, который я, ввиду его пленительности, захотел запечатлеть. И позднее, вновь переживая несчастную историю с розой (уже с умилением, это точно), снова цитируя свои стихи, которые гармонично распевал ее рот, направляясь к ящику в поисках конверта, где осталась одна из принадлежавших ей вещей — то, что я могу потрогать, *то, что я могу разрушить*, — всё это я соотнесу с великолепным городом. И однажды ночью, если захочу, я порву конверт — *я разрушу одно из мгновений моего города*. Наилучшее доказательство того, что я его прожил, что обладал им, — только тот, кто обладает, может разрушить.

Из суммы большого числа зафиксированных мгновений слагается прочное здание эпохи, пейзажа внутри нас — так, из этой и других подобных деталей я смог, момент за моментом, возвести чудесную городскую скульптуру, читая надписи уличных указателей, украшая их, целуя деревья в садах, ощупывая землю бульваров, осматривая укромные уголки, воспаряя к высоким колоннам...

Однако мне пришлось побороться с чрезмерной реальностью и избытком изученных вещей.

Пребывая длительное время на этой роскошной земле, я так тщательно заучил некоторые места, что на следующий день, находясь вдали от них, я столь ясно мог бы увидеть их — при самом смутном воспоминании! Но вызывая их в памяти и не чувствуя, я не мог оживить эти пейзажи. Поэтому, как художник растушевывает полотно, чтобы придать картине больше эмоциональности, больше чувственности, — так и я нуждался в растушевке своего города. И я бродил по кварталам, которых не знал, в часы наибольшей вибрации своей души — часы, застывавшие, как декорации, и я их надежно удерживал — ибо в эти часы ощущал самые интенсивные вибрации и терялся в гениальных снах, которые позднее воплощу в своих творениях.

Если точно зафиксировать мгновение, можно удержать и всю панораму. Но та панорама осталась для меня смутной, потому что я никогда больше туда не возвращался. Она принадлежит большому городу. И все же завтра я смогу вспомнить ее, *ощутив*. А не только лишь *увидев*.

Вот так я окутал всё дымкой, необходимой для такой работы — чтобы она оставалась вечной.

Наконец! Наконец! Я обрываю розы, распыскиваю запахи, звеню золотом над прекрасными часами, в которые существую, — и, таким образом, связываю их!..

Мои друзья смеялись, когда однажды я подарил кольцо из сапфиров и поцелуев одной нерешительной девушке, которой никогда не обладал... *Дело в том, что она сжимала мои пальцы в тот вечер, вечер любви.*

И мне понадобилось сохранить свет того вечера, тень тех глаз с позолотой, свежесть ее пальцев — весь сверкающий аромат бегущих часов...

Бездушные люди! Бездушные люди!

Столько всего в моей жизни, чего никто не понимает — столько всего, что является лишь орудием моего искусства... Как, к примеру, грустные письма обнаженной танцовщицы.

Ах, как же тщеславно горжусь я своими статуями! как обогащаюсь, пересекая бесконечные галереи, заставленные ими!.. *Потому что я обладаю прошлым, именно, обладаю прошлым!*

Я зафиксировал час, сохранил и могу снова увидеть его.

Существует ли более возвышенный триумф?..

\* \* \*

Порой, вспоминая о будущем, я наталкиваюсь на химерическое желание зафиксировать и его тоже — заранее, для успокоения своих тревог. Разумеется, это невозможно... И я страдаю. С каждым вечером всё острее.

Я так ее люблю... так люблю ее...

Когда она возникла предо мной — ускользающая, далекая, золотистая, — я почувствовал себя, словно мое время на этом свете уже истекло. Эта плоть, этот голос, этот свет, принадлежавшие, да, на самом деле принадлежавшие жизни на ночных подмостках великого космического театра, — сумею ли я когда-нибудь



поцеловать их, понять — как другие, чья жизнь несомненна?..

Однако вместе с ностальгией, оставшейся после нее, странное ощущение рассеялось, и я констатировал, ах! что мы существовали, все-таки, в одном и том же мире...

.....

Чаровница была окутана сплошной тайной. При ходьбе ее светящаяся плоть порождала золотые тени — прозрачные тени души, растекавшиеся в туманном наваждении. Ее голос был стремительным золотым потоком, плавящимся под неведомым солнцем, далеким и рассеянным...

Хмельные ароматы таинственных островов расписывали ее тело, умащивали его, делая сумеречным в призрачной страсти, смирив желание, возможно, — но, ах! без сомнения, вырисовывая развращенные и совершенные изгибы сфинкса, тоскующего по лунному свету и смерти... Вся она, наконец, занялась пламенем, стала вибрацией, звучанием, изумлением, и в сумасшествии заматалась от ужасающей поэмы, густой, словно бурое похмелье после ночи любви и удушья...

Ореол вокруг нее источал теперь больше соблазна и кружил ее, обнаженную, в вихре. Спазм за спазмом, в западне, мрак рассеивался. Ступни зловеще вибрировали, источая влажный, едва уловимый холод, чрево плодоносило. Только сосцы сохраняли тайну...

Эбонитовые косы расплелись, обнажая порок и безумие, — она изогнулась над призрачной емкос-

тью, мертвая от экстаза, с торчащими голыми грудями, переливавшимися красным, со следами преступления...

... И когда, наконец, на нее обрушились финальные звуки партитуры, которую барабаны отбивали над бестией, — я испугался, ах! да, испугался, что она больше никогда не поднимется, что поэма завершена и она мертва от желания, которое во мне породила, или, может быть, от любви к самой себе...

Но нет... Она тихо сияла, растрепанная и обыкновенная, всегда красивая, застывшая в поклоне с авансцены под грязные аплодисменты.

Позднее я познал ее. И сон продолжился... Сегодня я ею живу... и пока что ее не поцеловал... и так боюсь поцеловать ее... так боюсь...

.....

Ее душа, как тело, вибрирует в неистовой поэме. Ее душа так же обнажена и вся — колебание, мистерия звуков, пронизывающие ароматы...

.....

Ах, как же я желаю ее... как бы я желал ее в спазме, в бесконечном спазме...

.....

Но я мучаюсь в агонии оттого, что и она меня желает. Однажды ночью, с роковой неизбежностью, наши тела должны переплестись... Но потом... потом...

.....

Боже мой, когда я обладал ею в переливающем-  
ся экстазе и страстной гармонии — о, ностальгия! —  
я прожил самое золотое мгновение — самое большое  
из прошлого, *самое большое из Завтра!*

.....

Но всё напрасно... Ведь как запечатлеть, остано-  
вить его — это божественное мгновение — если оно  
размером с гордость?.. До сих пор я умел возводить  
красивые вещи, от которых дрожал. Грустные вещи...  
Но завтрашний день? Завтра...

Чудо! Чудо!

.....

Я весь — страх, хрупкий и ломкий, перед лицом  
гениальной работы, которую должен возвести — *кото-  
рую возведу, возможно.*

Один поэт, потрясенный своим гением, опасаясь,  
что не сможет вплести его в свои стихи, рассеянный от  
усталости, пустил себе пулю в висок сегодня на заре.  
Как и он, я помню о том, что такое умирать, дезерти-  
ровать перед собственной работой, быть ослепленным  
ею... быть ослепленным ею...

Но нет!

Я обязан проявить силу воли. Я смогу. Я должен  
вибрировать, должен кровоточить, должен мечтать —  
и, в конце концов, найти победу и запечатлеть этот не-  
сравненный момент обладания.

.....

Обладание!

Я буду обладать ее плотью, холодной и обнаженной, не одну ночь — но никогда она не будет так полна химер, как в первый раз, когда я пил ее...

.....

Вчера во время прогулки мы были так близки... Она подолгу зачарованно смотрела на меня в нерешительности, скорбно. Я даже испугался, что она умрет из-за меня... А потом мы расстались. Лишь поранив друг друга губами...

Потому что она тоже желает меня ... также трепещет предо мной...

Что за бестия!..

.....

Если бы я мог спроектировать будущее — то сейчас так бы не волновался. Я бы вышел в удивительную ночь, уверенный в своей способности зафиксировать ее, — уже зафиксировав ее. Итак, возвышаясь над всеми, я проваливаюсь в ужасный кошмар: что если Мгновение, прожитое мной, — еще ослепительней, чем та грань, за которую я могу перешагнуть?..

Все потеряно! Все потеряно...

Но это не важно!

Я должен прожить его.

Даже если. Я сам стану светом!

\* \* \*

Победа! Победа!

Предо мной на великолепном ложе скручивалась большая кобра, призывно предлагая себя. На самом деле, только теперь я смог снизойти с высоты мгновения и измерить бесконечное воспарение своей нереальной работы.

Итак, как же зафиксировать то, что было выше моих возможностей?.. Следуя за ее обнаженным телом, я запутывался, обманутый ее красотой, бесконечной, словно лабиринт. Она не прекращалась — но закручивалась снова и снова. Я напряженно вглядывался и боялся сбиться с пути...

Позже, оглушенный, я начал упускать из виду окружавшую меня роскошь — поэтому мне необходимо было удержать в памяти цвет воздуха, ее бурный аромат, яростный оттенок... шелка, кожу, кружева... хрустальные кубки, золотые канделябры... листья амаранта... лезвия кинжалов...

.....

В беспмятстве, словно бросаясь в океан — я набросился на ее тело.

И поднялись волны...

.....

.....

Великолепие переливалось через край! Мгновение моего неистовства было не только самым грандиозным — нет, больше: перед ним все мгновения, которые я пережил, испарились, как пена. Да! Да! Разрушенные,

на земле валялись все мои часы! И под руинами лежал я, раздавленный, не в силах воскреснуть вновь — если только, усилием души, не смогу зафиксировать величайший момент, так сильно взволновавший меня: *Мгновение моей души*, сейчас и навеки, было неизлечимо...

Я почувствовал, как внутри меня разверзлась пропасть последней печали. Мне словно перебили крылья. Но я восстал, я собрал все силы... Когда она заснула, меня, наконец, посетила гениальная идея. И я победил ее! Победил!..

Сначала я боялся. Перед чудом все пасуют. Но затем действовал умело...

Словно совершая ритуал, в ясном уме, я собрал осыпавшиеся лепестки роз... Если бы она знала, то конечно благословила бы меня. Я нежно потянулся к ней. Чувствуя головокружение... Ее литургическое тело сумрачно искрилось платиной на фантастическом ложе... Озноб красоты навечно пронзил меня... Я заплел ей косы и осторожно — чтобы не разрушить ее красоты — вонзил в грудь золотой стилет...

Ее волосы зазвенели, и тут же воцарилось осеннее безмолвие... изгиб плоти струился светом... И больше ни одной вибрации...

Я откусил соски ее мертвых грудей. И сбежал...

.....

Великолепие! Великолепие! Теперь оно навсегда со мной!..

Ах, как же я страдаю... как страдаю... Никто никогда не страдал так, как я! Сам себе ужасаюсь и терзаюсь бесполезной нежностью...

Какая разница, если, экстаз за экстазом, я, ведомый угрызениями совести от своего преступления, могу с триумфом мысленно пройти всё, что той несравненной ночью предшествовало ему?..

У меня было чудо — и я уничтожил его!..

Но, уничтожив, я навеки запечатлел его в тоске. И так я обладаю им, и так преумножил его! Не разбей я его на куски, то безвозвратно разрушил бы — и весь свет, и всю высоту...

А потерять это чудо было бы кошунством. Позор тому, кто, прожив столь восхитительный сон, позволит ему испариться.

Я убил ее, чтоб не будить внутри себя.

Есть чудеса, о которых можно только грезить.

И я буду грезить о тебе всегда, моя любовь!..

.....

Победа! Победа!

Я никогда больше не забуду твоих поцелуев — ибо сразу же их потерял; никогда не забуду твои груди — ибо едва познал их. Я расплавил вселенскую тоску в тоске твоего тела — тоске, которую только я сумел воздвигнуть, ибо только я смог запечатлеть ее.

Ты простишь меня! Простишь меня! *Я позолотил тебя смертью, чтобы молиться тебе.*

О, изваяние часа! О, мой цвет, мой звук, мой аромат — теперь я всегда буду чувствовать тебя, и трепетать, и бредить...

Посмотри: у нашей победы не было конца. Ведь я не только запечатлел блестящее мгновение. Я сделал больше: я вышел из жизни — сегодня я и есть этот орел. *Я есть Мгновение.*

Я стал ритмом времени. Я остановился.

Что за помешательство — всё остальное?

.....

Великая тень! Великая тень!..

*Лиссабон — июль 1913*

Перевод Анны Хуснутдиновой



Посвящается Виториану Браге<sup>1</sup>

Теперь можно было решительно сказать, что Инасиу де Говейя — не был счастлив. Ко всему привыкает человек, во всем может найти удовлетворение, но Говейя пока еще не привык к своему бедствию, и оно вызывало у писателя тошноту. К тому же Говейя уже не мог искренне этим бедствием интересоваться. Инасиу проник в него, исследовал его глубины, с поразительной выразительностью описал его в своих Произведениях. Он провел торжественной кавалькадой свою боль в трепещущем золоте, вонзил ее свистящим светом в далекие волшебные облака, в небеса других миров, других цветов, других звуков... Но в конце концов этот изобильный источник — иссяк. Ни одна крупница не выскользнула из жреческих рук писателя. К чему теперь исследовать свою душу, если все уже познано, все испытано? Он никогда не перечитывал книги, сколь бы великими они ни были. И не станет перечитывать впредь. Пресытившись своей болью, он проникся к ней презрением и оставил позади. Он испытывал скуку, но,

возможно, и сожаление, потому что его страдание все же было прекрасно и горделиво...

Как бы там ни было, он пересек рубеж, великий рубеж. Он высвободился из оков, даже не прилагая к тому усилий. И теперь он счастлив. Несомненно. Ведь теперь — разве нет? — перед ним открывался ослепительно сияющий путь. Он был уверен в своей гениальности, был исполнен томительных предчувствий и не сомневался в том, что сумеет запечатлеть их, изваяв из золота и света. Высшая доля — забрезжила на его горизонте. И за нее он расплачивался страданием. Впрочем, ничто не дается просто так. И та цена, которую платил он за свою блистательную победу, право же, была невысока...

Поэтому теперь художник мог открыто заглянуть в самого себя, не придавая значения привычному уже страданию. Прежде все его метания были всего лишь сражением души с бесконечностью внешнего великолепия вещей — сражением эгоистичной души с благополучием и богатством, довольствоваться которыми могут лишь низшие существа... А он твердо принял свое последнее решение — не противиться ослепительно сияющей Судьбе.

Обращаясь мысленным взором назад, Инасиу не мог как следует припомнить своего прошлого. Минувшее являлось ему в своей боли и радости, так, словно это была не его жизнь. В его воспоминаниях, несомненно, были какие-то пробелы и ошибки — да, конечно, — ошибки! Некоторые эпизоды, которые он время от времени вспоминал, в действительности происходили не так, как виделось ему теперь. Да и сам Инасиу,

такой, каким он был теперь, не мог представить себя участником этих событий. Получалось, что все это или произошло, вследствие какой-то странной путаницы, с другим человеком, или, быть может, это было его воспоминание о том, что некогда ему рассказал кто-то из близких друзей.

Да, в нем действительно происходила какая-то странная раздвоенность. Но встречаться с самим собой ему еще не приходилось. Разделение это имело более сложную природу. Инасиу двоился только в прошлом. Когда он вспоминал некоторые эпизоды своей жизни, ему начинало казаться, и это было очень странное ощущение, что участником тех или иных событий был не он, но как бы его стилизованные *отражения*, которые по-прежнему существовали где-то в глубинах Времени. И он чувствовал, чувствовал так живо, что красный автомобиль, который однажды вез его по ночному Парижу в компании какой-то накрашенной девицы, вез по монументальным улицам огромного праздничного города — где-то там продолжает свой путь. И те же пассажиры по-прежнему целуют и ласкают друг друга на заднем сиденье... Ах! Да, конечно все так и есть, ему даже слышится однообразный, зловещий, протяжный шум мотора...

И не только это... Инасиу, например, казалось, что он прежний, пятнадцатилетний, завернувшийся в шерстяную шаль и поедающий пирожное во время похорон бабушки, по-прежнему существует — где-то там...

Когда в памяти Инасиу возникали те или иные, радостные или печальные, картины из прошлого, пронзительная тоска проникала в его душу. Однако тоска

эта была не о безвозвратно прожитом моменте и не о людях, вместе с которыми он был прожит. Инасиу тосковал о самом себе, о том себе, который остался в прошлом, которого уже нельзя было почувствовать или *увидеть*, поскольку мгновения необратимы...

Были и другие странные ощущения, которые побуждали Инасиу думать, что его прошлое прожил как бы не совсем он сам.

Совсем недавно в компании друзей он отправился в старинный, точно тоскующий по романтизму, парк в окрестностях Парижа... Протяженные тенистые аллеи, буйно разросшиеся цветы, пруды, местами покрытые желтизной зацветшей воды, большие каменные скамьи. И в глубине парка — большой массивный дворец с витражными окнами. Казалось, все сохранило здесь поэтический дух былых времен — туманная меланхолия бархата, вышитые разноцветными цветочными узорами шелка, прекрасные, хотя и поблекшие. И повсюду как будто слышалось отдаленное эхо старинного танца, нарочито изысканного, утонченного... и поцелуи в укромных затененных местах, и причудливые линии бальных платьев, наполняющих воздух розовым цветом, и атласные полуоткрытые корсажи, из которых, точно из уютных гнезд, выглядывали округлые груди — развязанные ленты, стыдливый румянец, прядь, срезанная на память; потерянные письма, букеты, элегии, забытые ароматы... Вертер, Антони<sup>2</sup>, Дама с камелиями...

Снова очутившись в этой меланхолической картине, Инасиу вспомнил о своей последней прогулке в том романтическом парке... Тогда, точно погружен-

ный в желтое цветение окрестных вод, он долго сидел на каменной скамье... И светлая, словно обиженная чем-то, тихая грусть проникла в его сердце. Ему припомнился роман, полный нежных и ласковых чувств, который оборвался совсем недавно... И все существо Инасиу было проникнуто смутным очарованием, светлой тоской и смирением... Теперь, погруженный в ностальгию, он возвращался в памяти к тому мелодическому воспоминанию. Воспоминанию невозможному, что было очевидно для Инасиу, поскольку он мог с уверенностью сказать, что никогда в его жизни этого романа не было... В этом он не сомневался нисколько... Но как же в таком случае мог он предаться этим фантастическим воспоминаниям? Стало быть, тогда, апрельским вечером, полный смущения и грусти, здесь, в этом парке, на каменной скамье сидел не он, но кто-то, как бы содержащий в себе часть его существа. Или, иначе говоря, здесь был *другой он*. И этот другой передал ему состояние своей души (которое и вспоминал Инасиу). При этом писатель ничего не знал о том, что вызвало грусть в душе *другого*, эти ощущения относились только к одному моменту времени и не открывали писателю прошлого того, чья грусть возникла в его воспоминаниях.

Были и другие подобные случаи. Однажды, с тех пор прошло уже немало лет, в его жизни возник совершенно неожиданный роман. Отношения эти то словно вспыхивали, то как будто прерывались, поэтому когда Инасиу с торжествующим видом сопровождал свою возлюбленную во время прогулок по городу, время от времени в нем просыпалось мучительное желание ско-

рее овладеть своей спутницей — чтобы не сомневаться более в том, что уже обладал ею... и только на следующий день он был уверен в своем триумфе, когда шел рядом с этой великолепной женщиной, привлекавшей взгляды всех прохожих...

.....

Да, Инасиу де Говейя едва ли имел причины жаловаться на свое существование. Немало нашлось бы людей, в сравнении с которыми его судьбу можно было бы назвать лучшей долей. Наверное, не много хорошего было в жизни Инасиу, но какая в том важность, если при этом судьба столь щедро одарила его?.. В его жизни не было ни ласковых объятий, ни поцелуев, ни любовных переживаний, в общем, не было всех этих нежных розовых пустика. Но зато у него были связки газет, священные тома личной библиотеки, и, конечно — да! — его собственные Творения, утрюмые, влекущие за собой миражи, золотисто-экстатичные, умащенные Неизведанным, свирепопо-горделивые, неистово-тревожные...

.....

Книги... связки газет...

Когда в тот светлый день наступившего Рождества он сидел — за столиком в просторном зале ресторана, книги и газеты были его единственными спутниками.

Жизненный путь Инасиу был отражен на страницах этих газет, некоторые из которых рассказывали о его последней работе, и еще в книге с желтой обложкой, которую он получил сегодня от своего парижского коллеги и друга.

Рядом с Инасиу — за соседним столиком — сидела скромная мелкобуржуазная семья, для которой, судя по всему, посещение ресторана было делом исключительным. Отец и мать, уже довольно пожилые, дочь — двадцатилетняя девушка. И все семейство — чахлое, благовоспитанное, бледное и добропорядочное. В какой-то момент Инасиу невольно начал вслушиваться в их беседу: что-то о недавней «великолепной» загородной прогулке, какие-то планы на будущее воскресенье, обсуждение каких-то членов семьи, наивные комментарии по поводу каждого нового блюда, принесенного официантом, разговор о покупках, необходимых для домашнего хозяйства... Родители, судя по всему, горячо любили свою дочь, этот поздний плод их искренней, заурядной любви.

Слушая их, глядя на них, Инасиу понемногу, проникался нежно мерцающей грустью. Как бы там ни было, эта жизнь дарила тепло, а там снаружи, на улице — всегда так холодно...

Но тотчас же, стоило только этой мысли родиться в его сознании, где-то внутри поднялась волна возмущения. Как! Ведь он был представителем другой Расы, другого Мира! Он был несравненно выше!..

... И, наконец, только смутное умиление осталось в нем, когда он еще раз посмотрел на этих созданий. Действительно, на одно краткое мгновение мысль Императора коснулась их, на один миг он снизошел до них в своем воображении — помазал их елеем своего присутствия, и однажды, быть может, трогательно нарисует их образ, запечатлев его на своих бессмертных страницах...

\* \* \*

Иной раз, настроение Инасиу менялось. Что-то отступало внутри, точно морской отлив, и он начинал иначе смотреть на свое несчастье. Кто знает, быть может, он ошибался, и если это несчастье развеется, его боль станет еще сильнее. Когда он не испытывал страдания, в его душе возникало острое предчувствие «конца», предела, ощущение последней пресыщенности, неисцелимого бесплодия. Иногда он еще переживал трепетно-лучистые мгновенья, исполненные жгучей гордыни. Он снова проникал в самого себя, опьянялся своей гениальной болью, и вновь возвышался над миром в пламенном ореоле... И теперь, когда все было так очевидно, Инасиу испытывал тошноту от своего несчастья. Оно перестало его интересовать. Это означало, что и сам он более себе не интересен. Он давно опасался, что подобное случится, что гений его иссякнет именно так.

Теперь, это было очевидно, Инасиу стал для самого себя книгой, заученной наизусть. И даже если бы он решил перечитать эту книгу, воли на это ему бы не хватило. Стоило ему сосредоточиться мыслью на самом себе, дальше он следовать уже не мог. Когда нас охватывает мертвенная сонливость, язык немеет и слов в нашем распоряжении становится все меньше. Именно это и происходило с Инасиу, когда он задумывался о самом себе: *от подобных мыслей его клонило в сон...*

Но время от времени, словно некая волна вновь возвращала в его сознание давнюю мысль: пресыщен-



ность страданием была его платой за свободу Души. А значит, он был не столь уж несчастен. А страхи, которые внушали Инасиу мысли о смерти его гения, были и вовсе пустыми бреднями. Ведь, забыв, наконец, о боли, его гений лишь острее почувствует всё, и тогда, в ореоле победной свободы, он воспарит высоко над жизнью...

Ведь в конце концов, хотя его раны еще кровоточили, все мучения Инасиу, все терзания вели его к славе. Научиться страдать, трепетать, издавать вопли, пылать — это ли не самый верный путь к триумфу?..

А каким возвышенным казался себе Инасиу, когда думал о своей любви к Парижу, о том, какие прекрасные формы принимает его тоска вдали от этого города, когда он знает, разлука со столицей будет долгой...

— Париж!

Широкие проспекты, шумные бульвары, старинные мосты над ночной Сеной, испещренной тысячами огней...

Сите... Нотр-Дам де Пари! — Собор-Трагедия, устремленный в бледность парижского воздуха, полного заклятьями, изгоняющими злых духов... Фантастический храм, дрожащий обледенелой тенью, отражающий тайны, своими каменными линиями придающий очертания строению наших Душ; чудотворный создатель стройных, звучных и влажных, полупрозрачных движений, творец строгих каменных ритмов, в мощном порыве поднявшийся до небес храм, в серых оттенках которого теряется наш взгляд, стремящийся вслед за ним...

... А внутри — своды, огромные нефы — ощущение чуда и ужаса — в разноцветных мерцаниях витражей...

— Проспект Оперы!

Европейская улица, улица всех наций и народов, широкая, полная движения, звучащая величием жизни, — разноцветно-огромная, ослепительно-стремительная!..

Вандомская площадь в послеобеденное время, Рю де ла Пэ — изумруд и атлас парижских принцесс с блестящими красными ногтями — золото, вуали, кружева, перья, соболий мех — куртизанки и Актрисы, идолы, покрытые макияжем своей эпохи, хрупкие, колкие, нервные...

Наркотический Монмартр, ночные гулянья — блески, драгоценности, нищета — андалузские танцы, итальянские песни — необузданный шампанский хмель, серебристо-карминная бессонница...

Старинные романтические сады...

Королевские дворцы, широкие парадные лестницы, высокие арки...

Колонны, пьедесталы, обелиски...

Пылающее солнце на туманном горизонте...

Могучие стальные башни, высокие дымоходы над крышами мастерских — мосты, строительные леса, подъемные краны, кремальеры — огромные фабрики, свистки локомотивов — вибрации Прогресса, шепоты Грядущего...

— Париж аристократов!

— Париж клошаров!

— Париж богемы!

Париж! Париж! Торжественный и безумный, возвышенный и поверхностный...

.....  
.....

Жить одному в этом городе, без поцелуев и ласк, было для Инасиу равносильно жизни с изящной и влекущей подругой. В то время как в Лиссабоне даже рядом с самыми лучшими любовницами он чувствовал бы себя одиноким, и бесконечно далеким от всех утонченных наслаждений.

Европейская столица напоминала ему большую торжественно освященную гостиную, проникнутую тонкими ароматами, изменчивыми отсветами, наполненную головокружительно яркими цветами...

Лиссабон был для Инасиу чем-то вроде старого, тесного дома с желтыми стенами — старики не пускают на прогулку девушек — керосиновые лампы — сухие цвета, запах лаванды...

И ни что иное, как любовь к Парижу, было его спасением. Тогда — около года назад.

В то время, без явных на то причин, он чувствовал себя опустошенным и подавленным. И ощущал себя мертвецом, потерянным для каких-либо стремлений: мозг — точно размягченный, душа — растерзана... настолько, что, казалось, Инасиу уже был готов на самоубийство... Но потом он отправился в Париж и — ах! его снова наполнило ощущение гордого триумфа, отстранившее столь близко подступившую к нему волну черного отчаяния...

Это было на Плас Бланш. В компании своего друга, молодого художника-кубиста, на котором был надет модный в то время берет, Инасиу стоял неподалеку от Мулен Руж...

Художник пересказывал Инасиу какую-то банальную историю... Инасиу не слышал слов своего друга, он был заморожен атмосферой...

Вокруг всё словно готовилось к ярмарке... На мельнице знаменитого мюзик-холла, загорелись нежные красные огоньки... мальчишки-разносчики кричали о новом выпуске вечерней газеты... где-то неподалеку слышался хриплый звук механической карусели... покрашенные красотки прогуливались в сгущающемся полумраке... В этом небольшом местечке как бы сосредоточился весь праздничный Париж — Париж иностранцев, которые в своих далеких краях мечтают о европейской столице...

И вдруг среди этих неброских декораций — Инасиу внезапно почувствовал Париж внутри себя, ощутил, как этот город проходит сквозь него, омывает его душу, зажигая в ней тысячи огней — Париж, наполняющий дыханьем грудь, Париж, разливающий шампанское, Париж, бичующий зренье золотистыми всполохами...

.....  
.....

Теперь, вдали от Парижа, он с тоской переживал воспоминания о праздничной атмосфере столицы... В этом и была главная причина его грусти — заурядный Лиссабон: роскошные женщины здесь не осмеливались

следовать последней моде, шум проезжающих автомобилей не заполнял здешние бульвары, — здесь не было ни музеев, ни больших библиотек, ни обнаженных тел в театральных представлениях, — влюбленные здесь не гуляли, держа друг друга за руки, и не целовались на улицах, полных гигантских, как будто призрачных строений, монументальных дворцов, столь же монументальных торговых галерей — башен, соборов, геральдических колонн!..

Чувствуя всё это, Инасиу проникался горделивым трепетом и был почти счастлив, как-то по-детски, несколько нелепо... и воспарял, высоко-высоко над жалкой безымянной толпой, копошащейся где-то там на земле...

Ах, как противна была ему эта заурядная примитивная толпа, эти нормальные тихие люди, всегда одинаковые. Эти жалкие создания, которые, едва появившись на свет, уже научились подчиняться правилам, обычаям и предрассудкам!..

— А как же «здравый смысл»?..

Какая мерзость!

— Что же тогда остается, безумие?..

Конечно, спасти может только безумие. Иначе придется стать, как все эти приличные люди, которые способны только на злобу и глупость!..

Безумие всегда казалось Инасиу чем-то священным. «Быть безумцем — восклицал он — значит носить частицу Бога в душе».

Кроме безумцев, кроме тех, кто был воспламенен гением, был способен на порыв, был готов устремиться в бездну, Инасиу испытывал чувство, подобное любви,

ко всем преступникам — к убийцам, вора, поджигателям — ко всем, кто был способен на побег, на бунт, на томление — ко всем, кто никогда не подчинялся, ко всем, кто всегда в смятении... И столь же сильно, как любил он мятежников, Инасиу презирал всех остальных — всех этих кастратов, которых обычно называют достойными и разумными людьми. Эти существа никогда не позволяют себе никаких проявлений гнева, никогда не осмеливаются никого оскорбить, тихо говорят и всегда внимательно выслушивают собеседника. Они ничего не знают о по-детски волшебном воодушевлении, неспособны на фривольную нежность — они справедливы, честны, искренни, последовательны во всех своих поступка!..

Лицемеры! Лицемеры!..

## II

Несчастье...

Иногда — и это чувство было таким настоящим — Инасиу де Говейя ощущал смутную, но упрямую боль оттого, что в его жизни нет тех нежных мгновений, о которых время от времени он так низменно мечтал. Но затем, как бы опускаясь еще ниже, он находил доводы, чтобы объяснить себе, что эта боль — вещь незначительная. Всех этих маленьких радостей бытия, на самом деле для него не существовало. Или скорее — как только он прикасался к ним, его тут же настигало бес-

конечное разочарование, последняя разуверенность — в том, что эти вещи могут хотя бы в чем-то воплотить его стремления...

Его телесная природа, в страстном напряжении, еще в ранние годы создавала сладостные миражи: обнаженные тела, пылающие объятия, многоцветные экстазы, тысячи магических наслаждений, феерические мистерии воды и солнечного света... А затем, когда он уже наяву испытал этот трепет, испил лихорадочный напиток любовных бессонниц — ах! Какими жалкими оказались все эти объятия...

— Обладание?..

Исключительная Мерзость! Черная рвота от позлащенного спазма! Липкая, зловонная, отвратительная... Как найти красоту в соединении двух вожделений? Красоту... Да есть ли более смехотворная гнусность?.. Чем этот ужас пола — грязный, убогий, смешной телесный плен... Тягостные стоны; нелепые судороги вспотевших тел... Какая мерзость! Какая мерзость! Как все это может стерпеть тонко чувствующая душа?..

«О, как высок триумф тех, кто, незапятнанный полом, проникся нездешним, прозрачным трепетом, влекущим в золотую бесконечность, — снова и снова думал Инасиу. — Только смилив и очистив плоть... только в отдалении, в свободе от телесного соединения достигается высшая цель...»

.....

Все, что было связано со словом «любовь», вызывало у Инасиу отвращение не только своей телесно-

стью. Перипетии душевных переживаний, вызванных любовью — казались ему пугающими. И совсем недавно он еще более укрепился в этом чувстве.

Произошло это в Париже. Однажды ночью он случайно оказался в одном из кабаре Монмартра. Все вокруг было скучно настолько, что Инасиу с трудом подавлял зевоту. Но вдруг среди всего этого идиотского балагана он увидел полуобнаженную танцовщицу. Ее грубая красота — была восхитительна: угловатое, мускулистое тело, маленькие груди, красные губы, черные волосы, большие, как будто постоянно чем-то удивленные глаза, — и золотисто-смуглая кожа. В ночной возвышенной полутьме казалось, что перед ним Саломея...

Созерцая ее, сквозь гранатовый мираж своего воображения, он уже видел, как она становится героиней романа — впрочем, да, довольно дешевого романа...

Потом он снова почувствовал грусть, ему снова припомнились те утонченные белокурые мгновенья, которые оставляют нежную ностальгию в нашей душе, и, как будто отпуская ее волю, окружают ее едва заметно взволнованными розовыми вуалями.

Да, сидя за столиком в каком-нибудь кафе, как часто завидовал он тем, кто ждал свою нежную, скромную, стройную и милую подругу... В то время как Инасиу всегда оставался один, наедине со своим ожесточением... Неосознанно и противоречиво, несмотря на отвращение, Инасиу все еще страдал оттого, что другие обладают тем, чего он лишен... чем-то таким сладостным...



Свою первую любовницу он не ждал и не встречал, она сама приходила к нему. И не он обладал ею — напротив, она обладала им. Другие появлялись в его жизни редко, и никто из них не был ему близок...

Поэтому, когда в сумрачном свете он увидел это смуглое тело, сквозь воспоминания о своей зависти и о своем отвращении в Инасиу проснулся писатель, и тотчас же возник сюжет...

Теперь, если бы Инасиу припомнил эту историю, то, конечно, или не поверил бы в то, что такое действительно произошло, или покраснел бы от жгучего стыда...

А было это так:

На следующий день он отправил танцовщице экземпляр своего последнего романа, приложив к нему письмо, нарочно написанное в чрезмерно романтическом стиле. Письмо получилось очень глупым. В нем говорилось, что благодаря танцовщице Инасиу испытал возвышенное переживание красоты, и так как он, Писатель, повсюду ищет только нездешних переживаний, отказать себе в том, чтобы поблагодарить ее за такой прекрасный подарок, не попросив позволить ему так или иначе снова прикоснуться к ее прекрасному образу — он не мог. Поэтому он решил отправить ей этот том, пусть даже она, не зная языка, на котором написана эта книга — не сможет ее прочитать, но так рядом с ней всегда будет, принадлежавший когда-то Инасиу предмет, которого она будет касаться своими пьяняще тонкими пальцами. И еще будет это это письмо, которое она, быть может, когда-нибудь найдет, разбирая старые бумаги... И тогда, сквозь время и расстояние,

она вспомнит, что и он был одним из персонажей ее жизни...

И еще — поистине сладостное ликование! — с того дня, как Инасиу написал ей, приходя смотреть на нее, танцующую в кабаре, он, оставаясь незнакомцем, уже кое-что все-таки знал и о ее прошлом. Знал, что однажды она получила письмо и книгу от иностранца...

Значит, теперь, даже не узнав друг друга, они все же будут таинственным образом связаны, будут обладать чем-то общим, соединяющим их невидимыми нитями...

Танцовщица — в порыве романтического настроения, а, может быть, движимая обычной корыстью — в скором времени написала Инасиу ответное письмо — совершенно не согласованное с правилами орфографии. Она сообщила, что получила книгу, что письмо Инасиу ей очень понравилось, что она будет рада, если он напишет ей снова. В этих неуклюжих словах было столько желания быть изящной, соответствовать образу, который нарисовал Инасиу, что в душе его поднялась теплая волна нежности...

В тот же день Инасиу сбегал в цветочную лавку на улице Скриба, купил на пятьдесят франков гвоздик и отправил ей, вложив в букет визитную карточку, на которой написал, что вскоре пришлет ей новое письмо.

На следующей день он написал ей снова. В новом письме Инасиу начал сплетать хитроумную сеть. Он дерзновенно воспевал обнаженное, пьянящее и влекущее тело танцовщицы, между делом давая понять, что он не богат и указывая на то, что ему двадцать лет, чтобы предупредить разочарование.

Закончить второе письмо Инасиу решил еще одним хитрым поворотом сюжета: он писал, что его роль «незнакомца» прекрасна и таинственна, но он не уверен, что сумеет сыграть ее до конца...

Уже со следующей почтой пришел ответ. И снова в его душе поднялась теплая волна нежности. Почерк был более аккуратный, чем в прошлый раз, фразы построены более грамотно... Очевидно она хотела произвести хорошее впечатление. В этом письме девушка с восхитительной простотой спрашивала, отчего же им не познакомиться. Она была бы этому очень рада...

Безбрежное сияющее ликование охватило его душу, и он расцеловал ее письмо...

— Наконец-то! Солнечные лучи коснулись его жизни... Какой восхитительный триумф — отправиться на прогулку по улицам Парижа вместе с этой блестящей женщиной, обладать ею, проникать в ее божественную плоть, отдаваться ей безоглядно в страстном томлении!.. Жадно целовать ее, ранить ее — да, ранить!.. неудержимыми поцелуями...

... она казалась ему такой ничтожной, такой жалкой и незначительной... И пусть! Они будут ходить в самые роскошные рестораны, в лучшие кофейни... Он не мог каждый день дарить ей драгоценности, но мог бы приучить ее к лучшим ароматам Делетрэ, Убигана и Лантерика, и вместе они оценили бы причудливые сладости в магазинах Буасье и Маркиса...

Как бы это было чудесно, как прекрасно... На следующее утро он ожидал три тысячи франков из Лисабона!

После обеда Инасиу зашел в Наполетану, чтобы написать письмо танцовщице и назначить встречу — через два дня. Он заказал кофе и попросил бумагу и конверт... И вдруг ему подумалось:

«Но, в конце концов, зачем мне все это... зачем... к чему это приведет? Для чего продолжать? Мы познакомимся... затем будет поцелуй... возможно... и что потом?.. Что общего есть у меня с ней?.. Это жалкое, банальное, бесчувственное созданище... Обладать ею? — ах!.. обладать ею... Я слишком хорошо знаю, что меня ждет!.. Вскоре одно за другим появятся противоречия... разочарования... встречи в условленный час... какие-то бессмысленные трудности... Для чего все это? Для чего?.. Нет... Не надо и не стоит... даже думать об этом ни к чему...»

Повинуясь мгновенному порыву, Инасиу коротко написал танцовщице. В письме говорилось, что так прекрасно и туманно было их знакомство издали, что лучше было бы положить ему конец, сохранив возвышенность чувств нетронутой, что было бы горько утратить первоначальное очарование...

Инасиу вышел из кафе, на Итальянском бульваре зашел на почту, где запечатал и отправил письмо... без грусти, без огорчения, без раскаяния...

.....  
.....

Еще несколько дней он с грустной нежностью, но без горечи вспоминал об этом эпизоде.

Девушка больше не писала ему, и поэтому Инасиу не раз думал, что последнее его письмо стало для нее

жестоким разочарованием... Ему представлялось, что и она мечтает о любви, что и ее одинокие прогулки полны лучистых ожиданий в ореоле этого эпистолярного знакомства, что, быть может, она уже готова увидеть в нем свой идеал...

И тогда он испытывал что-то вроде рассеянного сострадания к этой танцовщице. Что было странно — ведь происходило это чувство от мысли, что он причинил ей боль, пусть всего лишь на один день...

Драгоценные письма Инасиу хранил в большом конверте. Они были для него осязательной частицей прошлого, живой памятью о Париже, о юности...

По прошествии времени Инасиу убедился в том, что поступил правильно, когда решил прервать эти отношения. Стоило лишь однажды устремиться вперед и уже ничто бы его не остановило. Но все это было бы напрасно, ведь даже если бы он овладел этим прекрасным телом, он все равно не достиг бы желаемого. Больше из того, чтобы достижимо — удовлетворение своих желаний. Но даже это стало бы возможно не от обладания телом танцовщицы. Настоящий триумф состоялся бы лишь, когда он овладел бы ее танцем во время представления на красных подмостках кабаре... ее движениями, ее улыбкой, ее накрашенными губами, ее костюмами, ее блестками, ее фальшивыми драгоценностями, светом, окружавшим ее во время танца, сердцебиением, каждым звуком, сопровождавшим ее на сцене, возвышавшим ее, обожествлявшим ее тело головокружением и экстазом!..

.....

\* \* \*

На самом деле, несмотря на все свои метания и попытки побега, несмотря на все отвращение, которое испытывал он ко всем этим судорожным страстям, Инасиу де Говейя давно уже был знаком со всеми возможными ласками, в том числе самыми извращенными. От всех этих ласк он бежал, все они повергали его в страстный трепет. Он не нашел успокоения даже в онанизме, несомненно, самом большом, самом полном, смутном и пламенном наслаждении.

Предаваясь в одиночестве чистым и острым наслаждениям, даже когда золотистые ореолы затмевали ему все видимое вокруг, даже когда светоносные трепетные призраки обнаженных тел окружали его, запечатлеть эти видения, перенести их страстным порывом в вечность ему не удавалось. Нет, не удавалось. Потому что всегда, каждый раз, в его сознание врывались воспоминания о реальном мире, обремененном полом. Воспоминания эти оскверняли экстаз Инасиу каким-то грязным смехом, ему начинали видеться мертвенные груди, тронутые гангреной бедра, какие-то жалкие мокрые лохмотья... где-то поблизости раздавались крики уличных торговцев... пахло отсыревшим деревом, сточной канавой, жирными сладостями, перегаром... и еще — волосатый торс портового грузчика, детородные органы каких-то детей и животных...

Только однажды он сумел запечатлеть этот сияющий экстаз, это фантастическое, трепетное, сладостное видение; последнее, несравненное...

В ту ночь, мгновенно, сквозь дымку полусна, он призвал образ огромного шумного европейского го-

рода, который в один миг распростерся перед взором Инасиу многотысячными огнями... И тогда в победоносном порыве он овладел этой блистательной столицей — ее движением, ее гулом, ее шумом... он чувствовал в своей крови ее сердцебиение... он был ею, он стал ею в то мгновение... и потом в своем возвышенном трепете он рассеял это стекловидное, стрельчатое, смутное, разноцветное видение...

.....

\* \* \*

Но все это было в прошлом.

Не зная и не понимая истоков своего состояния, Инасиу чувствовал себя спокойно. Он не смирился — великие души никогда не смиряются — но все происходило так, точно успокоение уже посетило его.

Будущее уже не таило для Инасиу никаких тайн, не было ни малейшего смысла пытаться его вообразить, оставив в стороне все желания и стремления. И без того все было понятно и бесспорно.

Он достиг последней гавани. Это было очевидно. Работа ему давалась легко, как никогда, — воображение достигало гениальной плодотворности. Сложное материальное положение не должно было длиться долго. В ближайшее время он ожидал значительного улучшения. Теперь его жизнь уже была близка к тому, чтобы считаться завидной: в скором времени он станет свободным, и в уединении его душа сможет, наконец, жить одним лишь искусством.

И если порой горечь проникала в его душу, он не испытывал страдания. И не испытал бы, даже если бы сам того желал.

Теперь он лишь с интересом наблюдал за тем, как беспричинно и необъяснимо в его сознании рождаются странные, бессвязные, тревожные мысли, которые больше не причиняли ему боли, но лишь питали его воображение.

Однажды, поднимаясь по какой-то лиссабонской улице, он почувствовал — точно молния прошла сквозь него — безудержное желание запечатлеть в себе всех людей, весь мир; соединить все движение в одной точке — в своем существе.

В другой раз, как будто неким порывом мысли, он вдруг заключил, что настоящий триумфатор — это тот, кто сумел победить существование тем, что перестал существовать... и почти сразу же ему открылся и способ достичь этой победы.

Он представил человека, который полностью забыл о самом себе, который победно и безраздельно живет лишь одним мгновением. Конечно, этот человек иногда встречал бы свое отражение в зеркале, но тотчас забывал бы о нем. Конечно, он что-то говорил бы, делал бы какие-то жесты, но все это мгновенно стиралось бы из его памяти, а значит, забывая каждое мгновение, он по существу забывал бы самого себя, поскольку у него не оставалось бы ни одной точки опоры, чтобы подтвердить свое существование. И, таким образом, не имея никакого представления о себе, для самого же себя он и не существовал бы.



Однако, не существуя для себя, он, тем не менее существовал бы для других, для тех, кто говорил с ним, видел его...

В детстве нас преследуют болезни, многие из которых способны поставить ребенка на грань жизни и смерти. Случилось подобное и с Инасиу — когда ему было два года, у него началась тифозная лихорадка. Эта болезнь *существовала* для других, для тех, кто видел, как у больного поднимается температура, как ему тяжело, как он начинает бредить. Для самого же больного, несмотря на перенесенные страдания, этой болезни в действительности не существует, потому что с течением лет даже смутные воспоминания о ней исчезают из его сознания. *И если бы никто не рассказал нам об этих страданиях, мы бы никогда о них не узнали.*

Что-то подобное произошло бы и с человеком, который сумел бы последовательно забывать каждое мгновение своей жизни...

.....  
.....

Иногда в его сознании скользили какие-то странные, бессвязные мысли.

Однажды его взгляд задержался на какой-то женщине. Она не была красива. Но у него возникло желание обладать ею... Почему?.. И вдруг ему подумалось, что эта женщина была как бы *пределом*, в числе других, которыми он хотел бы обладать. Да, пожалуй, что он хотел бы владеть ею — но никогда не прикоснулся бы к женщине, которая была бы хоть немного менее красива, чем эта...

И в то же мгновение в его сознании родился персонаж, которого в любой жизненной ситуации привлекали лишь *предельные величины* — и так появился на свет «любитель предела»...

.....

Случалось также, что, находясь рядом с тем или иным предметом, Инасиу испытывал острое желание перевоплотиться в этот предмет. Особенно сильным было это желание, когда он смотрел на голубой шкаф, который стоял в его столовой: *да, на тот шкаф, полный бутылок вина, столовых приборов и банок с консервами...*

Все эти экстравагантные мысли, однако, нисколько не беспокоили его, скорее смешили. Все это было не более, чем извилистым движением его постоянно напряженного воображения.

В конце концов, Инасиу никогда не боялся сойти с ума — именно потому, что безумие всегда жило в нем: подобно тому, как в некоторых случаях организм способен адаптироваться к вредоносным микробам, и, будучи носителем их, не подвергнуться болезни, так и сознание Инасиу было наделено чем-то вроде иммунитета от безумия.

По той же причине алкоголь не вызывал у него ничего, кроме сонливости, табак казался противным, а наркотики, помимо того, что были омерзительны, только помрачали его сознание, не заставляя его трепетать, и не рождая в нем каких-либо образов или видений...

Он сам для себя был и вместо алкоголя, и вместо эфира, и вместо кокаина...

... В конце концов, любой порок был не более, чем дурной привычкой... А у Инасиу никогда не было никаких привычек...

.....  
.....

Да, теперь он был спасен от самого себя, теперь — полностью к себе адаптировался. Литература... литература, которая прежде столько раз бывала для него источником отчаяния, теперь лишь время от времени внушала смутную тоску оттого, что не могла пробудить в нем дрожь и трепет: не открывала ему пути к победе над призрачным экстазом, не давала возможности потрясать и вызывать священный трепет в тех, *чьими телами он не обладал*, — не позволяла впиваться в людей, наслаждаться их прекрасными истомленными телами, уподобленными Душе!..

### III

Прошло несколько месяцев. Инасиу снова жил в Париже, беззаботно, не задумываясь о деньгах, свободный духом.

Он вернулся к своему нормальному образу жизни, то есть жил литературой, как и предполагал, отправляясь в Париж.

Каждое утро он работал, затем выходил на улицу и отдавался движению большого города. Он гулял по бульварам, потом заходил в кафе, в котором читал газеты, писал письма или продолжал работу над каким-нибудь из своих произведений. Вечера он проводил в мюзик-холлах, искусственная атмосфера которых всегда была ему по душе. Театры, со всеми своими буржуазными нелепостями, давно не привлекали Инасиу. Его влекло туда, где можно было забыть, утратить ощущение времени, туда, где взгляд захватывали красочные представления, декольтированные актрисы, обнаженные танцовщицы... Эта светская среда всегда была для него благоприятна: роскошные краски, драгоценные звоны, неизменный космополитизм. Инасиу всегда был поклонником большого Мира, всегда жаждал Европы, всегда испытывал отвращение и презрение к *Провинции*, с ее вечным запахом пота и навоза, с ее лицемерием, с ее здоровьем, с ее белыми стенами и красными крышами, с ее колокольнями, с ее Мануэлами и Мариями... Инасиу никогда не мог понять, как некоторые художники — и порой настоящие художники — могли воспевать свои родные деревни и гордиться ими. Он, в свою очередь, всегда кичился тем, что его родиной была европейская столица.

Со временем для Инасиу чем-то вроде обычая стало приходить в мастерскую Мануэла Лопеша, к пяти часам на чашку чая.

Мануэл Лопеш был самым настоящим идиотом, и как художник и как человек. Но это не мешало ему быть хорошим другом, и вообще отличным парнем: толстощеким, плотным, смуглым, лощеным, с голубой

бородой, курчавыми волосами. Лопеш выглядел очень моложаво и всегда был в прекрасном расположении духа...

Кроме того, когда Инасиу замечал в очередной раз, насколько Лопеш глуп, ему довольно часто казалось, что он несправедлив к другу, более того — порой он был уверен в своей несправедливости.

Тем более, что, помимо прочего, художника довольно часто посещали вспышки *просветления* — едва ли не каждый день принимавшие формы вымышленных историй и приключений, главным героем которых был сам Лопеш. Истории были разнообразные: о любовных победах, об отважных сражениях, дуэлях, остроумных спорах... встречах с нечистой силой... о грандиозных проектах, великих идеях — обо всем на свете, без малейшего порядка... Бесконечный поток воображения. Да, воображение это не было возвышенным, но, тем не менее, оно свидетельствовало о том, что в жилах художника Лопеша есть немного живой крови.

Встречи и собрания всегда вызывали у Инасиу отвращение, но к Лопешу он ходил охотно, чувствуя, что обстановка в мастерской живописца может быть питательной средой для его творчества.

Будучи сыном крупного землевладельца из Алентежу, Лопеш, вполне осознанно, тратил деньги без малейшего затруднения. Его мастерская была великолепна, огромна, роскошна, чрезвычайно комфортабельна и современна. Некоторое время назад Лопеш увлекся кубизмом, чем еще раз доказал, что если его и можно считать человеком низкого духа, то уж точно нет оснований подозревать в посредственности. При этом он

совершенно ничего не понимал в кубизме, столь же запутанном, сколь гениальном. Как бы там ни было, то, что Лопеш решил защищать и следовать направлению Пикассо, Леже, Гриса, Анри Матисса, Дерена, то, что он открыто восхищался изломанными линиями скульптур Архипенко, говорило о его чуткости и отваге. Отваге, конечно, глупой, но точно куда более возвышенной, чем все потуги на творчество парочки бородатых доморощенных «живописцев», бывших студентов Национальной Академии изящных искусств, которые даже в Париже оставались обычными идиотами, и продолжали писать свои скромные правильные картинки, очень красивые, технически совершенные... которые тотчас же выставлялись в «роскошных» лиссабонских салонах, к восторгу допотопных заик, считавшихся мастерами...

Мастерская Лопеша привлекала Инасиу по двум причинам: во-первых, потому что люди, которых он встречал там (иностранные художники-морфинисты, актрисы, студенты), были для него своего рода малой моделью Парижа; во-вторых, потому что время, проведенное у гостеприимного художника, было для Инасиу чем-то вроде порции банальности, которая, подобно представлениям Олимпии, Фоли и Мулен Руж, позволяли отдохнуть его тревожному Гению.

Поэтому, несмотря на то, что он побывал у своего друга накануне вечером, в тот дождливый февральский день Инасиу решил отправиться к Лопешу...

У Лопеша было немногочисленно: Робер Лагранж, драматург и один ближайших друзей художника, еще

не вполне оправившийся от кончины Иветт Дольси, актрисы, которая была его возлюбленной подругой, искренней и благодарной. Как обычно, в тот вечер у Лопеша был Жан Лами, режиссер из Комеди Руаяль, производитель однодневных оперетт... своим положением обязанный хозяину мастерской... Этому журналисту Инасиу, можно сказать, симпатизировал, хотя бы потому, что некогда он водил знакомство с Рикарду де Лорейру, и, будучи секретарем графа де ла Барре, сыграл определенную роль в любовной истории Поэта и Марты де Валадареш. А все, что было связано с именем Лорейру, возвышенного и несчастного автора «Диадемы», имело для Инасиу особое священное значение, в котором отражалось его преклонение перед фигурой Учителя.

Кроме того, в тот вечер у Лопеша был Орасиу де Вивейруш, португальский музыкант, известный своим недавним провалом в Комеди Руаяль, Этьен Даламбер — никому не известный комедиограф и столь же неизвестный молодой актер, и, кроме того, полдюжины иностранцев обоего пола: русские, сербы, скандинавы.

Общая беседа не клеилась, вечер проходил скучно. Инасиу уже начал жалеть, что пришел, и собирался уходить, как вдруг где-то поблизости раздался громкий смех.

Это была Маруся, актриса и любовница Жана Лами и к тому же натурщица Лопеша, которая в тот вечер пришла к художнику в компании своих новых подруг — сестер Доре: Розы и Полетт. «Они чудесные» —

резюмировала Маруся, представляя сестер гостям Лопеша...

Их появление спутало планы Инасиу, и он был этим несколько раздосадован...

... Молоденькие актрисы развеяли общую скуку, и после их появления все гости радостно приступили к чаепитию...

\* \* \*

В то время Инасиу работал над романом, который, он был уверен, должен был стать его лучшим произведением. В последнее время он действительно вырос как художник, его Дух возвысился, его Гений был словно бы умашен Нездешним. Поэтому не проходило и дня, чтобы Инасиу не думал о славном и прекрасном мгновении — когда он окончит свой труд.

Был конец марта, и к середине апреля он хотел закончить свой роман, чего бы это ни стоило. Впрочем, оставалось совсем немного, только отредактировать две последние главы.

Он был полностью погружен в работу, старался не терять ни минуты, целыми днями почти не выходил из дома, стремясь сделать роман еще более совершенным. Визиты к Мануэлу Лопешу стали более редкими.

В последнее время Инасиу уже не находил для себя ничего интересного в бестолковой и мелочной заурядности всегда неизменного кружка, собиравшегося у его друга. У писателя все чаще возникало желание отстраниться от добродушного маляра и его клевретов.



И все же в тот день, поскольку накануне ему неожиданно удалось резко продвинуться в работе, и еще потому, что он не был у друга уже около двух недель, Инасиу решил подняться на Монпарнас.

Дом кубиста был полон гостей. Было много новых лиц, и, среди прочих, маленький и очень смуглый португалец с живым взглядом, из индийских владений королевства, который своим колониальным видом придавал «собранию» экзотический акцент.

Едва только Инасиу вошел к Лопешу, кто-то подбежал к нему со словами: «Как давно вы не появлялись. Я уже столько раз спрашивала о вас...»

Это была Полетт Доре.

Инасиу ответил:

— В последнее время я редко выходил из дома.

— Вы были нездоровы?..

— Да... в некотором роде... я хотел закончить свой роман...

И Полетт, с какой-то капризной гримаской:

— Как жаль, что его еще нельзя почитать...

В этот момент к ним подошел Лопеш, который начал обнимать Инасиу и возмущаться его долгим отсутствием:

— Ах, эти писатели-мученики, во всем они готовы дойти до гибели... — запричитал художник.

.....  
.....

В семь часов Инасиу вышел от Лопеша в очень странном настроении. Он чувствовал бесконечную

грусть, окруженную волнистым меланхолическим ореолом, в котором чувствовалось что-то бесконечно сладостное.

Как бы Инасиу ни старался, ему никак не удавалось понять, что вызвало в нем это странное состояние. Все было благополучно... Меньше, чем через неделю — его роман будет закончен!..

Инасиу решил поработать еще над несколькими страницами и сделать это в каком-нибудь непривычном месте, чтобы рассеять свое странное волнение, эту загадочную «приятную неудовлетворенность».

Он поужинал у Дюваля, и потом буквально на пару минут, поскольку хотел лечь спать пораньше — зашел в кафе Риш. Там он решил воспользоваться моментом, чтобы написать ответное письмо своему другу — в Лиссабон... Инасиу попросил перо и бумагу и начал небрежно набрасывать строки на белом листе... Вдруг его взгляд невольно оторвался от письма, поднялся, влекомый какой-то странной силой, остановился на ярко окрашенной девице, которая пила горячий шоколад за соседним столиком.

Он долго смотрел на ее лицо... А потом в какой-то странной рассеянности его слова начали путаться, точно ему не хватало букв. Это привело Инасиу в раздражение, он скомкал уже исписанный наполовину лист и решил, что дело это не срочное и он может написать ответ в другой раз.

Намереваясь уйти, Инасиу позвал официанта, чтобы расплатиться, но вместо этого почему-то заказал еще один кофе...

Его глаза неотступно следили за девушкой, которая, улыбаясь, разговаривала с присоединившимся к ней другом...

Это было любопытно. Инасиу был уверен, что не знал эту женщину, никогда даже ее не видел, и все же ему казалось, что он не раз беседовал с ней... Или, скорее, *он испытывал странное ощущение, что в этой женщине, ему видится кто-то другой...*

Но вот девушка и ее спутник встали. Он помог ей надеть шубу... они вышли.

... Только тогда Инасиу де Говейя смог подняться со своего места и выйти из кафе...

Он пришел домой в десять и тотчас же лег спать. Таинственное наваждение исчезло.

И все же, когда он уже засыпал, в воображении Инасиу возник тот магический профиль...

.....

Весь следующий день он провел за рукописью — в неотступном желании поскорее закончить свою работу.

По какой-то неведомой причине в тот день у Инасиу появилось ощущение, что если он не закончит работу как можно скорее, в ближайшее время могут возникнуть какие-то непредвиденные сложности, из-за которых придется отложить окончание романа...

.....

На следующий день он был проникнут решимостью. С этим чувством он принялся за работу (и даже

пообедал в своей комнате, что случалось нечасто), но вскоре его охватила какая-то внезапная тоска, и вслед за ней желание побыть с людьми, не сумев воспротивиться которому Инасиу решил навестить своего друга-художника.

В конце концов, работы ему оставалось совсем немного — поправить полдюжины страниц. Так что в любом случае получалось, что на следующий день работа — будет закончена. А значит, он уже имел полное право чувствовать себя свободным.

Беспокойство не оставляло Инасиу, даже наоборот: когда он поднимался на Монпарнас у него началась лихорадочная дрожь...

.....

В мастерской Лопеша было немногочисленно, и почти все гости — мужчины. Из женщин только Маруся и Полетт.

Мужчины образовали тесную группу в глубине гостиной, и, конечно, обсуждали искусство. Маруся о чем-то говорила с Орасиу де Вивейрушем и не переставая смеялась. Сидя за столом, усталый Мануэл Лопеш о чем-то беседовал с Полетт.

Инасиу подошел к другу и поприветствовал его и Полетт.

— Сегодня, старик, здесь невероятно скучно — зевая, предупредил его Лопеш. — А у меня еще и живот болит... Вчера я съел целую гору десерта!..

Полетт облокотилась о край стола. Инасиу, стоя напротив девушки, — сделал то же самое. И вдруг он почувствовал, как их пальцы приближаются друг к дру-

гу... соприкасаются... соединяются... и вот — едва заметным движением она пожала его руку...

В этот момент к столу подошел кто-то из гостей художника. Инасиу и Полетт разомкнули ладони, чтобы никто не заметил... Чуть позже, улучив подходящий момент, Инасиу «встретил» под столом своими ладонями пальцы Полетт, но на этот раз она спрятала от него свои руки...

Но тотчас же, как будто показывая тем свое раскаяние, улыбнулась Инасиу и положила на его ладонь свою обнаженную смуглую руку... непринужденно разговаривая о чем-то с другими гостями...

.....  
.....

Ах! Какая светлая нежность проникла все существо Инасиу... Какая трогательная признательность пробудилась в нем от этого изящного и отважного жеста маленькой актрисы... Такая странная нежность, полная милосердия и страдания... *несказанная, но вдруг вызвавшая раскаяние...*

Исследовав свою память, Инасиу нашел множество мелочей, прежде не замеченных им, которые, сложившись воедино, привели к этому жесту Полетт.

Да, все это было правдой... Грустные и восхищенные взгляды Полетт... Неожиданные вопросы... улыбки, предназначенные только ему... И еще, в тот день, когда он пришел к Лопешу после долго перерыва, она так хотела узнать причину его отсутствия...

Уже в первый день, когда они только познакомились, вспомнилось теперь Инасиу, она села рядом

с ним, так близко, прямо напротив... Она заметила на его пиджаке черную нитку и тотчас убрала ее... Потом случайно коснулась его пальцев, и задержала движение руки, точно хотела, чтобы их руки соединились... Но потом, осознав, что происходит, стремительно убрала свою руку...

Да, да все это должно было открыть Инасиу чувства Полетт... Но он не догадывался, даже не предчувствовал...

И вдруг в течении его любовных мыслей, мгновенно и совершенно отчетливо возник образ незнакомки из кафе Риш...

... И только теперь он понял, что в лице незнакомки он чувствовал сходство с Полетт, особенно в стройных золотистых тенях, которые отбрасывали ее глаза...

.....  
.....

На следующее утро, даже не вспомнив о фиалковом образе, он решительно сел за письменный стол, чтобы наконец закончить роман. Работа шла легко и быстро — впрочем, скорее всего, лишь потому, что исправлений предстояло сделать совсем немного.

Свободный от прежней тревоги, Инасиу погрузился в нежные воспоминания о минувшем вечере и вскоре осознал, что чувствует странную и бесконечную благодарность: *благодарность, рожденную эгоизмом.*

И более всего Инасиу испытывал нежность оттого, что эта бедная, такая вульгарная девушка, ведомая душевным порывом, сумела заметить его, выбрать среди тех, кто, казалось, скорее мог бы очаровать ее:

среди красивых длинноволосых юношей с манящими губами и стройными телами, которые всегда галантны и всегда находят для женщин красивые слова. В своем отважном стремлении она первая обратилась к нему, она первая пожала его руку...

«Любимый мой... любимый...», — услышал Инасиу ее шепот.

Но Инасиу нисколько не желал ее... нисколько... В ней не было ничего, что могло бы показаться ему привлекательным... Разве только ее словно бы заостренные зубы... Может быть, отстраненное выражение лица или смуглые угловатые руки... Но вместе с тем все ее банальные ужимки, вся эта пошлая манерность, все эти изыяны самой обыкновенной девушки...

«Зачем же она мне?..»

Как только он так подумал, эти мысли показались ему какой-то чудовищной неблагодарностью...

... В конце концов, как бы там ни было, он хотел еще раз увидеть ее, хотя бы затем, чтобы убедиться, что она действительно пожала его руку...

Но поскольку в тот вечер Полетт была занята на репетиции, у Лопеша она не появилась. Они встретились только на следующий день...

И всё повторилось: молчаливые нежные ласки, в присутствии многих, скрытые от всех...

.....

Нет, прервать это было решительно невозможно. Инасиу прекрасно знал, что случится потом, и все же не мог отказаться от Полетт, сделать вид, что ничего не произошло. Это было бы невообразимой жестокостью...

Тайком, как будто прячась и скрываясь от самого себя, он зашел в знаменитую цветочную лавку на улице Скриба, где когда покупал цветы для какой-то танцовщицы с Монмартра; купил букет роз и отправил его Полетт.

Вечером он пошел в Комеди Руаяль...

.....

Во время представления их взгляды непрестанно встречались... После окончания спектакля он решил подождать Полетт у выхода. Но как только заметил ее, ему стало стыдно из-за этого поступка, из-за того, что она могла увидеть его и *понять, что он ждал именно ее.*

Полетт заметила Инасиу и окликнула по имени... Инасиу подошел...

Вместе с маленькой актрисой в тот вечер были ее мать и сестра — Роза. Полетт представила Инасиу своей матери, и так, вчетвером, Роза с матерью впереди, Инасиу и Полетт за ними, они пошли по улицам Парижа... Инасиу и Полетт шли, держа друг друга за руки и не произнося ни слова...

Инасиу проводил их до дома.

На следующий день эта встреча повторилась. Только в этот раз Инасиу и Полетт еще крепче держали друг друга за руки...

.....

Инасиу ступил на «дурной путь», в этом не было никаких сомнений... Ах, но каким же сладостным был этот «дурной путь», какими прекрасными ароматами розовых оттенков он был исполнен...



Да, да... Ему необходимо было хотя бы на одну ступеньку спуститься с гордого пьедестала, на котором возвышалась его мраморная фигура, покрытая позолотой.

В конце концов, Инасиу и без того был вовлечен в жизнь. А значит несправедливо было бы стыдиться желания *пожить*, хотя бы немного...

... Он спустился с пьедестала уже вполне ощутимо, и при этом испытывал гордость от того, что решился на такой поступок. В конце концов, и мистика таит в себе немало загадочных сокровищ...

.....

В тот вечер они, как обычно, беседовали в мастерской Лопеша. Полетт ушла раньше обычного. И попрощалась с Инасиу холодно и сухо... Иначе и быть не могло, столько людей было вокруг...

.....

На следующий день Инасиу не мог пойти в мастерскую Лопеша, поскольку ужинал с одним из своих друзей, недавно приехавшим из Лиссабона. После ужина он уговорил друга пойти вместе с ним в Комеди Руаяль.

Во время представления взгляды Инасиу и Полетт не встретились ни разу...

По крайней мере, ему так показалось...

.....

На другой день к Инасиу пришел Орасиу де Вивейруш и предложил вместе пообедать.

А потом вдруг сказал:

— Инасиу, я всё знаю!

— Что — всё? — вздрогнув, спросил Инасиу.

— Знаю о твоём флирте с Паулой. Вчера во время репетиции она рассказала об этом своей подруге. Я услышал твоё имя, и заставил её рассказать обо всём и мне. Сделал это, потому что считаю себя одним из твоих лучших друзей... Она сказала, что любит тебя...

.....

В тот же день в ювелирной лавке на бульваре Распай Игасиу купил для Полетт платиновую брошь с изумрудом за сто двадцать пять франков.

Он встретил маленькую актрису после репетиции и подарил ей брошь. Полетт очень обрадовалась, и с чувством стиснула его ладони в нежном рукопожатии...

Однако на следующий день, когда они встретились в мастерской Лопеша, Инасиу показалось, что Полетт говорила с ним холодно и отстраненно... Она намеренно избегала его, это было очевидно...

Вечером, когда Инасиу ожидал её на углу улицы Комартен после спектакля, его замечание подтвердилось.

Полетт, заметив его издали, крепко сжала руку сестры, вместе с которой шла по бульвару, после чего они повернулись и пошли в другую сторону...

.....

.....

Когда на следующий день, около семи часов, Инасиу вошел в мастерскую Лопеша, почти все гости уже разошлись.

Художник подошел к нему с мрачным видом и громко сказал: «Не ожидал тебя увидеть. Но хорошо, что ты пришел. Мне надо с тобой поговорить, наедине».

Когда они остались вдвоем, Лопеш, после долгих изъяснений своих дружеских чувств, своей преданности Инасиу и преклонения перед ним, наконец, сообщил:

— Я твой друг и поэтому хочу тебя предупредить. О том, что ты подарил ей брошь с изумрудом, уже знают все. Я был очень рассержен. Я объяснил Полетт, с кем она имеет дело, сказал ей, как возвышенна и сложна твоя душа, сказал, что она начала рискованную игру... На это она мне ответила, что ты не даешь ей прохода и не оставляешь ее в покое... что она не знает, как ей избежать встреч с тобой... ей даже приходится возвращаться домой другим путем...

.....  
 .....

## IV

Инасиу не страдал, по крайней мере, несколько дней. Его разочарование было так велико, что одним мощным усилием воли ему почти удалось забыть этот эпизод, полностью вычеркнуть его из памяти. *Его гордость не должна была признавать это низменное разочарование.*

Кроме того, в тот же вечер, когда он говорил с Лопешем, Инасиу решил встретиться с Полетт. Ожидал

ее у входа в театр с улицы Комартен, таким образом, чтобы Полетт не могла заметить его заранее. И вот, когда она подошла, Инасиу резко и сухо, в присутствии Розы и Маруси, сказал, что ей не следует его избегать, поскольку он ничего от нее не хотел и ничего у нее не просил. Это она обратилась к нему, это она, *первая*, прикоснулась к нему, подала ему руку...

После этого Инасиу пожал руку Полетт, приподнял шляпу, и попрощался — как ни в чем не бывало...

Этот последний эпизод стал для Инасиу облегчением, произвел на него какое-то странное отупляющее воздействие, которое помогло ему в ближайшие недели не вспоминать об истории с Полетт...

Инасиу провел еще немало вечеров в мастерской кубиста — теперь его пребывание там было более регулярным и продолжительным. Никто бы, видя это, не предположил, что Инасиу старается избегать Полетт. К тому же сестры Доре вскоре перестали бывать у художника, и вместе с ними мастерскую перестала посещать и Маруся, у которой произошел резкий разрыв с Жаном Лами.

Свободный от своего романа, оставшегося в радужном ореоле, где-то позади, Инасиу решил на несколько месяцев отойти от привычной жизни: сознательно растрачивая время, он часто отправлялся на продолжительные прогулки, вечера проводил в мюзик-холлах, в дневное время вместе с Орасиу де Вивейрушем подолгу сидел в какой-нибудь кофейне.

Для того душевного состояния, в котором находился Инасиу после своей любовной истории, Орасиу

де Вивейруш был весьма подходящей компанией. Умный, открытый, свободный и веселый, не склонный ни к переживаниям, ни к страстным душевным порывам, всегда довольный тем, что имеет; одним словом, в жизни занятый самой жизнью...

Рядом с ним Инасиу чувствовал себя спокойно: приятные беседы ни о чем успокаивали хотя бы на время его огорченную и опустошенную душу.

Орасиу рассказывал ему о своих веселых парижских приключениях и своих скромных проектах, не лишенных изящества и при этом осуществимых...

Иногда на встречу с Инасиу вместе с музыкантом приходил кто-нибудь из его друзей. Чаще всего — это был Этьен Даламбер, который в то время занимался постановкой одноактной пьесы в Комеди Руаяль. Этьен Даламбер был Инасиу симпатичен, как-то беспричинно, непонятно отчего...

.....

\* \* \*

Так прошло несколько недель.

Понемногу, оставаясь незаметными для Инасиу, в его душе начали оживать воспоминания, которые, казалось, он сумел еще в самом начале предать победоносному забвению. Великим душам, в отличие от «всех остальных», время не приносит забвения, окружая минувшее радужным ореолом, но, напротив, изощренно заостряет его, делая бестелесно-призрачным, и оттого более трепетным, проникновенным и пьянящим.

Кроме того, те или иные мелочи из повседневной жизни время от времени напоминали Инасиу о его любовном сюжете. Орасиу де Вивейруш, например, даже поздравил его с окончанием этой истории.

Такая женщина, — одобрительно говорил Орасиу, — совершенно тебе не подходит. Я даже говорил об этом с Лопешем, мы хотели вмешаться, но не понадобилось. Ты вовремя одумался. Я и не ожидал, что ты поступишь так рассудительно. С таким характером, как у тебя, это точно ничем хорошим не закончилось бы...

Бывало и так, что в какой-нибудь беседе Орасиу с его театральными друзьями Инасиу узнавал что-то о Полетт. Так, например, он узнал о том, что Полетт и Роза были приглашены в то лето принять участие в новом спектакле Фоли Бержер.

Но более, чем что-либо другое, к воспоминаниям о Полетт его возвращало изумление при мысли о том, что такая история могла произойти с ним, с человеком, исцеленным от всего низменного, ревниво преданным своей судьбе, своей славе — единственному, что способно открыть ему победоносный экстаз, с человеком, возвышенным в своем отречении и в своем отшельничестве.

Однажды, придя в отчаяние от таких мыслей, он невольно начал говорить сам с собой: «Боже мой... Боже мой... ведь это значит, что в глубине души я не изменился, что я все тот же жалкий человек, каким был прежде... Те же печали... те же желания... те же огорчения... Ведь однажды я решил, что этому больше не бывать... что тоска моя мне более не интересна... что несчастье мое ничего, кроме тошноты, у меня не вызывает... Да, я всегда сам был хозяином своего мнения...

решил, что буду чувствовать... что буду переживать... решил за себя, так же, как за других... Вот в чем источник всех моих разочарований... всех моих низостей...

Но затем, изгнав все эти мысли, в возвышенном порыве, он снова опоясал себя алмазной гордыней и вернулся к прежнему спокойствию.

.....

Забывать... изгнать из жизни неудобные дни и часы...

Величайшим триумфатором стал бы тот, кто сумел этого достичь...

Невозможно! Невозможно!..

Но несмотря ни на что и даже испытывая чувство стыда, уже через несколько дней Инасиу, на этот раз вполне осознанно, заметил, что сам невольно вызывает в памяти воспоминания об этой жалкой истории: о смуглых пальцах Полетт, сжимающих его пальцы, о ее голосе, ее улыбке, ее простоватом профиле...

И когда он думал об этой девушке, пронзительная нежность как бы проходила сквозь него, внося в его душу смятение. Эта нежность погружала Инасиу в меланхолические чары, окружало все его существо терпкой сладостью ощущений, прозрачной и пьянящей, настолько, что у него даже мысли не возникало возмутиться, взбунтоваться и предать изгнанию все эти чувства...

Однажды вечером, когда Инасиу прогуливался по бульвару Сен Мишель, испытывая приступ болезненной нежности, ему повстречалась девушка, оживившая в его памяти образ Полетт, и, увидев ее, он решил последовать за ней, чтобы проследить ее маршрут — как будто это и вправду была Полетт...

Самые незначительные мелочи пробуждали в нем воспоминания о Полетт. Когда, например, Инасиу ожидал на улице кого-нибудь из своих друзей, ему начинало казаться, что он ждет Полетт. А однажды вечером он даже выпил свой кофе почти без сахара, только затем, чтобы отдать несколько сладких кубиков бродячей собаке. Ему даже почудилось тогда, что он словно перестал быть самим собой и стал парижской девушкой, маленькой, восторженной, трогательной, заботливой, такой, как Полетт, которая отдает свой сахар бездомному псу и ласкает его, в своем восхитительном и хрупком порыве нежности. И вот из-за этой ее воображаемой слабости и малости Инасиу испытал такое чувство, что на глазах у него выступили слезы, так жалко ему стало самого себя, так жалко ему было бы себя, если бы он сам был этим ничтожным созданием...

И так жалко ему было ее... эту девушку...

Несчастное создание... она не осмелилась пойти до конца... она попятилась назад, как испуганная кошка... Ах, что она потеряла... что она потеряла... Какой возвышенной она стала бы в его объятьях... какой прекрасной, какой прекрасной...

Тогда Инасиу еще не понимал этого, но правда заключалась в том, что если ему и суждено было полюбить эту девушку, то произошло это не в прошлом, а происходило теперь, или должно было произойти в будущем...

Но все это было не столь уж существенно в сравнении с тем, что Инасиу закончил свой роман. Это было, вне всяких сомнений, его лучшее произведение,



настоящий Шедевр, огненная книга, в которой ему, наконец, удалось выразить свои порывы, свои самые утонченные переживания, отвращение и мятеж. Ненависть свою и свою любовь он написал в огненных тонах, и рядом с ними — мистическое таинство пола. Фиолетовыми тонами написал он влечение к Тайне и очертания Другого...

Через два месяца, в начале августа, он собирался отправиться в Лиссабон, чтобы там опубликовать свой роман. Книга должна была выйти в ноябре. Для издания книги Инасиу намеревался воспользоваться мертвым сезоном. И душа его так ликовала, столь радостно было ему даже от самой поездки в Лиссабон, где у него были к тому же и настоящие друзья, что страдание не могло охватить все его существо, и горечь не пронизывала всю его душу.

Но с каждым часом он все глубже погружался в ностальгические воспоминания, все пристальнее вглядывался в эту странную авантюру. Однажды ему даже подумалось, что если бы он решил написать об этом роман, рассказав прежде историю свою души, никто бы не упустил возможности заметить, что с точки зрения психологии, и это повествование было бы неубедительным, что персонаж с такой душой не мог бы оказаться в подобных обстоятельствах...

... а впрочем, пройдет еще немного времени и от всей этой истории, конечно, не останется и следа...

.....  
.....

... Но вот однажды вечером, как ни в чем не бывало, Орасиу де Вивейруш, между двумя глотками аперитива, зачем-то сказал: «Знаешь, кто теперь ухаживает за Полетт?.. Этьен Даламбер...»

Инасиу стоило немалых усилий встретить эту новость равнодушным «Да?» и продолжить разговор, переменив тему...

Но вскоре его сердце сковала такая грусть, что ему самому тотчас же стало понятно: ни одна новость о Полетт не может оставить его равнодушным. Все, что он слышал о ней, казалось, навеки сохранялось в его памяти...

«О! Сегодня же, сейчас же — я должен забыть все это. Низостью и подлостью было бы с моей стороны думать теперь о новом поклоннике Полетт... или он же стал ее любовником... конечно, уже любовник... Никто не поступил бы, как я... *никто не сбежал бы после первой же неудачи...* никто... Все забыть... вырвать из памяти... *не помнить, даже смутно...*»

.....

На следующий день Орасиу пришел на встречу с писателем вместе с Этьеном Даламбером.

Сложно найти слова, чтобы описать чувство, которое испытал Инасиу, увидев актера. Это чувство не было ненавистью, не было оно и отвращением... Напротив... совсем наоборот... и он был поражен, поняв, что чувство это было горьким ликованием, глубокой симпатией... Господи, можно было бы даже назвать нежностью... искренней нежностью, пробивавшейся сквозь досаду и раздражение...

Ведь он переживал то же, что некогда чувствовал Инасиу... Ему знакомы были *те* рукопожатия... Наверное, да... однажды вечером... втайне от других гостей...

И если Инасиу испытывал смутную боль оттого, что ему случилось разделить свои чувства с другим человеком, а значит и соединиться с ним в той или иной мере, именно эта боль и вызывала его странную таинственную нежность. Мистическое нездешнее волнение при виде человека, *который добился того, чего не добился он*, пробудило в Инасиу желание — соединиться с ним в поцелуе...

.....

И все же Инасиу было мучительно думать о том, что Даламбер, вероятно, достиг того, чего он сам даже не попытался достичь: впиваться в губы этой жалкой девушки, покрывать поцелуями ее веки...

«Если бы я хотя бы не знал этого человека...»

И вдруг Инасиу с ужасом почувствовал в себе желание... он хотел, чтобы Этьен овладел Попетт, немедленно, здесь и сейчас.

Прошло несколько дней.

Постепенно, обращая внимание на разные мелочи, на вопросы, которые Вивейруш задавал Даламберу, на остроумные замечания музыканта, которыми он щедро сыпал во время каждой беседы, Инасиу начал понимать, что удача, видимо, была не на стороне нового возлюбленного маленькой актрисы.

Ах, в каком напряженном и непрерывном волнении провел Инасиу весь этот месяц...

Каждый вечер Инасиу встречался со своими друзьями на террасе кафе Америкэн, и все его желания сосредоточены были на одном: он следил за каждым словом Даламбера, за каждым движением его губ, за каждым жестом. Следил с тайным страхом, боясь увидеть улыбку другого, заметить радость в чертах его лица, увидеть какую-нибудь счастливую перемену в его поведении, обычно меланхоличном...

.....

Однажды Даламбер попросил у Инасиу ручку — чтобы написать письмо.

Когда актер закончил свое послание, Инасиу успел заметить на конверте имя Полетт...

Какая смутная нежность пробудилась тогда в его душе... Вскоре Полетт получит письмо, строки которого были выведены тем же пером, которым он, Инасиу, некогда написал ей письмо, отправленное в театр вместе с букетом цветов... этим же пером он написал и свой великолепный Роман...

И какое жалкое желание возникло вдруг в его душе — поцеловать самого себя — чтобы испытать пустой и поверхностный, по-детски глупый трепет...

.....  
.....

С каждым днем Даламбер был все более симпатичен Инасиу, и вместе с тем росло его опасение, что актер сумеет добиться победы...

Странно, но, кажется, именно это опасение Инасиу, усиливало в нем симпатию к Даламберу. Да, все

было так: он чувствовал, что весть о том, что актер отказался от своих притязаний, принесла бы ему облегчение, и в то же время в каком-то извращенном порыве гордыни, в порыве мести самому себе, где-то глубоко-глубоко в его сердце возникло желание, чтобы Даламбер добился своего...

.....

... И вот, накануне его отъезда в Лиссабон, Вивейруш рассказал ему, что история Полетт и Даламбера закончилась — так, как обычно и заканчиваются такие истории — сама собою.

У Этьена уже была новая возлюбленная — очень красивая... танцовщица Опера Комик...

## V

В первые недели, проведенные в Лиссабоне, Инасиу был так воодушевлен, что не помнил самого себя. Его сознание переполняли мысли об издании романа, и он чувствовал себя счастливым и просветленным от гордости за свое творение. Радостным было для него и общение с немногими друзьями, особенно с Фернанду Пассушем.

Ах! Какое сияющее ликование испытал Инасиу, когда ему открылось, что гениальный Художник понимает, — да, понимает! — и ценит его... И какое благотворное влияние оказал на него Поэт, прежде всего

своими чудесными письмами, ведь общение их, пока Инасиу находился в Париже, было, главным образом, эпистолярным.

Фернанду Пассуш пробудил его душу. Именно Пассуш помог расправить золотые крылья Гению Инасиу, именно этот Поэт поднял его дух к священным высотам, окропил его стихией грядущего, запечатлел его в светоносном Ореоле и короновал Тенью.

Долгие беседы во время продолжительных прогулок открывали новые горизонты, которые были еще не тронуты в переписке: новые литературные проекты, Иные томления, встреча и пересечение идей и творческих замыслов.

Лишь изредка их беседы касались банальных подробностей повседневности. Они чувствовали себя слишком возвышенными, чтобы говорить о жизни.

Возвращаясь домой после этих пронзительно змеящихся, звездно искрящихся бесед, Инасиу чувствовал себя нездешне счастливым...

Что за дело было ему до всего прочего, если он высвободился в Вось, если в самом себе он обрел возвышенную жизнь и, подобно орлу, стремился от сияющих утесов к пурпурному горизонту?

Инасиу и Фернанду Пассуш принадлежали одной Расе: таких людей было еще, может быть, один или двое во всем мире и, может быть, двадцать или тридцать во все времена!..

Безумен тот, кто начнет тосковать по низшему миру, кто захочет сойти с высот и жить среди пигмеев... Это было бы низменным оскорблением духа. И лишь в одном случае подобное может быть оправ-

дано: когда Бог нисходит на землю, чтобы принести себя в жертву...

В этом страстном апофеозе, сияющем гордыней, тело Инасиу снова истончилось от духовного напряжения. Целыми часами на исходе ночи он бродил по широким проспектам, почти бестелесный, наполненный только Душой...

.....

Но это возвышенное опьянение было, в конце концов, еще одним психическим состоянием, которое выбрал для себя сам Инасиу, было еще одной иллюзией... Однажды ночью в каком-то странном резком движении назад, Инасиу снова почувствовал, что тоскует по маленьким земным пустякам...

Сначала он вспомнил о том, что совершенно забыл о нелепой парижской авантюре... А если мы вспоминаем о том, что забыли о чем-то, это первый знак того, что мы об этом помним.

И так, понемногу, медленно, но исподволь и пронзительно, к нему снова вернулись грустные воспоминания и отступившая на некоторое время ностальгия...

И вот теперь, когда он смотрел на свои руки, Инасиу замечал слабую прерывистую дрожь... Однажды Полетт в присутствии других гостей стала восхищенно говорить о его руках, таких утонченных... «такая светлая кожа... такая чистая...»

Когда Инасиу надолго задерживался в каком-нибудь кафе, ему начинало казаться, что он в Париже, за чашкой кофе ожидает часа, когда можно будет пойти в мастерскую Лопеша, чтобы увидеть Полетт...

И еще как-то раз он остановился около витрины ювелирного магазина, только оттого, что однажды он купил и подарил Полетт ожерелье...

Письма, которые он получал у почтальона, напоминали ему о том, что он никогда не отправлял ей писем почтой...

Когда он слышал разговор о цветах, в его душе оживала нежность, потому что однажды в знаменитой парижской цветочной лавке он купил для нее букет горделивых алых роз...

.....  
.....

И все же Инасиу удавалось, если и не избегать этих воспоминаний, то, по крайней мере, не задерживаться на них подолгу... И в один из дней он решил напряжением воли изгнать из своей памяти этих недостойных гостей. Но не преуспел в этом: с каждым часом этих воспоминаний, таких живых и радужных, становилось все больше.

Ему начало казаться, что не далее как сегодня он видел Полетт, ощущал ее прикосновения, чувствовал ее губы, слышал запах ее волос, замечал движение ее грудей... и эти пальцы, смутлые, ловкие, чувственные...

«Господи... Господи... почему же так получилось?..»

И он начал представлять, что побудило Полетт прервать их отношения: «Бедная девушка... это так... конечно, все так и было... она шагнула ему навстречу только потому, что была уверена в безответности, только оттого, что понимала, как он велик... Рукопожатия,



совместные прогулки, когда она шла рядом и держала его за руку, улыбки — за всем этим было стремление к страданию... набожная страсть к самоуничтожению... к желанию умастить себя тоской... окружить ореолом Самоотречения...

А я... Сначала возвысился... а потом оказался таким же, как другие... Он солгал ей... солгал... он обманул ее... хрустальный идол разбился... и только мелкие осколки у ее ног...»

.....

«Химера... химера... (думал он в другой раз). Все было не так... совсем не так... Во всем произошедшем этой девушки все равно что не было... Ничего подобного она не думала — может, потому, что предчувствовала низость его души? — и даже не воображала в нем никакой великой нездешней Тайны... Это был обычный эпизод, она просто пожала его руку, даже не задумываясь над происходящим... а если она и думала о чем-то, то, конечно, о каком-нибудь пустяке... о какой-нибудь ленте... или наперстке... И так же, не задумываясь, она однажды окликнула его на улице... и так же бежала — не понимая, что происходит...»

«Да и было ли все это, в конце концов, пожимала ли она его руку, позвала ли его в тот вечер по имени?...»

Все это было, но теперь Инасиу было трудно в это поверить...

Среди всех этих мыслей он припомнил еще один незначительный эпизод из своей парижской жизни:

Однажды ночью вместе с Мануэлом Лопешем он вошел в кофейню на бульваре Сен Мишель. Кофейня

была открыта круглосуточно. Художник силком затащил его в это заведение, поскольку хотел полакомиться чем-нибудь вкусным, а Инасиу тогда чувствовал себя усталым и хотел только одного — спать.

О чем-то беседуя, они сели в глубине зала.

В скором времени в кафе зашла невысокая девушка, типичная парижанка из Латинского квартала, маленькая куртизанка и, конечно, чья-то натурщица.

Она, очевидно, была хорошо знакома с хозяйкой заведения и поэтому поздоровалась с ней. Потом девушка села за столик, принялась жевать какое-то пирожное, и взгляд ее остановился на двух иностранцах, говоривших на каком-то загадочном языке... Вдруг, совершенно неожиданно, мужским жестом она сняла свою дешевую соломенную шляпку и поприветствовала их...

И, странная вещь, Инасиу тогда подумалось, что она сделала этот жест, как бы не замечая его, — как будто полагала, что делает что-то другое... Такое же странное впечатление произвели на Инасиу, когда он взгляделся в эту девушку, ее нечеткие движения, ее рассеянный взгляд, угловатая улыбка ее неуверенных губ...

Потом, когда Инасиу смотрел на эту девушку, возможно оттого, что его сморил сон, он видел ее фигуру в каком-то смутном ореоле, как бы сквозь трепещущую полупрозрачность воздуха, сквозь влажную стекловидную пленку, оттененную мертвым светом...

Девушка подошла к ним и спросила, не купят ли они ей еще несколько пирожных.

Инасиу поднялся, оплатил ее заказ и попросил добавить к нему еще два пирожных.

Девушка поблагодарила его реверансом и улыбкой, а когда Лопеш пошел к стойке, чтобы купить еще один бриошь, она, сделав какой-то смутный, неясный жест, сказала Инасиу: «Embrasse-moi sur la joue...»\*

Инасиу поцеловал ее в уголок губ, потом подошел Лопеш и они вместе вышли. Инасиу при этом был словно в тумане. Он как будто даже не почувствовал этого поцелуя: *точно это был всего лишь какой-то неопределенный жест, среди многих — таких же.*

Незначительный этот эпизод показался Инасиу туманным, смутным и как будто теряющимся где-то вдалеке, в другом пространстве — словно перспектива, в которой возникло воспоминание о нем, соединялась с той областью сознания, в которой воображение порождает тревожные видения будущего, отдаленные, потерянные во Времени. И перспектива эта была похожа на нерешительную дрожь, на тусклый свет, пробивающийся сквозь влажный городской воздух во время солнечного затмения. И профиль этой девушки терялся в неясной, смутной, дрожащей дымке...

«Но как это ложное воспоминание связано с Полетт?»

Да, конечно, это оттого, что она вела себя так же, как эта девушка из Латинского квартала. В его присутствии она не отдавала себе отчета в своих мыслях — она как будто не делала ничего особенного. И такая же радужная полупрозрачность, такой же влажный стекловидный ореол окружал все жесты Полетт...

\* «Поцелуйте меня в щеку» (фр.).

И так — эта история зашла слишком далеко, соединила в себе множество недоразумений и закончилась так бессмысленно...

При этом воспоминании Инасиу впервые почувствовал, что мысли его, обращенные к прошлому, стали смутными и бессвязными, изломанными и причудливо искривленными.

Как бы ни было — хотя Инасиу пока еще и не понимал этого совсем отчетливо — час за часом в него проникал тонкий яд этих чар: белокурых в начале... потом принявших рыжий оттенок... и затем — огненно-красных... пышащих жаром...

.....

\* \* \*

Напрасно в тот вечер Инасиу искал встречи с Фернанду Пассушем, ни в одном из мест, где они виделись обычно, его друга — не было.

Но зато, когда он уже собирался вернуться в гостиницу и поднимался в сторону Шиаду, ему неожиданно встретился драматург Виторину Браганса<sup>3</sup>, который, в отличие от большинства других знакомых, вызывал у Инасиу симпатию и живой интерес. Драматург был симпатичен Инасиу потому, что ему казалось, что их волнения и переживания роднит что-то важное. Ведь среди стольких провинциалов, обычных для нашей неотесанной литературной среды, Виторину Браганса был человеком со сложной психологией: утонченным, цивилизованным, аристократичным. Он был настоящим европейцем.

Инасиу и Виторину почти сразу же заговорили о Париже, и, среди прочего, об особенностях сексуальной жизни европейской столицы, драматург тоже пережил в этом городе несколько странных историй:

— Дело в том, что обнаженное тело, — сказал Виторину, — само по себе не привлекает меня... Даже во время близости, даже если в моей ладони трепещет грудь божественной формы...

— Конечно, — продолжил Инасиу, — ведь сначала мы должны преобразить огненные желания, порожденные нашим духом, созданные нашей смутной фантазией, иначе телесные ощущения не проникнут в нас утонченным нетерпением... Плоть... но чего бы стоила она, если бы мы навязывали ей самих себя, наши поцелуи, наши порывы, нашу огненно-красную тоску?.. «Природа» — удел здоровых людей, обыкновенных недочеловеков... Мы же, возжелавшие Золотого Пути, отстраняемся от нее. Или нет, точнее будет так: мы не отстраняемся от плоти, но ее возвышаем и одушевляем, и только дух, живущий в ней, дух, созданный нами, — волнует и возбуждает нас. Мы — люди духа, и мы способны одушевлять по собственному желанию то, что привлекает и восхищает нас... И даже некрасивую грудь заостренной формы мы можем, если захотим и обратимся к нашему царственному воображению, напоить желанием и наслаждением, очерчивая ее другими линиями, наполняя ее дрожью, сообщая ей упругость...

— Чудесно! Чудесно!.. — воскликнул Виторину, — еще ребенком, оставаясь один в ночные часы, я создавал в своем воображении неведомые миру эк-

стазы... Образы обнаженных танцовщиц, которых я, тоже голый, с королевского трона отправлял своим приказом — на костер... И они, в своей воспаленной покорности, толпились перед огнем и лона их то и дело соприкасались... Я чувствовал запах умащенных благовониями тел, пожираемых пламенем... слышал, как горит их плоть... Но даже подвергнутые этому страшному мучению, рабыни не кричали, не издавали даже стона... И каждый раз, когда я видел, как огонь уничтожает плоть, меня охватывала холодная, тяжелая, ненасытная дрожь...

Инасиу в детстве тоже переживал странные бредовые видения. Но стихией этих видений был не огонь. Напротив, его воображением владел водный мир: нежные поцелуи волн, ласки морской пены, яшмовые груди, чуть видные над водой, обнаженные тела на пустынных пляжах, купающиеся в кристально-прозрачных озерах принцессы, оставившие на берегу свои одежды...

Боль всегда вызывала у Инасиу ужас и отвращение. Во всей его болезненности всегда было что-то здоровое.

«Ты святой, Инасиу, ты — безумец», — сказал однажды Фернанду Пассуш.

Эти странные неясные желания так причудливо сближали Инасиу и Виторину...

Их разговор перешел на какую-то актрису, которая первой в Лиссабоне решилась выйти на сцену с обнаженными ногами, а потом Виторину рассказал Инасиу, что, когда он смотрит на актрис, более всего его влечет их макияж, которым он бессмысленно

и бесплодно так хотел бы обладать... и еще их ленты, их блестящие, их пестрые костюмы.

— И все это, мой дорогой друг, — заключил Виторину, — все эти болезненные странности и изломы вполне помещаются в одном слове, и слово это — «онанизм». И оба мы с тобой не иначе как самые настоящие и удивительные онанисты. Ведь даже после того, как мы овладели женщиной, мы совершаем акт онанизма, поскольку обладание это *не есть обладание плотью*, это обладание чем-то прекрасным и смутным, еще более насыщенным *тихией* пола, чем сама плоть. Всеми нашими страстными судорогами руководит фантазия. Я, например, достигаю экстаза только в те моменты, которые выбираю сам...

— Верно!.. Верно!.. — воскликнул Инасиу, — Все так!.. Мы раздваиваемся и, переходя в другое тело другого пола, овладеваем — самими собой!..

— И все-таки иногда, — продолжил Виторину, — я начинаю опасаться, что где-то во мне живет тоска по *здоровью*...

Инасиу возмущенно запротестовал:

— Но разве здоровье — это отсутствие красоты, отсутствие стремления к Новому?.. Признаюсь тебе, что я тверд в своей гордости. И пусть мне скажут все остальные, эти вечные «остальные», что наше искусство — мое и Фернанду Пассуша — это, в конце концов, не более, чем «мастурбация»... Жалкие создания... жалкие создания... Они даже не понимают, что для нас все эти слова лишь еще одна причина гордиться своей судьбой... В конце концов, оставляя в стороне любые предрассудки, разве самые возвышенные наслаждения

Души, пророчески обращенные в Иное — это не мастурбация? Конечно, мастурбация. А значит, все эти оскорбления означают только одно — что мое искусство возвысилось до настоящей свободы и в остром своем порыве достигло Высшего... Бедняги... они совсем не понимают, насколько мы с ними разные, не понимают, что слова, оскорбительные для их обычной, глупой чувствительности, чувствительности засаленных кудрей, модных бородок, петлиц и курительных трубок, для наших чистых, пьянящих и трепетных чувств — будут лестны...

Эти несчастные и не догадываются даже, что, говоря об эксцентричности наших поступков, разоблачая наше предполагаемое безумие — они совершенно правы. И в избыточности наших стремлений мы любим сам избыток порывов и чувств, в безумии — нас влечет само безумие, а «обличение» во всем этом — мы принимаем как хвалу. И каждый мой изъян, от которого я страдаю — возвышает меня над ними... Любой из этих изъянов, будь он для меня отвратителен, был бы изгнан из моей души...

В их беседе возникла небольшая пауза, прерывая которую, Виторину сказал:

— Я оплакиваю каждую малость этого мира... Не поверишь, но такие вещи, как мелодия национального гимна, полк солдат, проходящий строем, какой-нибудь флаг, вызывают у меня щемящие чувства... В то же время, если я потеряю человека, к которому отношусь с глубочайшим почтением, даже будь это — мой отец, на глазах у меня не выступит ни одной слезинки... в первые мгновения я не почувствую ни малейшей



боли... И только через несколько дней, с пронзительной нежностью, я заметил бы не занятый им во время обеда стул... трость, оставленную им в прихожей... его книги... ящики его рабочего стола... Сама искренность во мне — ни что иное как воображение... И что тут скажешь?.. Все тот же онанизм...

Инасиу на это заметил:

— Любопытно, у нас столько общего... Недавно одна странная девушка нежно и смутно прошла сквозь мою жизнь... Сначала я не придавал ей значения... даже не посмотрел на нее внимательно... Я касался ее пальцев и не чувствовал их, я видел ее губы и не желал их... А потом, когда она уже исчезла из моей жизни, я вдруг однажды почувствовал, что желаю ее... да, желаю ее, безоговорочно и бесспорно... желаю и страдаю...

... Только закончив фразу, Инасиу понял, что он сказал, и ощутил тайную дрожь...

.....  
.....

«Значит... значит... это правда», — подумал Инасиу на следующее утро, вспомнив слова, сказанные им накануне. «Это правда, сомнений уже быть не может...» Напрасно он пытался все это забыть, напрасно старался не обращать внимания на «мелочи» и «пустяки»... Понемногу все эти мысли, чувства и слова, сложились в единое целое, — и это была любовь, или, по крайней мере, мучительное неосуществленностью желание...

И теперь, видя, наконец, то, что с ним происходило на самом деле, Инасиу почувствовал сладостную

и как никогда проникновенную нежность и небесно-лазурную печаль, такую тонкую... такую хрупкую...

Только сейчас, отчетливо, ясно, но так причудливо и странно, Инасиу, в каком-то смутном порыве, начал переживать все те состояния, в которых пребывала его душа, после окончания его истории с Полетт.

Ведь ничего этого с ним не происходило, когда он говорил с *ней*... когда он ждал *ее* у выхода из театра... когда *она* прикасалась к нему... Нет; все это началось потом — *только после того, как прошло*. Только теперь он чувствовал Полетт, только теперь с грустью вспоминал о *ней*... О, печаль любви... печаль любви...

Он мало знал *ее*, но сколько блага обрела она в этой встрече... Как он обогатил *ее*... как возвысил... *Теперь Полетт жила в его мире*. И вот теперь, издалека, на улицах южной столицы, в стране, привыкшей к странствиям, кто-то возвышенно и нежно повторял *ее* хрупкое, такое парижское имя... и легкими штрихами рисовал на куполах великой эпопеи — рисовал *ее* заурядный профиль — гибкий и устремленный ввысь...

Ставшая частью его жизни, *жизни Художника* — она навеки осталась запечатленной в светоносном Ореоле.

Было бы даже лучше, если бы Инасиу никогда *ее* не поцеловал. Обретя форму, его печаль стала прозрачной, изысканно хрупкой, более чувствительной, более трепетной в своей нежности.

.....

Потом он обратился к смутным воспоминаниям о том, как закончилась эта история... и снова попытал-

ся найти причины «бегства» Полетт... Из этих причин теперь он своевольно создал прочное здание, выбирая только те из них, которые отвечали его изначальному замыслу. В то же время Инасиу стремился напряжением духа сообщить гипнотическую силу своих желаний прошлому: сделать так, чтобы не совершенное в действительном прошлом теперь, начиная с этого момента, стало происходить в соответствии с его желаниями...

.....

Прошло еще несколько дней, состояние души Инасиу — не изменилось. Но грустные воспоминания не стали для него бесплодным страданием. Ведь в печальной памяти этой, в мерцании и трепете тоски и горечи он предчувствовал и ощущал блестящие литературные замыслы...

Оставив Инасиу, Полетт не сделала ему ничего дурного: ведь теперь он научился страдать воспоминанием о тени, и смутное его мучение было искуплено и оправдано тем, что оно стало плодотворным для его гения. Подобно персонажу какого-нибудь восхитительного романа, все, что переживал его дух, становилось литературой — каждый приступ боли порождал шедевр...

И вот в тот вечер, одиноко блуждая в своих грустных воспоминаниях, душа Инасиу снова принялась за создание страшных историй.

Героем его сюжета на этот раз был странный художник. Человек, свободный духом, религиозный визионер, в душе которого молитвенное поклонение Христу понемногу, сначала нечувствительно, а за-

тем все более властно, стало переходить в жестокую страсть, плотское желание, бурное и неукротимое... Он пытался бежать, укрыться в убежище здравого смысла, затем обратился к экзорцизму, власянице, воздержанию и посту...

И так — до тех пор, пока эта ужасная страсть не превратилась в адскую муку, в которой уже не осталось желания освободиться. Осталось только алое мучение от невозможности удовлетворить свои желания...

И вот, наконец, чтобы обмануть свое влечение, этот Художник — скульптор — создал статую Христа, огромного размера и восхитительной формы... Безумным и мучительным желанием соединял один порыв страсти с другим, сочленил приступы серой тоски и пунцовой горечи... И когда его бессмертное творение было завершено, в последнем приступе низменного своего влечения, он бросился с высоты на эту священную мраморную фигуру... воспаленные губы его, возбужденный детородный орган — были раздробленны и разбиты... пронзенный своим творением, задыхающийся и искаленный, он умер в страшных муках...

.....

Так странно, казалось Инасиу, что этот замысел, столь прекрасный, но такой обжигающе-пунцовый, испещренный рыжими проблесками и аметистами, возник в его сознании от легкого воспоминания о простом силуэте Полетт, о том розоватом вечере, когда она таким легким движением пальцев сжала его ладонь...

Как бы ни было, впрочем, из этого сюжета Инасиу развернет один лучших своих романов, одно из самых мучительных и жгучих повествований...

... Ах! но еще почти сразу же после возникновения этого сюжета, в какой-то странной полупрозрачности изломанного воспоминания Инасиу вспомнил кого-то, о ком прежде совершенно забыл: да, мгновенно, не понимая почему, Инасиу увидел в лице оскверненной статуи Христа — знакомые черты. Это был острый профиль Этьена Даламбера...

## VI

На следующий день Инасиу, вспомнив об этом эпизоде, подумал, что во всем этом больше бессвязного, чем пугающего. И действительно, с тех пор как его воображение стало возвращаться ко всем, даже самым незначительным, подробностям этой истории, об Этьене, зная, что тот был отвергнут, он не вспомнил ни разу. И о той странной своей нежности, которую Инасиу испытывал к актеру, после того как история была окончена, он тоже не вспоминал. Перестав существовать для Полетт, Этьен перестал существовать и для Инасиу...

.....

Его роман появился на полках книжных магазинов. И в привычном воодушевлении, которое вызывало

у Инасиу появление его новой книги, остро отпечата-  
лась и проявилась его тоска.

Новая книга Инасиу, царственно своеобразная,  
поразительная на фоне окружающей глупой прозы,  
*была встречена почти хорошо!*

Действительно, даже те, кто менее всего был спо-  
собен понять или почувствовать абсолютно европей-  
ское произведение, обнаженную стихию этих страниц,  
яркую парчу повествования, сладостную его мисте-  
рию, бронзово-зеленую, красно-фиолетовую, даже эти  
несчастные признавали роман Инасиу настоящим Ше-  
девром.

Конечно, какие-нибудь литераторы из дешевых  
кофеен и забегаловок что-то бормотали между собой,  
выказывая Инасиу свое жалкое презрение. Наверное,  
были среди них и Эпифаниу Гойш и Эдуарду Борба.  
Первый — изнеженный и не изданный импрессио-  
нист — никогда не упускал возможности уколоть Ина-  
сиу (впрочем, надо отдать ему должное, он никогда  
не делал этого прямо и откровенно), если, например,  
Инасиу и живописец Жорж Пашеку, (замечательный,  
трепетный, Европейский художник, цивилизованный  
и в беседе, и в искусстве) начинали по-детски гениаль-  
но воспевать роскошные сцены Парижа, возвращаясь  
в мечтах к магическим богатствам этой волшебной  
и восхитительной столицы... Другой, второсортный  
поэт (сейчас усердный студент юридического факульте-  
та), напротив, был мелочно-подленьким, и в присутст-  
вии Инасиу вел себя как лживая безграмотная прости-  
тутка, восхваляя его своим тоненьким ангельским голо-  
ском. А за спиной, с ядовитой злобой кастрата шипел:

«Этот идиот Инасиу де Говейя...»

.....

Наступил декабрь, и так как Инасиу больше ничто не держало в Лиссабоне, он начал готовиться к возвращению в Париж.

Движение, волнение, перемены — вот чего искала его душа, вот в чем находила она исцеление. И так же, как жил он в первые недели по прибытии в Лиссабон, когда самозабвенно и взволнованно готовил к изданию свой роман, так же он чувствовал себя и теперь — в ожидания отъезда в Париж. И так же, думалось Инасиу, он будет чувствовать себя и первые дни в Париже: когда увидит бульвары, аристократичные площади, просторные кофейни, блистательные мюзикхоллы, в конце концов, своих друзей, особенно, Орасиу де Вивейруша.

В Париж, однако, Инасиу вернулся только в начале следующего года.

Ах! Ничто иное не могло бы сообщить Инасиу столь прочное чувство власти над собственной судьбой, как возможность уехать из Парижа, зная, что *возвращение возможно в любой момент — стоит ему только захотеть...* И как хорошо было Инасиу снова оказаться в комнате скромного отеля, где даже вульгарность обстановки казалась ему привлекательной, ведь это была комната в одном из типичных парижских отелей, которые мы с детства видим на иллюстрациях к популярным романам, с печными трубами, с часами в стеклянном колпаке, с подсвечниками, с закрытыми ставнями на окнах и цветочными узорами на занавесках...

Оказавшись в Париже, Инасиу вернулся к своему обычаю — время от времени приходить к пяти часам в мастерскую Мануэла Лопеша. Теперь у художника было не так многолюдно, как прежде, и люди были почти все новые и незнакомые.

Орасиу де Вивейруш — непонятно как и почему — занял замечательную должность. Он был главным секретарем Фоли-Бержер. Он оставил музыку, но место, которое Орасиу занимал с недавних пор, делало его причастным к театру, к парижскому театру, а все остальное было не так уж важно. Музыка, в конце концов, всегда была для него не более, чем поводом для того, чтобы жить в театре. Поэтому в день их встречи настроение у Орасиу — было великолепное. Да, он победил...

На третий или на четвертый день после своего приезда, Инасиу — по милости своего друга, оказавшего ему содействие — побывал в знаменитом мюзик-холле на последнем представлении какой-то по-австрийски безвкусной оперетты, которая стала очень популярна в ту зиму.

В этой оперетте участвовала Полетт, у нее была какая-то маленькая роль. Полетт и ее сестра подписали контракт с мюзик-холлом на улице Риш до конца сезона. И теперь — в первый раз — Полетт жила со своим любовником, актером Даниэлем Симоном, ее коллегой по Комеди Руаяль, который был известен публике как большой фантазер.

Все это Инасиу узнал от Вивейруша. И, наверное, если бы его друг не настаивал, он в тот вечер не решил-ся бы пойти в Фоли Бержер.



Едва лишь поднялся занавес, Инасиу охватила дрожь. Не обращая внимания на все остальное, происходившее на сцене, он жадно следил за каждой актрисой, пытаясь распознать Полетт и боясь, что не узнает ее, хотя ему отчетливо помнились черты ее лица... В каждой новой женской фигуре, появлявшейся на сцене, ему виделась Полетт... Когда появилась ее сестра, Инасиу побледнел... Но Полетт вышла только в конце первого акта, среди других «купальщиц»... Почти все они были с обнаженными ногами. *Полетт была в трико...*

.....

Во время антракта Инасиу вышел в фойе — поговорить с Вивейрушем. Случайно рядом с ними оказался Даниэль Симон, Орасиу представил его писателю.

Когда актер попрощался с ними, Вивейруш сказал Инасиу: «Полетт уже приказали — не разговаривать с тобой... и с Даламбером, который тоже здесь... Бедняга Симон знает, что вы когда-то ухаживали за ней... Сегодня у него явно будет беспокойный вечер... Ему все меньше везет в последнее время... Несчастный... неудачи так и сыплются на его голову!...»

Во время второго акта Инасиу встретил в фойе Этьена. Это была их первая встреча с момента возвращения Инасиу в Париж. Они с чувством пожали друг другу руки, несколько минут поговорили... затем попрощались...

.....

«Это поразительно, — думал Инасиу, возвращаясь домой, — уму непостижимо, как я мог страдать,

и почти страдаю теперь, из-за такого дремучего... такого никчемного... такого ничтожного создания... Из-за какой-то маленькой актрисульки третьего плана, даже не красивой... Ее сестра, например, была не только прекрасна, но уже и достаточно известна; и все говорило о том, что в скором времени она станет настоящей звездой мюзик-холла... А ведь она была младшей... Только ей Полетт обязана всеми своими контрактами... Бедняжка... она видела стремительный взлет сестры, а сама так и осталась там, где была... Впрочем, сейчас у нее все благополучно... Она нашла себе подходящего любовника... этого ничтожного паяца...

...И при всей своей малости и никчемности она причинила мне столько страданий... Теперь еще и этим... Бедняжка... несчастная...

.....

«И все же не может быть сомнений, совершенно точно — я сыграл какую роль в жизни этой девушки... (кто знает, может быть, она даже плакала в тот вечер, когда поняла, что потеряла его... раскаивалась...) Конечно, кем-то я был для нее, иначе ей не запретили бы со мной разговаривать... с ним и с Этьеном... и с Этьеном тоже... А он уже и забыл об Этьене... И не думал о нем, пока не встретил его этим вечером в Фоли...»

Инасиу увидел сестру Полетт и подошел к ней... Девушка узнала его и встретила возгласом удивления... во время их разговора она улыбалась... И вдруг, непонятно отчего, Инасиу вспомнил и этот возглас, и эти улыбки, которые так напоминали Полетт...

Но Полетт ему не встретила... Конечно... любовник, должно быть, запер ее в примерной... из-за него... да... и еще из-за другого...

.....

Вернувшись к себе, Инасиу забылся беспокойным сном...

«Так странно... глаза Полетт изменились... они стали больше... по крайней мере, больше стали тени вокруг глаз...»

... И вот, понемногу, в каком-то смутном мистическом порыве к нему вернулась нежность и печаль о Полетт...

.....

.....

В тот вечер он блуждал по бульварам. С террасы кафе Америкэн кто-то окликнул его. Это был Даламбер. Инасиу зашел, сел рядом с Этьеном, они заказали аперитив... Они беседовали долго, до семи часов... Потом разошлись...

От этой встречи Инасиу испытал горькое ликование, странную, необъяснимую нежность...

.....

На колоннах возле одной из лавок Пикара, висели большие афиши. Они сообщали, что через два дня в Фоли Бержер состоится премьера нового представления. Заглавными буквами на этих афишах были написаны имена Розы Доре и Даниэля Симона. Полетт

значилась последней, ее имя было написано самым мелким шрифтом...

.....  
.....

Каждый день Инасиу и Этьен встречались в кафе Америкэн. Если актер не появлялся, что случалось, впрочем, нечасто, Инасиу чувствовал досаду. Иногда к ним присоединялся Орасиу де Вивейруш, и тогда Инасиу испытывал какое-то странное чувство неловкости...

.....

Инасиу всегда старался заплатить за двоих, опасаясь, что если это сделает Этьен, для него это будет обременительно. Сердце Инасиу каждый раз сжималось в болезненном спазме, когда он обращал внимание на легкое пальто Этьена, такое неуместное в зимнюю пору... заметил он и то, что актер всегда носил один и тот же галстук...

.....

В один из вечеров Инасиу снова решил пойти в Фоли Бержер. На этот раз *Полетт* была в группе статисток с обнаженными ногами...

... когда в антракте Инасиу вышел в фойе поговорить с Вивейрушем, он встретил Этьена...

.....

Однажды утром, едва проснувшись, Инасиу вдруг вспомнил — в первый раз — о том, как странно они

с Этьеном вели себя во время продолжительных бесед... они никогда не смотрели друг другу прямо в глаза... и не прерывали разговора... как будто боялись тишины...

.....  
 .....

В тот же вечер они встретились снова в кафе Америкэн, на этот раз к ним присоединился Вивейруш и пригласил их на ужин. Он был так настойчив, что Инасиу и Этьен, в конце концов, приняли его приглашение.

Когда они допили свой кофе, Орасиу вдруг сказал: «Да, я хотел вам признаться... мне очень любопытно... Вы ведь были соперниками... или, скажем, один из вас был «преемником» другого... А теперь я вижу, вы стали настоящими друзьями... Скажите... уже столько воды утекло с тех пор... можно теперь... что вы чувствовали к ней... она ранила вас обоих...»

Этьен начал что-то отвечать. Инасиу ничего из его слов не понимал... Единственное, на что хватило его усилий — скрыть волнение и дрожь, которая пронзила все его тело...

Только через несколько минут он начал понимать, точнее смутно догадываться, о чем говорил Даламбер, который с грустью заканчивал свой ответ такими словами: «... потому что я любил ее... думал о ней... и сейчас, возможно, продолжаю думать... Ее сестра красива, но я полюбил Полетт... Это можно только чувствовать, объяснить это не получается... Да, если постараться, мы сможем найти причины... У меня столько прекрас-

ных воспоминаний... может быть, лучших за всю мою жизнь... Если бы она только захотела, я и сейчас принял бы ее...»

— А ты?.. — спросил у Инасиу Вивейруш.

Инасиу заметно покраснел, и коротко ответил:

— Я обо всем расскажу в следующем романе...

— Очень правильный ответ, — заметил Даламбер. — О некоторых вещах можно гораздо лучше написать, чем рассказать...

.....  
.....

«Ах! вот в чем дело... да, именно в этом!.. Поэтому мы теперь постоянно вместе... Эта девушка так же прошла и через жизнь Этьена... и так же осталась в ней... И он тоже продолжает думать о ней... и, наверное, продолжает страдать... конечно!... И если бы она захотела, о! он принял бы ее... И я тоже! И я... И я!..»

И с того момента, как эти мысли возникли в сознании Инасиу, нежность его, странная, причудливая, судорожная нежность к актеру, стала еще возвышеннее и нежнее.

Никто другой в этом мире не понимал его так, как Этьен: он так же страдал... был так же чувствителен... И он тоже подумал о том, что ее сестра была красивее...

.....

Прошло несколько дней.

И с каждым днем Инасиу все глубже погружался в какой-то странный и томный упадок сил. Целыми

часами он думал об одной фразе Этьена: «Это можно только чувствовать, объяснить это не получается... Да, если постараться, мы сможем найти причины...»

Конечно... конечно...

Да, и в его случае причины эти были столь ничтожны: однажды вечером... одно рукопожатие... после которого она бежала от него... тонкие, смуглые ее руки... мягкая тень вокруг ее глаз... ее рассеянные шаги... легкое и нежное движение ее груди... и вся — она, такая скромная и простая...

То же самое, почти то же самое — вне всяких сомнений, произошло и с Этьеном. В конце концов, это всегда как-то так и происходит: улыбка, взгляд, голос, прядь волос...

.....

Теперь их беседы начали перемежаться продолжительным молчанием. Грусть Этьена становилась все более явной.

И хотя они не возвращались к общей несчастной истории, Инасиу казалось, что они каким-то странном образом не раз уже говорили о Полетт:

*Несмотря на молчание, каждый прекрасно знал, слишком хорошо знал, что происходит в душе другого. Поэтому теперь они молчали и не пытались ничего скрыть за неумолкающим разговором...*

.....

Однажды рядом с ними прошла девушка, чей силуэт и черты смугло лица смутного напоминали Полетт. Первым ее заметил Инасиу, и, увидев, уже не

отводил сосредоточенного взгляда. Девушка остановилась у витрины ювелирной лавки.

Через несколько мгновений, Этьен, заметив эту девушку сказал: «Очень интересная. Ты не находишь?..»

Общность чувств и переживаний, будь она хотя бы отчасти или полностью воображаемой, укрепляла взаимную симпатию Инасиу и Этьена. Ведь Даламбер, наверное, испытывал к Инасиу ту же нежность и теплоту. *Ведь по-другому, конечно, и быть не могло.* С некоторых пор Этьен не упускал ни одной возможности увидеться с Инасиу. Теперь они встречались не только в дневное время, как прежде, но проводили вместе и вечера...

.....

С некоторых пор ни одна мысль и ни одно чувство Инасиу, которые были обращены к Полетт, не избегали того, чтобы коснуться также и Этьена. И вся грусть, которую выражал Этьен своими словами, каждый его вздох, все это для Инасиу было порождено из общей печалью.

... Кроме того, и во многих самых банальных беседах, проявлялось сходство их мыслей и переживаний...

.....

.....

Иногда, как будто в смутной отдаленной дымке, Инасиу думалось, что все это — лишь плод его воображения. Но в эти мгновения он испытывал к себе только одно чувство — ласковое сострадание. И еще он думал в такие моменты, что так и не повзрослел, так и остался ребенком... *что даже если бы захотел, он не смог бы стать взрослым...*



И тогда вся нежность, которую он испытывал к Этьену, обращалась на него самого, и всю его душу охватывало необоримое желание — стоя перед зеркалом, расцеловать самого себя...

.....

«А вы знаете, что Полетт рассталась с Симоном?.. — однажды вечером сообщил им Орасиу. — Она теперь с одним мексиканским танцором, бандитом и «сутенером»... Да, так она далеко пойдет... По-моему, ей по душе все подряд...»

Через несколько недель он продолжил рассказ: «А ведь я ее предупреждал. Бедняжка, теперь ей конец... Наркотики прикончат ее... Эфир, кокаин... разврат... вы заметили, как изменились ее глаза?..»

Что-то подобное страстному спазму сковало Инасиу, когда он услышал эти слова: «Бедняжка... несчастная... даже в малости своей и ничтожности она решила — гореть... отважно предать себя пламени... обнаженная... ей по душе все подряд...»

И возбуждение это и волнение Инасиу никак не мог отделить от нежности, которую он питал к Этьену. Все эти чувства в душе Инасиу были одного порядка. Он смутно догадывался об этом, но внимания на эти догадки сознательно не обращал. И в тот день он подумал о Полетт тотчас же после того, как вспомнил об Этьене...

.....

В новом представлении Полетт выходила на сцену без лифа, так что соски ее груди были отчетливо вид-

ны под одеждой. Роли ей доставались такие, что всегда надо было надевать короткие юбки, которые оставляли ноги открытыми — выше колена...

.....

\* \* \*

Так прошло два месяца.

Пунцовая нежность Инасиу становилась все более жаркой. С каждым днем они с Этьеном становились все ближе. Некоторое время назад Даламбер переехал в тот же отель, где жил Инасиу. Теперь они обращались друг другу на «ты» и каждый вечер ужинали вместе...

.....

.....

Однажды утром Орасиу де Вивейруш, встретив их во время завтрака, сообщил, что Полетт — серьезно больна. «Наркотики, разумеется, и бурная ночная жизнь...» Уже два дня, как она не выходила на сцену.

Через три недели стало известно, что Полетт умерла.

.....

Ах! Невозможно найти слова, чтобы рассказать о той странной боли, которую испытал Инасиу, узнав о смерти девушки. Это была не грусть и не тоска... нет... это была таинственная *зависть*... чувственное раздражение...ревность... самая настоящая ревность!.. Да, когда он услышал о смерти Полетт, все тело проник горячий спазм... «И ей хватило духа — гореть до конца. Она мертва!»

И от этих мыслей Инасиу пришел в возбуждение, как если бы ему рассказали, что Полетт в тот вечер будет танцевать на сцене, украшенной красной тканью...

Смерть двадцатилетней девушки казалась Инасиу отчаянной смелостью, последним утонченным жестом — изысканным капризом непокорности...

Поэтому несколько дней подряд после известия о смерти Полетт, Инасиу провел в состоянии лихорадочного телесного возбуждения. Смутная его нежность к Этьену в эти дни стала еще глубже, чем прежде, так что несколько раз Инасиу даже замечал в себе желание поцеловать актера — чтобы живее передать ему свое чувство...

Не менее странным в эти дни было и поведение Даламбера. Ореол грусти, подобно нимбу, окружал его лицо и, кроме того, какая болезненная дрожь время от времени покрывала румянцем его щеки и вызывала мимические судороги. Голос Этьена дрожал, и он как будто не осмеливался прямо смотреть в глаза своему другу...

.....

Однако прошло еще несколько недель и оба они стали спокойнее. Вместо жгучей боли они чувствовали грусть, отвлеченное сострадание и печаль обо всем минувшем... печаль туманную и мимолетную...

Инасиу, видимо, только теперь достаточно ясно почувствовал и понял, что произошло. И ему было так жаль Полетт... Так ничтожна она была даже в смерти... Жалкая смерть маленькой парижской актрисы, терявшей всю жизнь в группе статисток с голыми ногами...

Он совсем не страдал от этой потери...

Отсутствие Полетт ничего для него не значило...

.....

Маленькие потери...

Ах... Этьен в один из этих дней тоже заговорил о них, рассказав, как страдал однажды, когда умер его пес — очень красивый и смысленный...

.....

... Так, извиваясь и переплетаясь, странное колдовство становилось все более таинственным и влекущим...

Вначале их действительно объединяли общие нежные чувства, которые соединялись в одном, живом, человеке; *и это была настоящая реальность*. Теперь же эти чувства, отмеченные горечью, парили вокруг общей утраты, и оттого были еще тоньше и возвышеннее, стали более пронзительными, более проникновенными.

.....

Теперь они все меньше говорили, и все больше — целыми часами — молча смотрели друг на друга.

Нередко они вместе отправлялись на прогулку по отдаленным бульварам и молча подолгу шли рядом...

Инасиу замечал каждый жест Этьена, и, как всегда, понимал, что он выражает движение их общей души...

.....

Во время одной из прогулок они, сами не зная как, оказались на кладбище Монпарнас.

«Как они оказались там, если кладбища обоим им внушали ужас?..»

Конечно, они пришли туда, чтобы оживить воспоминания о странной маленькой девушке, которая тоже в один из солнечных парижских дней оказалась на кладбище...

.....  
.....

Тень, тишина, оттенок небесного цвета, запах ветра, луч солнечного света, смех ребенка; звуки, отблески света, множество бессвязных мелочей напоминали Инасиу о ней. В эти мгновения Инасиу смотрел на Этьена, и замечал, на его лице выражение грусти, горького воспоминания, тоски о невозвратимом...

.....  
.....

... Однажды, не понимая происходящего, они почувствовали, как их тела соприкоснулись и соединились...

И это была Победа, в этом чистом бесполом объятии — был невозможный триумф, предчувствованный одним из них когда-то... это был призрачный всепроникающий экстаз, побежденный властной силой...

Теперь они по ту сторону Воскресения! Они обрели Сверх-Реальность Духа! Теперь — освещенный Чудом Инасиу чувствовал — как во взаимном пересечении их Тоски, их общее влечение, астрально соеди-

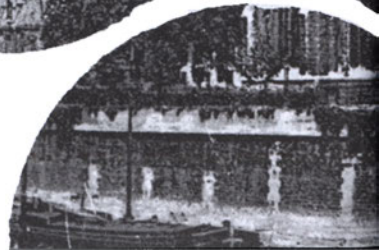
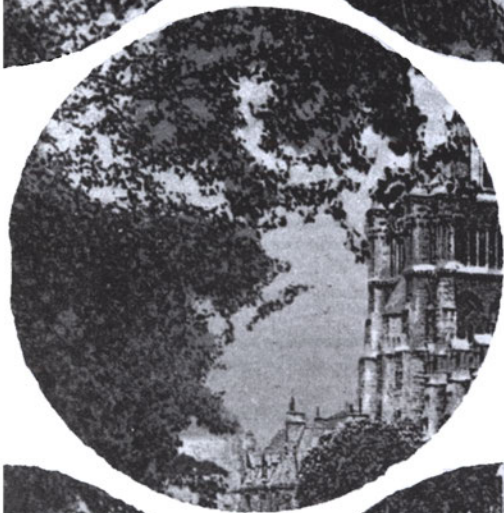
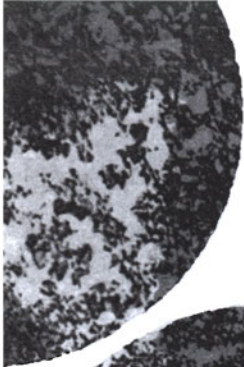
ненное, воскресило меж ними — Полетт, обнаженную и эфирную, пронизанную лунным светом...

Ах! теперь в чудесном этом видении — окропленном Золотом! — все преграды были разрушены: и при-  
зрак стал возвышенно светел...

Да! Писатель ликовал не только в том, что изваял свою Тоску, украсив ее пунцовыми цветами... Он достиг большего! Это был Триумф!... В первый раз — *он действительно обладал, он обладал!* наконец-то он обладал бесспорно — облекшись Радугой, в чистой стихии Бытия, в Ореоле экстаза... вдалеке... очень далеко... в космическом пространстве... властвуя среди звезд...

*Лиссабон, январь — март 1914.*

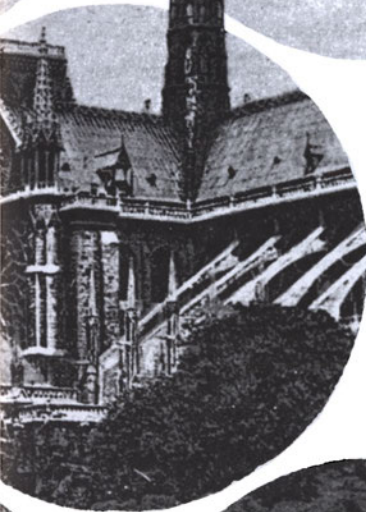
Перевод Антона Чернова





LII

323 PARIS - Notre-Dame  
L'Abside et la Seine  
Our Lady Church, the Vau  
and the Seine





## Инцест / O Incesto

- 1 Жилберту Рола Перейра ду Нашсменту — друг Мариу де Са-Карнейру по лицу.
- 2 «Розаш & Бразау» — португальское литературное агентство. Было основано в 1880 году в Лиссабоне. Получило свое название по именам основателей — импресарио и актеров: Жуан Роза (1843–1910), Аугушту Роза (1850–1918) и Эдуарду Бразау (1851–1925). Агентство просуществовало до 1898 года и сотрудничало с ведущими театрами Лиссабона.
- 3 *Театр Доны Марии* — Национальный театр Португалии. Был открыт в правление королевы Марии II 13 апреля 1846 года.
- 4 Антониу де Соуза Баштуш (1844–1911) — португальский драматург, театральный импресарио, журналист.
- 5 *ателье Кварежмы* — фешенебельный торговый дом, располагавшийся в центре Лиссабона.
- 6 Марселину Антониу да Силва Мешкита (1856–1919) — португальский драматург, поэт, журналист, политический деятель.

- 7 Жозе Мария Эса де Кейрош (1845–1900) — один из самых значительных португальских писателей.
- 8 Жозе Валентин Фиялью де Алмейда (1857–1911) — португальский писатель и журналист.
- 9 «Мадонна ду Кампу Санту» — роман, опубликованный в 1896 году.
- 10 Кампу Гранде — округ в Лиссабоне. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Лиссабон.
- 11 Жан Ришпен (1849–1926) — французский поэт и драматург.
- 12 Вера Сержин (1884–1946) — французская актриса, первая жена Огюста Ренуара.
- 13 «Лондонская луна» — стихотворение португальского поэта-романтика Жуана де Лемуша (1819–1890).
- 14 Золотая улица — одна из центральных улиц Лиссабона.
- 15 Пьер Лоти, настоящее имя Луи Мари Жюльен Вио (1850–1923) — офицер французского флота и писатель, член Французской академии с 1891 года. Знакомство с заморскими странами позволило Лоти создать новый жанр — так называемый «колониальный роман».
- 16 Театр Республики — один из главных театров Лиссабона. Был основан в 1894 году.

17 *Бон Марше, Прентан, Самаритэн* — крупнейшие торговые центры Парижа.

18 *Фоли Бержер* — знаменитое варьете и кабаре в Париже.

19 *ВАРВИЛЬ*. — *Стоит признать, что Маргарита... НАНИНА*. — *Что?*

*ВАРВИЛЬ*. — *Вознамерилась предпочесть этого скучного господина де Мориака всем мужчинам на свете. Как странно!*

*НАНИНА*. — *Бедный старик! В ней всё его счастье. Он ей как отец.*

*ВАРВИЛЬ*. — *Ну да! Я слышал, тут целая история, и весьма трогательная. Однако...*

*НАНИНА*. — *Однако?*

*ВАРВИЛЬ*. — *Не думаю, что это правда.*

*НАНИНА*, поднимаясь. — *Послушайте, господин де Варвиль, о моей госпоже ходит немало толков, и многие справедливы; так не стоит множить их несправедливыми суждениями. Вот что я вам скажу, и это истинно, ибо я видела это сама, собственными глазами; и я говорю, ей-богу, не по велению госпожи, потому что ей ни к чему вас обманывать, она держит себя с вами ровно. Итак, заверяю вас, что два года назад госпожа моя сильно хворала; дабы поправить свое здоровье, она отправилась на воды. Я сопровождала ее. Там среди больных была одна девушка почти того же возраста, но в последней стадии болезни. Они с моей госпожой были так похожи, что их можно было принять за сестер-двойняшек. Это была мадемуазель де Мориак, дочь герцога.*

ВАРВИЛЬ. — И та девушка умерла.

НАНИНА. — Да.

ВАРВИЛЬ. — Герцог был убит горем. Но, повстречав Маргариту, он словно бы обрел в ней воплощение образа покойной. Не только лицом и возрастом, но и самой болезнью она напоминала ему дочь. Господин де Мориак просил у нее позволения навещать ее и любить, как собственное дитя...

Перевод Екатерины Кондратьевой

## Небо в огне / Céu em fogo

Сборник «Небо в огне» был полностью подготовлен к печати автором. Рисунок обложки выполнен художником Жозе Пашеку. См. также примечание к новелле «Тайна».

- 1 «Что же в том, что это болезнь?» — решил он, наконец, — «какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой...» (Ф.М. Достоевский «Идиот» Часть 2-я, гл. V, перевод на французский Виктора Дерели). Виктор Дерели (1840–1904) — французский литератор и переводчик, филолог, выпускник Эколь Нормаль. Переводил произведения русской литературы XIX века, главным образом, прозу Ф.М. Достоевского: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Бедные люди».

## Великая тень / A grande sombra

- 1 Фернанду Пессоа (1888–1835) — португальский поэт и прозаик, один из наиболее ярких представителей западноевропейской литературы XX века.
- 2 Эпиграфом к новелле служит строчка из знаменитого стихотворения французского поэта Жерара де Нерваля (1808 — 1855) «El Desdichado».
- 3 *развеселый дуэт известного журнала* — скорее всего, имеются в виду карикатуры Рафаэла Бурдалу Пинеиру, отличающиеся острой социальной критикой.

## Тайна / Mistério

- 1 Жозе Пашеку (1885 — 1934) — португальский художник. Основал галерею футуристского искусства, которую содержал в период с 1917 по 1922 гг. Сотрудничал с газетой «Идейя Насионал», а в 1922 году основал журнал «Контемпоранеа», где занимал пост директора и главного редактора (всего вышло 13 номеров в период с мая 1922 по октябрь 1926 гг.). Автор обложек поэтического сборника Мариу де Са-Карнейру «Растворение» (1914) и сборника новелл «Небо в огне» (1915), а также первого номера журнала «Орфей» (1915).

Новелла «Тайна» была опубликована впервые в журнале «Агия» (1914. № 26, февраль).

## Человек из сновидений / O homem dos sonhos

- 1 Жозе Паулину де Са Карнейру — дед Мариу де Са-Карнейру, после смерти его матери принимавший активное участие в воспитании внука. На сегодняшний день известно о семи письмах, адресованных деду, написанных в период с 1904 по 1915 гг.

Новелла дважды публиковалась при жизни автора.

Впервые в журнале «Агия» (1913. №17, март) с примечанием: «Из книги снов «Вне», которая готовится к изданию в октябре». Тогда текст вышел с посвящением Фернанду Пессоа. Второй раз новелла была опубликована в том же году 15 июня «Газета де Нотисиаш», Рио-де-Жанейро

Вот как Пессоа отозвался о «Человеке из сновидений» (в письме от 18 марта 1913 г.): «Несколько дней назад я получил от Мариу де Са-Карнейру великолепный текст, (...) прекрасно передающий нестерпимое желание Запредельного, мучительное ощущение пребывания здесь, которые автор проживает вместе с вами. Очень интересно».

## Крылья / Asas

- 1 Алфреду Педру Гизаду (1891 — 1975) — португальский поэт, журналист, политический деятель. Использовал поэтический псевдоним Педру де Менезеш. Участвовал в первом номере журнала «Орфей». На сегодняшний день известно о двух письмах Мариу де Са-Карнейру, адресованных Алфреду Гизаду, в одном из которых Са-Карнейру признавался: «Ты не представляешь, как я горжусь тем, что твои стихи

принадлежат той же школе, что и мои произведения и произведения Фернанду Пессоа».

В письме к Пессоа от 21 января 1913 года он поясняет: «Я озаглавил этот текст — замысел которого я изложил тебе ранее — «Крылья», желая воплотить совершенство, которое невозможно достичь...»

Два стихотворения в прозе «Вне» и «Балет» были написаны в начале 1913 года. Чуть позже фрагмент «Вне» был опубликован в феврале 1914 г. в единственном номере журнала «Ренашсенса».

## Вне / Além

Первое упоминание об этом стихотворном фрагменте встречается в письме Са-Карнейру к Фернанду Пессоа от 21 января 1913 года, где автор излагает замысел небольшого сборника поэтической прозы — «снов» — под общим названием «Вне», которое при прочтении должно занять «от 10 минут до ¼ часа». Этот замысел так и не был воплощен. Это стихотворение в прозе была отдельно опубликована в 1952 году под общим заголовком «Загорянский», с краткими комментариями Жоржи де Сены (1919 — 1978), известного португальского поэта, прозаика, эссеиста, переводчика, филолога.

- 2 белые дома... — по первоначальному замыслу сборника «Вне», каждый из «снов» должен был заканчиваться этой фразой, создавая монотонный рефрен. В письме к Пессоа от 3 февраля 1913 г. Са-Карнейру поясняет: «Так я хочу обозначить невозможность полного растворения во *Вне*, потому что вдалеке всегда виднеется монотонная полоса, вполне реальная и вполне материальная (вереница белых домов)...»

## Балет / Bailado

Первое упоминание этого стихотворного фрагмента встречается в письме к Фернанду Пессоа от 10 марта 1913 года: «*Балет* — это ни что иное, как звучащее и «живописное» описание танца балерины. Эта идея возникла, когда я увидел чарующий танец Мадо Минти».

Мадо Минти — танцовщица и актриса.

Известны два письма Мариу де Са-Карнейру на французском языке, адресованные танцовщице, возможно, Мадо Минти.

- 3     *компрессы... Прохладная вода! Прохладная вода!..* — в письме от 25 марта 1913 года Са-Карнейру поясняет, что эти фразы «передают ощущение свежести, комфорта и аромата...»
  
- 4     *Доспехи, копья, Рожериу!..* — эта строчка была изменена при окончательной публикации произведения. Возможно, за именем Рожериу скрывается Рожериу Переш, один из близких друзей Мариу де Са-Карнейру. В ученические годы однокурсники устраивали любительские спектакли, основным вдохновителем и организатором которых был Мариу де Са-Карнейру. Вероятно, здесь автор ассоциативно вспоминает костюм и сценический образ своего друга в одной из лицейских постановок.

## Я сам — Другой / Eu-próprio o Outro

- 1     Карлуш Франку (?–1916) — португальский скульптор, художник-декоратор, оформлял спектакли в Гранд Опера. Погиб во время Первой мировой вой-



ны на территории Швейцарии. Среди его личных вещей был найден экземпляр сборника «Небо в огне».

### **Загадочная смерть профессора Антенны / A estranha morte do prof. Antena**

- 1 Арманду Кортеш-Родригеш (1891–1971) — португальский поэт, драматург, этнолог.
- 2 *Банда Бонно* — банда анархистов, совершившая в 1911–1912 гг. множество громких ограблений и убийств. Глава банды — Жюль Жозеф Бонно.

### **Собиратель мгновений / O fixador de instantes**

- 1 Гильерме де Санта-Рита (1890–1918) — португальский художник-футурист, заметная фигура португальского авангарда, участвовал в создании второго номера журнала «Орфей». Называл себя Санта-Рита Пинтор.  
Скончался от «испанки». Перед смертью велел сжечь все свои картины. До нас дошли девять произведений художника.  
В письмах к Фернанду Пессоа Са-Карнейру неоднократно упоминает художника, характеризуя его как «фантастического субъекта», «нетерпимого» и «тщеславного до невозможности».  
Новелла была впервые опубликована в журнале «Агия» (1913. № 20, август).

## Воскресение / Ressurreição

- 1 Виториану Брага (1888–1940) — португальский писатель и драматург.
- 2 «Антони» — драма Александра Дюма (1831). Неоднократно ставилась в парижских театрах. Известно, что Мариу де Са-Карнейру присутствовал на спектакле «Комеди Франсез» в феврале 1913 года.
- 3 *Виторину Браганса* — паронимия от имени Виториану Брага. Автор играет и вторым смыслом фамилии: Брага и Браганса — названия двух древних португальских городов.

<i>Мария Мазняк</i>	
<b>Мариу де Са-Карнейру:</b>	
<b>Поэтическая проза или проза Поэта .....</b>	<b>5</b>

<b>Инцест</b>	
<i>Перевод Антона Чернова .....</i>	<b>29</b>

## НЕБО В ОГНЕ

<b>Великая тень</b>	
<i>Перевод Марии Мазняк .....</i>	<b>133</b>

<b>Тайна</b>	
<i>Перевод Маргариты Козарович .....</i>	<b>210</b>

<b>Человек из сновидений</b>	
<i>Перевод Маргариты Козарович .....</i>	<b>235</b>

<b>Крылья</b>	
<i>Перевод Марии Мазняк .....</i>	<b>247</b>

<b>Я сам — Другой</b>	
<i>Перевод Марии Мазняк .....</i>	<b>282</b>

<b>Загадочная смерть профессора Антены</b>	
<i>Перевод Антона Чернова .....</i>	<b>296</b>

<b>Собиратель мгновений</b>	
<i>Перевод Анны Хуснутдиновой .....</i>	<b>331</b>

**Воскресение***Перевод Антона Чернова* .....**348****Примечания***Мария Мазняк***436**

Литературно-художественное издание 16+

МАРИУ ДЕ СА-КАРНЕЙРУ

## Великая тень

Выпускающий редактор Г.С. Чередов  
Младший редактор Е.В. Неледва  
Художественный редактор Т.Н. Костерина  
Оператор компьютерной верстки  
текста А.Ю. Бирюков  
Операторы компьютерной верстки переплета  
и иллюстраций В.М. Драновский  
Технолог М.С. Кырбаш

ООО «Центр книги Рудомино»  
109189, Москва, ул. Никольямская, д. 1  
Отдел реализации издательства: (495) 915-31-00  
e-mail: synkova@libfl.ru, amin@libfl.ru  
<http://www.facebook.com/CentreBook>

Технологическое сопровождение  
и допечатная подготовка ООО «Бослен»  
(499) 270-09-59, (495) 971-89-09  
<http://www.boslen.ru>; e-mail: info@boslen.ru

Подписано в печать 14.12.2016  
Формат 84×108/32  
Тираж 1000 экз.  
Заказ 10066.

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в АО «Первая Образцовая типография»,  
филиал «Ульяновский Дом печати»  
432980 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14





